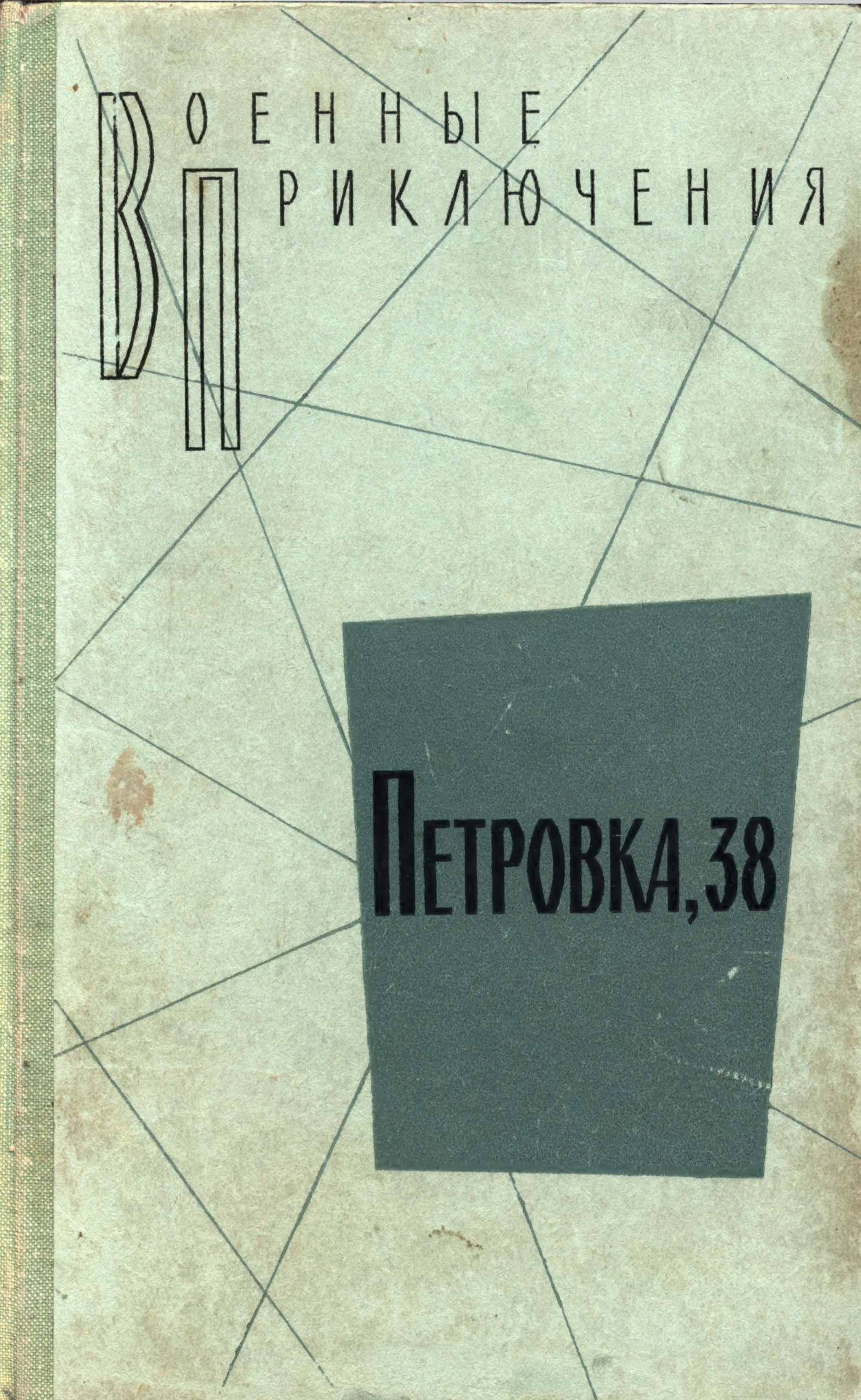


ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВКА, 38


ВОЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

ПЕТРОВКА, 38

ПОВЕСТИ

МОСКВА – 1971

1*

Р20
П30

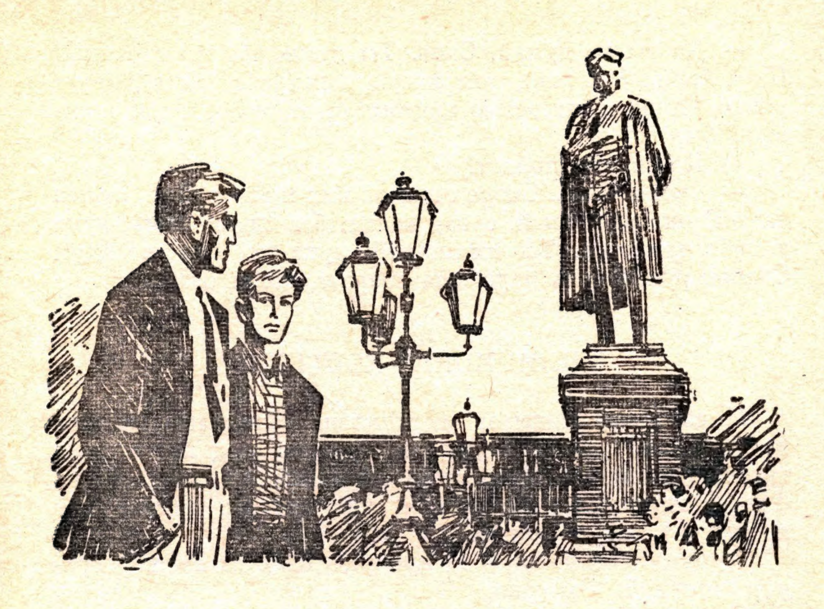
Составитель
И. В. Чебушев

П30 Петровка, 38. Сборник «Военные приключения». М., Воениздат, 1971.

276 стр.

В этот коллективный сборник военных приключений вошли произведения советских писателей Юлиана Семенова «Петровка, 38», Ивана Головченко «Три встречи». Впервые публикуется документальный рассказ журналистов Александра Беляева, Бориса Сыромятникова и Владимира Угриновича «Провал акции «Цеппелин».

7-3-2 Р20



ЮЛИАН СЕМЕНОВ

ПЕТРОВКА, 38

Повесть

ИНТРОДУКЦИЯ

— Слышь, Сань, ты не думай, я умный. Я все под контролем держал. Точка в точку сойдется. Он тут ходит, Сань. Он старый, силы в ем нету, а пистолет — на боку. Иль сменщик его — тот молодой, Сань, но это ничего, он молодой, да глупый. А пистолет нам нужен. Безрукие мы, когда пистолета нет. Слышь, Сань, ты не трясися, не надо, я на риск не хожу, я всегда точно хожу...

— Я и не трясусь.

— Кассу возьмем на разживу, я ее заметил, кассу-то. А потом у меня два адресочка есть. Профессор и музыкант. На всю жизнь обеспечимся, только ты, Сань, не трясися. Видишь, у меня рука холодная, это спокойный я, не боюсь, уверен я...

— Помолчи, Прохор.

— Да ты не думай, Сань. Ты думаешь, это страшно? Не-е, Сань. Человек, как петух, помирает, он в смерти тихий. Он ее с благостью принимает. Я знаю, я сам мертвым был.

— Когда он пойдет?

— Скоро, Сань. Скоро один из них пойдет. Вот, держи кастет, он свинцовый, сразу валит, без звука. Ишь, руки у тебя трясутся. Ты их погрей, руки-то, они отойдут. Слабой рукой бить надо, она звереет, когда слабая-то.

МИЛИЦИОНЕР КОПЫТОВ

Милиционер Копытов заступил на дежурство. Он шел по уснувшей улице не спеша, мурлыча под нос старую тягучую песню. Он помнил ее с детских лет, когда бабка Фрося, вспухшая и громадная, как сундук, тянула эту песню, возясь у плиты.

Копытов остановился и, прикрыв лицо от ветра, чиркнул спичкой. Закурил.

Он затянулся и, остановившись под фонарем, посмотрел на часы. Вздохнул, потому что вспомнил Генку — своего средненького. Утром, запершись в уборной, курил, сукин сын, а самому только двенадцать стукнуло. Копытов долго раздумывал, стоит ли говорить жене, но потом все же решил не говорить. Он решил сам поговорить с Генкой по душам и увел его из дому. Копытов сел на скамейку и начал Генку уговаривать. Генка молчал и мрачно глядел себе под ноги. Копытов говорил и говорил, и чем дальше, тем ясней чувствовал, что говорит он совсем не то, что следовало бы. Когда-то на него очень сильное впечатление произвел доклад, который сделал у них в отделении старичок доктор. Копытову понравилось, когда старичок сказал, что лучше выпивать сто граммов водки перед обедом, чем курить хоть одну папиросу.

«Генке этого не выложишь», — думал Копытов.

Он долго молчал, а потом сказал так:

— Эх, Генк, Генк... Вот ты молодой, а куришь. Я хоть и старый, а ты меня все равно не догонишь, если побежим.

— Догоню.

— Не...

— Догоню, пап, ты лучше не предлагай.

Копытов рассердился и подумал: «Ишь, сопляк, а самоуверенный».

— Я что сказал? — спросил он. — Или не слышишь?

Генка поднялся и снова уставился в землю.

— Давай до ворот! — сказал Копытов и побежал.

Он слышал Генкины шаги у себя за спиной. Он бежал все скорей и скорей, но уже ясно понял, что долго так не пробежит, потому что начал задыхаться. Он обернулся и увидел Генку совсем рядом. Тот бежал легко и, конечно, мог бы обогнать отца в минуту. Копытов остановился и долго дышал носом, чтобы восстановить дыхание. Потом сказал:

— Вот штука какая... А ты, понимаешь, спорил со мной.

— Я не спорил.

— Упрямый ты.

— Я понарошку курю, пап...

— Она как зараза. Сначала понарошку, а потом не вылезешь. А ведь двадцать две копейки за пачку. Помножь ее на триста — вот тебе и велосипед к празднику купим.

— А почему на триста?

— Год получится, не понимаешь, что ль? Триста дней — год. На двадцать две копейки, если «Беломор» считать.

— В году не триста.

— Ну, округлил я.

— Округлил, а выйдет не мужской, а подростковый.

— Так ты ж и есть подросток.

— Я пока подросток, а зато на нем переключения передач нету. А без переключения — разве это машина?

— Я тебе переключение сам устрою.

— А сможешь?

— Чего ж не смочь? Конечно, смогу.

Генка вздохнул, а потом улыбнулся.

— Папк, только это у нас как в сказке. Откуда мы с тобой по двадцать две наберем? Мамка ведь не будет нам специально на папиросы деньги давать. И потом — я не «Беломор», а «Дукат» все больше курю, он всего семь копеек.

— Высеку я тебя, Генка, — сказал Копытов, — а то уж больно ты дерзкий.

— Я не буду курить, пап, честное слово.

— Еще мать узнает... Знаешь, что будет?

— Да я и так...

— Женщины, они ведь, сынок, нервные. А если еще это дело...

Копытов сконфуженно замолчал, потому что дальше он хотел говорить о водке, но вовремя спохватился, поняв, что с Генкой об этом говорить никак нельзя.

— Какое дело? — спросил Генка.

— Да так, к слову...

— Про двести с прицепом, что ль? — засмеявшись, сказал Генка. — Ты все думаешь, что я маленький, а я через три года на завод пойду...

Копытов поздоровался с дворниками, которые сидели на скамеечке около дома номер семнадцать.

— Здравствуйте, Кузьма Семеныч, — ответили дворники в один голос.

— Все спокойно у вас?

— Порядок.

— Лешка из девятой не буянил?

— Притих.

— Мы ему в отделении сказали: еще раз напьешься — выселим из Москвы.

— Не, пока не нажирался...

— Парень хороший. На баяне играет...

— Слышь, Афонин, — спросил Копытов, — а в нашем универмаге велосипеды подростковые есть?

— Есть.

— А взрослые?

— Тоже есть.

— А сколько стоит, не знаешь?

— Откуда я знаю, — ответил Афонин, — я свое откатал.

— Ну ладно... завтра узнаю.

— Скоро к нам вернетесь?

— А вот участок обойду...

Копытов шел вдоль темной аллеи. Он увидел согнутое молодое деревцо и начал рыться в карманах. Нашел кусок бечевки и подвязал деревцо к шесту, вбитому рядом.

Он отошел еще с полкилометра и увидел на скамейке

двух мужчин. Они сидели, низко опустив головы. Копытов подошел поближе и сказал:

— Ребятки, домой пора. Поздно.

Мужчина, что постарше, замотал головой и замычал что-то невнятное. Второй икнул и улыбнулся Копытову странной, мертвой улыбочкой. Копытов заметил, что лицо его бледно и покрыто испариной.

— И чего напились? — спросил Копытов. — Где живете? Пошли, помогу дойти хоть...

Второй поднялся и стал раскачиваться с носка на пятку. Копытов взял его под руку. Удивился, потому что от человека совсем не пахло водкой.

— Или ты больной? — спросил Копытов.

— Б-больной.

Копытов обернулся, чтобы спросить того, что помоложе, но ничего не успел спросить, потому что страшной силы удар обрушился на него, смял и бросил на землю. Падая, он увидел Генку, который ехал на взрослом велосипеде, жену и бабку Фросю. Она пела песню и возилась с тестом. А потом все исчезло, стало лишним и безразличным ему — отныне и навсегда.

— Пусть шофер включит прожектор, — сказал оперуполномоченный МУРа Росляков.

Яркий свет прожектора резанул ночь легко, словно острый нож кусок черного хлеба. Ночь раскололась надвое, и все увидели мертвого Копытова. Он лежал, сжавшись в комочек, щупленький, старый человек с большими руками крестьянина. Его руки еще словно жили. Они обнимали землю, сквозь которую пробивалась первая зелень, казавшаяся синей в белом свете прожектора. Росляков долго и внимательно рассматривал голову милиционера, пробитую у виска чем-то тяжелым.

— Вы еще будете долго работать? — спросил он эксперта.

— Право, не знаю. Он очень плохо лежит. Где фотограф, товарищи?

— Тогда вы работайте, а я поговорю с людьми.

Дворники ничего путного рассказать не могли, потому что, кроме самого Копытова, никого не видели, голосов не слышали, и вообще ничего такого, на что следовало бы обратить внимание, сегодня не случилось.

— Он все смеялся: «Велосипед куплю», — сказал один дворник.

— Он тут у вас ни с кем не ссорился?

— Да господи, он же человек мягкий.

— Был, — поправил другой дворник, — был человек...

Проводник собаки Еремушкин, вернувшись, сказал, что след оборвался в километре отсюда, около стоянки такси.

— Там больше машин нет?

— Пусто.

Оперативник из отделения, ходивший вместе с Еремушкиным, сказал:

— Проходящая машина была, тормозной след посредине улицы оборван.

— Вы замерили?

— Да. И ширину и длину.

— Позвоните к дежурному, пусть сообщит в ОРУД.

— Хорошо...

После этого Росляков начал осторожно осматривать все вокруг. Прежде чем сделать шаг, он внимательно обследовал то место, куда надо будет поставить ногу. Он помнил, как ему комиссар сказал однажды:

— Знаете, у кого надо учиться осторожности? У слепых. Они, пока место, куда надо ступать, не ощупают, ногой не шевельнут.

Росляков запомнил это и потом много раз убеждался в точности комиссаровских слов. Он сделал еще несколько шагов и сказал эксперту:

— Тут есть след.

— Сейчас.

Росляков осторожно подобрал окурок «Казбека» и в метре от окурка увидел окровавленную перчатку.

— Товарищ лейтенант, — окликнул его эксперт, — у Копытова пистолет срезан. Прямо с кобурой. Видно, за оружием охотились.

Последовавшие за этим ночным дежурством события подтвердили предположение эксперта. В Москве начала орудовать банда вооруженных грабителей — сразу же после убийства Копытова.

Через неделю утром комиссар вызвал к себе начальников двух ведущих отделов и спросил:

— Чем сейчас занимаются Костенко, Росляков и Садчиков? Снимите их со всех дел. Будем создавать специальную группу. Вызывайте сотрудников ко мне на совещание...

ПЕРВЫЕ СУТКИ

Специальная группа

— «8 мая 1962 года в 12.20 двое неизвестных в темных очках зашли в помещение скупки № 1678 по Средне-Самсоньевскому переулку и, угрожая пистолетом и ножами, забрали у работников скупки 384 рубля. Пригрозив, преступники потребовали не выходить из скупки в течение десяти минут после того, как закроется дверь. Работники скупки слышали, как заработал автомобильный мотор, но, когда они вышли, переулок был пуст».

«12 мая 1962 года в 17.45 двое преступников в темных очках вошли в домовую лавку по Холодному переулку, дом № 10/9, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая оружием, потребовали выдачи денег. Забрав дневную выручку в количестве 272 рублей, преступники скрылись в неизвестном направлении».

«16 мая 1962 года трое неизвестных зашли в приходную кассу № 765/941 по Большому Васильевскому переулку, дом № 17, заперли дверь, перерезали телефон и, угрожая пистолетом, потребовали у работников кассы всю дневную выручку. Контролер Быкова А. В. вступила в пререкания с преступниками. Воспользовавшись этим, кассир Ямщикова И. Б. нажала сигнальную кнопку. У входа раздался звонок. Преступник выстрелил в Ямщикову И. Б., но промахнулся. Преступники скрылись».

Комиссар кончил читать, несколько раз чиркнул зажигалкой, посмотрел на длинный язык пламени, осторожно дунул на него и закончил:

— Таким образом, все эти три ограбления совершены, бесспорно, одной бандой. Мне кажется, что цепочка эта организовалась после убийства Копытова. Так мне кажется... Выделяю специальную оперативную группу. Прошу Костенко и Рослякова задержаться, остальные свободны. Садчиков будет руководителем, так что вызывайте из отпуска. Теперь все.

Кассир Ямщикова все время гладила себя по щекам, как будто они у нее замерзли. Она говорила медленно, спотыкаясь, и, когда она начинала новое слово, ноздри у нее раздувались и лоб стягивали морщины.

— Я сегодня с утра стала разбирать вчерашние документы, после того случая. Думала, все ли на месте. И вот нашла...

Она протянула Костенко расчетную книжку по уплате за коммунальные услуги. На первой, желтой страничке было написано: «Самсонов Алексей Алексеевич. Улица Льва Толстого, дом 64, квартира 249».

Костенко записал фамилию и адрес на листок бумаги и пошел к телефону.

— Самсонов, — сказал он дежурному. — Да нет же, лучше я по буквам... Семен, Анна, Михаил... Самсонов. Немедленно наведите справку. Мы сейчас будем у себя...

Папа с мамой

Костенко даже не успел подняться к себе — дежурный сказал, что комиссар просит немедленно зайти к нему. Костенко вошел в кабинет.

— Знакомьтесь, — сказал комиссар, — это товарищ Самсонов Алексей Алексеевич.

Самсонов поднялся со стула. Лицо его было опухшим и очень бледным.

— Здравствуйте, — сказал Костенко.

— Вот, знаете ли, сын у Самсонова пропал. Ленька. Семнадцать лет парню. Домой не вернулся, папаша переживает.

Самсонов спросил:

— У вас курить можно?

— Чего ж нельзя, можно. Женщин нет.

— Благодарю.

— Благодарить будете, когда сын отыщется.

— Я не спал всю ночь.

— Еще бы! Костенко, свяжитесь с бюро несчастных случаев.

— Уже...

— Ну?

— Там ничего.

— Вы фотографии его принесли? — спросил комиссар.

— Да.

Самсонов положил на стол десяток фотографий Леньки. Комиссар долго рассматривал парня, а потом спросил:

— Сами снимаете?

— Жена. Я только проявлял.

— Семейная артель?

Самсонов махнул рукой.

— Семейная канитель, — сказал он, — какая тут к черту артель!

— Пленка хорошая. Где покупали?

— Это немецкая.

— А я, знаете ли, в воскресенье все магазины обошел — чувствительность сорок пять, и только.

— Вы с блицем попробуйте снимать.

— Какой же портрет с блицем? Это только встречи на аэродроме с блицем снимают. Ну-ка, Костенко, возьмите фото и сделайте копии. Позвоните, покажите, может, кто узнает.

Костенко сразу же позвонил к Ямщиковой, вызвал машину и поехал в приходную кассу. Он положил перед ней на столе несколько фотографий мужчин и подростков. Среди них была карточка Леньки Самсонова. Костенко положил ее с краю, прикрыв уголком другого фото так, чтобы она не бросалась в глаза.

— Вы тут никого не узнаете?

Ямщикова увидела Ленькино лицо, побледнела и сказала тихо:

— Мальчик стоял у двери.

— Это точно?

— Абсолютно. Я не думала, что он такой молоденький. Они все тогда казались взрослыми.

— Стрелял не он?

— Нет, другой, в очках.

— А этот так и стоял у двери?

— Нет, кажется, тот, что был в очках, сказал ему: «Стань к окну». А там стол. А на столе я потом нашла расчетную книжку. Погодите, погодите, у него еще в руках была большая книга. Точно, большая такая, в красном переплете. Это сейчас все вспоминается, вчера я вообще не могла в себя прийти.

— Понятно. А как книжка называлась, не помните?

— По темно-красному фону — черные слова, а я близорукая, название не разобрала.

Потом Костенко разложил фотографии перед контролером Быковой, и она тоже сразу, без колебаний опознала Леньку Самсонова.

— Он, ирод проклятый, — сказала женщина, — гадюка такая...

— Думаете, ирод? — переспросил Костенко и улыбнулся. — Ему семнадцать лет...

Прямо из кассы Костенко позвонил к комиссару и сказал:

— Он.

— Хорошо.

— Мне бы надо ордер. Посмотреть квартиру.

— Вы давайте сюда подъезжайте. Тут решим.

Когда Костенко приехал в управление, Самсонов медленно пил валокордин. Комиссар подождал, пока тот допил лекарство, и спросил:

— Ну, в прятки нам с вами играть или говорить открыто?

— Конечно, открыто.

— Тогда рассказывайте, Костенко.

— Ваш сын, — сказал Костенко, откашлявшись, — вчера вместе с бандой грабителей совершил вооруженное нападение на приходную кассу. Они стреляли в женщину, но чудом не убили ее.

— Так, — сказал Самсонов. — Так, — медленно повторил он.

— Где он может быть сейчас? У родных, у друзей? Как вы думаете?

— Он должен вернуться домой, если жив.

— Он не вернется домой, Алексей Алексеевич. Это ваша? — спросил комиссар, положив на стол книжку расчета за коммунальные услуги.

— Наша, — тихо ответил Самсонов.

— Так вот. Ваш сын оставил ее на месте преступления. Теперь он будет скрываться, понимаете? Если он сразу не пришел к нам с повинной, он будет скрываться. Оружия у него не было?

— Что?!

— Вы проектировщик, у вас, видимо, есть нож. Или пистолет.

— У меня есть, но все это заперто в столе.

Комиссар снял трубку телефона, медленно, негнущимся указательным пальцем набрал номер, досадливо поморщившись, подул в трубку и сказал:

— Машину к подъезду.

Опустив трубку, он спросил.

— Как сердце, отпустило?

— Сейчас легче.

— Значит, так, надо произвести в вашей квартире обыск. Пока будем ехать, постарайтесь вспомнить всех друзей Леньки. Понимаете? Всех! Без исключения. Костенко, поезжайте. Да, когда приедет Росляков, немедленно отправьте его в школу. Какой номер, не помните, Алексей Алексеевич?

— Девятьсот шестидесятая.

— Хорошо. Спускайтесь вниз, там «Волга».

— До свиданья, товарищ комиссар.

— До свиданья, товарищ Самсонов.

Когда он вышел, комиссар сказал:

— Успокойте его как-нибудь. В институте о нем говорят — золотая голова. Вот так-то, милый...

Пистолета в столе у Самсонова не оказалось. Зато на этажерке в комнате Леньки Костенко сразу же увидел большую книгу в красном переплете с желтыми буквами: «Александр Фадеев. Молодая гвардия». Он отправил одного из оперативников в приходную кассу, тот вернулся через полчаса и сказал:

— Та самая.

Людмила Аркадьевна, жена Самсонова, ходила следом за Костенко и шептала:

— Это ошибка, послушайте! Леша, скажи им, что это ошибка. Ну что же ты молчишь! Скажи им, что это ошибка.

— Нет, — ответил Самсонов, — это не ошибка.

— Он несовершеннолетний, — сказал Костенко, — так что, может быть, учтут.

— Нет, это ошибка, — повторяла Людмила Аркадьевна, — несчастный мальчик, он ни о чем не подозревает.

— Перестань, — сказал Самсонов. — Надо было раньше думать.

— Холодный и черствый человек, — горько усмехнулась Людмила Аркадьевна, — сердце у тебя мохнатое.

— У меня, наверное, уже нет сердца, — ответил Самсонов и лег на диван. Он снова сделался зеленым, и кончики пальцев у него посинели так, будто отошли в жаре после жестокого мороза.

— Уходите же, — сказала Людмила Аркадьевна, — ему плохо.

Костенко тихо ответил:

— Я уйду, а два наших товарища у вас останутся. И к телефону я попрошу вас не подходить.

— Это произвол, — сказала Людмила Аркадьевна.

— Нет, — ответил Костенко, — это не произвол. Это засада.

Где Ленька?

В школе, где учился Ленька Самсонов, шли последние дни занятий. Росляков пришел туда во время перемены и сразу же оказался среди визга, шума и смеха. Солнце пронизывало насквозь коридоры, и в его желтых косых лучах носились белые пушинки тополей.

— Десятый «А» где? — спросил Росляков девушку, которая сидела на подоконнике с книгой, прижатой к груди.

— На пятом.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Росляков поднялся на пятый этаж и подошел к дверям класса. Там что-то весело кричали, перебивая друг друга. Росляков поманил к себе парня с повязкой дежурного на рукаве, который ходил по коридору, наблюдая за порядком, и попросил:

— Леньку позови, пожалуйста.

— Какого?

— Самсонова.

— Так он же исключен.

— За что?

— А он бульдога в класс привел.

— Ну и что?

— Ничего. Рычал. Галина Михайловна упала в обморок. Она собак боится. Леньку за гриву, в учительскую, оттуда в милицию, и — «ариведерчи, Рома».

— Это когда же было?

— Вчера.

— А сейчас он где? Дома?

— Что вы... Он до этого-то домой только спать ходил. У него предки цапаются. Мы его искали, думали, чтоб он повинился, пустил слезу, но нет нигде. Может, Лев знает.

— А это кто?

— Лев Иваныч, по литературе. Подпольная кличка — «Лев без единого зуба».

— Почему Лев должен знать?

— А он у Льва любимчик. Стихи пишет.

— Хорошие?

— Ничего. Мне стихи бим-бом, я все больше по химии. А вы откуда сами?

— Знакомый его. Он мне трешницу должен был, велел зайти. А где его друг, тот... этот... Ну...

— Сема?

— Да.

— Сейчас.

Зазвенел звонок. Все ребята бросились по своим классам. Из двери выглянул большеголовый черный парень и спросил:

— Это ты от Леньки?

— Нет. Сам его ищу, — ответил Росляков. — Он что, у тебя заперся?

— Да нет!.. Я его обыскался — нигде нет. Он ведь псих. Ты подожди, англичанка идет, после урока поговорим.

— Ладно, — ответил Росляков и пошел к директору.

— Не может быть, — тихо сказал директор. — Когда это случилось?

— Позавчера.

— Позавчера?! В какое время?

— В четыре.

— В час мы его исключили из школы.

— А в милицию его за бульдога надо было обязательно водить?

— Это глупость. Меня здесь не было, понимаете? А завуч решила его припугнуть.

— Что, милиция в роли огородного чучела? Очень умно, а?!

— Да, да, вы правы, конечно.

— Великое преступление — бульдога привел!

— С другой стороны, не маленькое, по школьным законам.

— Закон есть один. Школьными бывают порядки.

— Да, да... Какой ужас! Талантливый парень, просто не верится... Что же делать? Где хоть он?

— Это я здесь хотел выяснить. Кто его самый большой друг?

— Он общительный мальчик. У него много товарищей.

— А Сема?

— Рывчук?

— Я не знаю. Черный, голова у него здоровая.

— Да, это он. Они, кажется, дружат.

— Какой у него адрес, можно узнать?

— Сейчас.

Директор вернулся и положил перед Росляковым листок бумаги, на котором был написан адрес Рывчука.

— Да, кстати, — сказал директор, — он дружил с Тюриным. Он наш выпускник, теперь студент...

— Я позвоню, — сказал Росляков. — Вы разрешите?

— Прошу.

Росляков набрал номер и сказал:

— Слава, тут один адресок есть. Запиши, пожалуйста: Новый проспект, семь, квартира девять. Рывчук. Это его друг. И еще Тюрин, адрес надо выяснить.

Он положил трубку, вздохнул и спросил:

— А Лев Иванович ничего знать не может?

— Лев Иванович... Погодите, очень может быть. Сейчас я его приглашу, у него как раз «окно».

Лев Иванович оказался стариком с бородой, совершенно беззубым, с удивительными голубыми глазами. Они у него были пронзительные и чистые, как вода. Он сел напротив Рослякова и спросил директора:

— Чем могу?..

Директор сказал смущенно:

— Вот товарищ...

— Я из угрозыска.

— Очень приятно. Что вас привело к нам?

— Самсонов.

— Леонид?

— Да.

— Что-нибудь по поводу собаки?

— Нет. Он участвовал в вооруженном ограблении приходной кассы.

Лев Иванович поднялся. Секунду он стоял молча, а потом спросил:

— Когда это было?

— Позавчера в четыре.

— Тут не может быть ошибки?

— Нет. Мы ищем его. Вы ничего о нем не знаете?

Лев Иванович долго молчал, прежде чем ответить. Сегодня утром Ленька позвонил ему и сказал, что хочет прийти и поговорить. Лев Иванович назначил ему ровно на четыре. Ленька и раньше бывал у него, но всегда без звонка. Просто приходил, и старику не было скучно сидеть с ним вечера напролет. Парень был напичкан поэзией, и его стихи казались Льву Ивановичу талантливыми, совсем не школьными и не детскими.

— Нет, — ответил он наконец, — я ничего о нем не знаю.

Росляков вздохнул.

— Самое худшее заключается в том, — сказал он, — что парень украл у отца оружие. Он как волчонок сейчас.

— Раскаяние и чистосердечное признание... Добровольная отдача себя в руки властей — это учитывается юрисдикцией или сие формальность? — спросил Лев Иванович.

— Учитывается, — ответил Росляков, — да толку что? Два дня прошло, а парня нет...

Ленька пришел к Льву Ивановичу ровно в четыре. Старик негромко крикнул из комнаты:

— Ты ноги, пожалуйста, вытри, у меня сегодня натерт пол!

Ленька стоял в коридоре, возле открытой двери Льва Ивановича. Он стоял, закрыв глаза, устало опустив руки вдоль тела, взъерошенный, осунувшийся и по-мальчишески еще нескладный. Несколько раз он собирался переступить порог, но каждый раз что-то удерживало его, и сердце гулко падало в груди, а кровь приливала к голове и щекам. Потом он вошел и сказал:

— Здравствуйте, Лев Иванович.

— Здравствуй, Леонид. Садись.

— Спасибо. В ногах правда.

— Скверное настроение? — спросил старик.

— Скверное. Хорошее слово. Почему-то оно сходит в устной речи.

— Век требует более резких определений, да? «Дрянное» — это, по-видимому, точнее?

— В моем положении — да.

— У нас сейчас с тобой идет разговор по принципу: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли, не так ли?

— Вроде бы...

— Жаль. Надо быть всегда искренним. Как Достоевский. По-моему, он самый искренний человек из всех искренних.

— Он был очень жестоким.

— Есть жестокость и жестокость. Важно, на чем она зиждется.

— Можно ли оправдывать жестокость, Лев Иванович? Вообще, в самом широком смысле?

— Конечно. Восторгаются ведь Желябовым, Перовской и Ульяновым, которые убили императора Александра Второго Освободителя, а ведь он, по отзывам современников, был обаятельным человеком. Понимаешь? Жестокость Желябова была жестокостью правды во имя доброты.

— А жестокость по отношению к человеку, совершившему глупость?

— Какую глупость?

— Просто глупость. Обыкновенную глупость.

— Видишь ли, человек, совершающий обыкновенные глупости, либо психически нездоров, либо дурак. Тут надо дифференцировать, Леонид. По-видимому, надо очень четко и честно определять людские поступки, и тогда то, что нам кажется глупостью, может на поверку оказаться либо преступлением, либо узкомыслием. Узкомыслие в больших вопросах — также преступно. И в общегосударственных и в человеческих.

— А если преступление рождено глупостью?

— Оно так же ужасно, как и рожденное умом. Тут разница только в степени жестокости. Кстати, часто преступление, продиктованное глупостью, бывает более жестоким, нежели рожденное умом. И то и другое должно быть наказуемо.

— Но преступление не принесло никому никакого вреда.

— Так не бывает. Преступление, даже не совершенное, а задуманное, уже породило преступника.

— Вы учили меня честности в поэзии, Лев Иванович...

— Не может быть честности в чем-то. Это не честность, если она частична. Честность должна быть генеральным качеством человека.

— Лев Иванович...

— Да.

— Знаете, наверное, мир все-таки ужасно устроен.

— Чепуха. Он устроен логично, а потому — прекрасно.

— Логична геометрия, — сказал Ленька, — а что в ней прекрасного?

— Мы же говорим о мире, а не о геометрии...

— Лев Иванович...

— Да.

— Можно я пойду попью холодной воды?

— Конечно.

Ленька ушел, а старик слышал, как он пустил воду из крана. Старик знал, что Ленька всегда подолгу ждет, пока сойдет теплая вода и пойдет студеная, «из земли». Потом он услышал, как Ленька стал пить воду. Он пил ее прямо из-под крана, чмокая губами. Потом стало тихо, и только несколько капель звонко разбились в раковине.

Этот не знает

Тюрин — выпускник той школы, где учился Ленька, — сидел дома и чертил хитрый курсовой чертеж. Он услыхал протяжный звонок и пошел открывать дверь.

— Кто там?

— С Мосгаза.

Он открыл дверь, впуская Костенко, и сказал:

— Только извините, я в трусах.

— В трусах — не в бюстгальтере, — ответил Костенко, — переживу.

Тюрин засмеялся.

— Я тягу проверить, — сказал Костенко.

— Тянет хорошо.

— Порядок есть порядок.

Тюрин притащил лесенку, поставил ее к ногам Костенко и пошел к своей чертежной доске.

— Вы б подержали меня, а то загремлю, — попросил Костенко.

— Вам долго?

— Нет...

Он взобрался на лестницу.

— Сейчас в двести сорок девятой был, так лесенку попросил, а хозяйка меня обругала.

— Людмила Аркадьевна?

— А бог ее знает... Фифочка.

— Женщина с характером. Кого угодно доведет.

— Она меня довела. А сама стоит и плачет.

— Из-за Леньки...

— Это кто? Хахаль?

— Сын.

— Женился, наверное...

— Что вы! Сбежал из дому.

— Куда?

— Я думаю, куда-нибудь в Сибирь подался. Они дома грызутся, ему все это надоело хуже горькой редьки.

— А почему в Сибирь?

— Я там в экспедиции был, с ума сойти, как здорово, ему рассказал кое-что, так он мне потом говорит: «Сбегу к чертовой матери».

— В той комнате у вас стена капитальная?

— В столовой?

— Да. Там, где дверь закрыта.

— Не знаю. Вы сами посмотрите.

Костенко зашел во вторую комнату, постучал по стене, быстро огляделся, увидел большой стол, маленькую горку для посуды и несколько стульев. Леньки там быть не могло. Он вышел в коридор.

— Придется еще раз прийти к вам, — сказал Костенко.

— Только пораньше приходите, а то я в институте, мамаша на фабрике, дом пустой.

— Ясно. Мне к этой дамочке снова надо идти, а душу воротит. Дождусь, пока ее парень вернется.

— Ленька? Он не вернется.

— Неужто мать не жалко?

— Нет, жалко, конечно...

— Родители как-никак. Если он письмо вам черкнет, сказали бы матери-то...

— Думаете?

— Точно. Переживает — лицо как свекла стало. А что, вы друг ему?

— Друг не друг, а товарищ.

— Ну, пока.

— Всего хорошего.

— Так наши еще раз зайдут.

— Хорошо. Только утречком.

— Ясно. До свиданья.

— Счастливо.

Леньке плохо

Людмила Аркадьевна стояла в спальне у окна и плакала. Оперативник из отделения сидел около телефона, Телефон молчал. Самсонов полулежал в кресле. Рядом с ним был Росляков.

— Алексей Алексеич, — сказал он, — вы не можете вспомнить, как у вас прошел позавчерашний день?

— Вас интересую я?

— Меня интересует все.

Самсонов отвернулся к окну.

«Позавчера? — вспоминал он. — Что же было позавчера? Днем я был в Министерстве финансов. Потом я вернулся в институт. Это было, кажется, часов в пять...»

Он чувствовал усталость во всем теле. Ему было больно пошевелиться. Он слышал, как в приемной секретарша печатала на машинке. Стук клавишей казался ему оглушительным грохотом. Самсонов позвонил. Стук клавишей сразу же прекратился, зато противно и быстро затопали каблучки. Он поморщился. Вошла секретарша и улыбнулась дурацкой киноулыбкой.

«Откуда это у нее? — подумал Самсонов. — Такая славненькая, а улыбается, как звереныш».

— Вы звали меня?

— Да. У вас еще много работы?

— Пять страниц.

— Хорошо. Только, пожалуйста, подложите что-нибудь под машинку. Она ужасно гремит.

Из своего кабинета Самсонов ушел около десяти, когда все цифры и выкладки, необходимые для завтрашнего совещания по проекту, были им выверены по нескольку раз. Он отпустил шофера и пошел домой пешком. Он шел и чувствовал, как в затылке у него снова нарастала боль, он ощущал, как боль растекалась по всему телу, проникала в позвоночник, в предплечья, в пальцы и в кончики ногтей.

Около самого дома эта проклятая боль, доставшаяся ему в наследство после контузии, стала немыслимой. Он остановился и, прислонившись к стене, замер. Потом начал осторожно массировать виски. Какой-то паренек, проходивший мимо, спросил:

— Вам плохо?

— Немножко, — ответил Самсонов сквозь зубы.

— Тут в «Гастрономе» воду продают.

— Спасибо, — сказал Самсонов и пошел в «Гастроном».

Он выпил стакан нарзана, и в голове у него зазвенело тонко-тонко, будто в тайге весной, когда много мошки. Самсонов очень любил это время в тайге. Он полюбил его с сорокового года, когда в первый раз проектировал дорогу от Магадана к прииску Стремительному.

Когда он вошел в квартиру, Людмила Аркадьевна сидела посредине столовой в вечернем платье. Глаза у нее были красные и злые.

«Черт, ведь сегодня мы должны были идти в театр, — сразу же вспомнил Самсонов и похолодел. — Сейчас начнется...»

— Людочка, — сказал он тихо, — я совсем замотался, прости меня.

Людмила Аркадьевна молчала.

— Я готовился к завтрашнему совещанию у...

Она перебила его:

— У какой-нибудь очередной бабы?

— Как тебе не совестно!..

— Это ты мне говоришь о совести? Я целыми днями стою у плиты, мне опротивело все это!

— Пойди работать.

— Негодяй!

— Ну вот...

— Ты исковеркал всю мою жизнь, понимаешь? Я готовила тебе еду, гладила рубашки и воспитывала твоего сына! А ты шатался, где хотел! А мне уже сорок!

— Здесь же Ленька...

— Он взрослый мальчик, он все понимает!

Самсонов махнул рукой и начал снимать галстук. Потом он пошел в спальню.

— Как мартовский кот, — продолжала говорить Людмила Аркадьевна, — напакостил — и в конуру!

— Это мы так воспитываем сына?

— Ты еще издеваешься надо мной!
— Миронова и Менакер. Театр миниатюр.
Самсонов захлопнул дверь и лег на тахту. Людмила Аркадьевна распахнула рывком дверь, стала на пороге и сказала:
— Если ты сейчас же не прекратишь своих безобразий, я... я...
— Повесишься, — устало отозвался Самсонов, — знаю, слыхал.
— Мальчик, — крикнула Людмила Аркадьевна, — послушай, как глумятся над твоей матерью!
Ленька медленно вышел из самсоновского кабинета. Самсонов заметил, что лицо у парня белое, с отечными синяками под глазами.
— Что с тобой? — спросил Самсонов.
— Это ты доводишь его до болезни! — крикнула Людмила Аркадьевна.
— Что с тобой? — повторил Самсонов, поморщившись.
— Ничего, — ответил Ленька, — просто я вас ненавижу...
И — ушел из дому.

Самсонов обернулся к Рослякову и сказал:
— В общем-то ничего особенного позавчера не произошло.
— Ссоры дома никакой не было?
— А это, пожалуй, наше личное дело.
— Если бы не ограбление домовой лавки.
— Вы проводите связь между этими событиями?
— Я пока, Алексей Алексеевич, ничего не провожу. Я пока спрашиваю...

— Ну, дальше? — попросил Лев Иванович.
— А дальше я хотел все рассказать отцу.
— Почему не рассказал?
— Да так...
— Это не ответ. Тебя спросят об этом в участке.
— Где?
— В милиции. Ты должен помочь им абсолютной правдой, понимаешь, Леонид? Абсолютной, если хочешь — геометрической правдой.
— Ну, в общем, им было не до меня.

— Кому?

— Отцу. Матери.

— Какая-нибудь семейная неурядица?

— Да.

— Пустяк. В семье могут быть трения, но тебя это никоим образом не касается.

— Если восемь лет одно и то же — касается, Лев Иванович. Я и стихи от тоски писать начал.

— Это, Леонид, неправда. Стихи от тоски не пишутся. А если и пишутся, то выходят наиотвратительнейшими.

— «Я помню чудное мгновенье...» не с радости написано.

— Верно. Оно — от грусти. Но тоска — нечто совершенно грусти противоположное. Тоской в прошлые годы институтки страдали. Но об этом после. Ты знаешь, куда надо ехать?

— Да.

— По-видимому, тебе хотелось бы, чтобы мы поехали вместе?

— Что вы, Лев Иванович...

— Ну, полно.

— Лев Иванович, можно мне вас попросить?

— Пожалуйста.

Ленька достал из кармана плоский «вальтер» и положил его на стол.

— Что это?

— Пистолет моего отца. Если я его привезу туда с собой, я подведу отца. Понимаете?

Лев Иванович пожевал бороду, откашлялся и спросил:

— Ты стрелял из него?

— Нет.

— Нельзя говорить половину правды, Леонид. Тогда лучше ее не говорить вовсе.

— Я же подведу человека.

— Ты уже его подвел. Поехали. Забери эту вещь в карман, я не смогу выполнить твоей просьбы, как мне это ни больно...

— Вы меня учили добру, Лев Иванович. А какое же будет добро, если я подведу отца — ни в чем не виноватого человека?

— Я не хочу сейчас казаться прописным, Леонид. Только я очень верю: ты должен отнести им этот револьвер.

Ленька усмехнулся и сказал:

— Знаете, не надо вам ехать со мной.

— Отчего так?

— Я не хочу, Лев Иванович. Я сейчас перестал этого хотеть. Вы даже можете к ним позвонить и вызвать их сюда, а пока запереть дверь на ключ. Телефон — ноль два, добавочный — дежурного. Все очень просто.

— В тебе сейчас говорит нечто незнакомое мне.

— Во мне сейчас ничто не говорит, Лев Иванович. Сейчас во мне все визжит и трясется, потому что я иду в тюрьму. Иду в тюрьму за глупость, понимаете, Лев Иванович! Иду в тюрьму, где сидят жулики и убийцы, насильники и растратчики! А я иду туда с вашими наставлениями о добре и со своими стихами, понимаете вы?!

— Успокойся...

— Успокаиваются, когда есть что успокаивать! А у меня нечего успокаивать! Я обманывал и себя и вас, когда только что говорил о стихах, и о «чудном мгновенье», и о добре и зле! Я слышу сейчас только одно слово: ТЮРЬМА! ТЮРЬМА! И больше ничего! Я пустой совсем! Нет меня! Нет! Нет! Нет!

— Леонид, я прошу тебя выслушать то, что я скажу. У меня было два сына: комбриг Страхов и полковник Страхов. Они погибли. Я тоже тогда думал, что мир кончился, что я пустой, что меня больше нет, что я никогда и никому больше не смогу принести добра или сделать зло. Но ведь я жив. Но ведь я уже двадцать пять лет после этого читаю вам Пушкина и Достоевского!

— Это к тому, что человек живуч! Так, Лев Иванович?

— Уходи, — сказал старик. — Мне неприятен разговор с тобой.

— Прогнать всегда легко. И вы же остаетесь победителем. И еще: ваши сыновья были героями, а я в шестьдесят втором негодяй и дурак. И не надо проводить таких сравнений, они оскорбляют память ваших детей. До свиданья, Лев Иванович.

Ленька поднялся и пошел к двери. Открыв ее, он оглянулся и увидел старика — сутулого, в заплатанной парусиновой толстовке, среди книг и карандашных рисунков, рядом с поломанной тахтой, укрытой порыжелым одеялом, прожженным в нескольких местах папиросами. В Леньке что-то затряслось, судорожно и по-детски жа-

лобно. Он вспомнил те долгие вечера, когда старик сидел с ним и читал ему стихи, когда он, радуясь, жарил яичницу с луком и пел греческие песни, когда он помогал ему решать проклятые геометрические задачи, когда он спасал его перед директором за все те штуки, которые Ленька проделывал. Он вспомнил, как старик приглашал его в театры и ужасно конфузился из-за того, что у него были рваные ботинки, и поэтому не вставал с кресла и не выходил в фойе. Все это вспомнил Ленька, и лицо его тряслось все больше и больше, а старик стоял молча и не смотрел на него, а только быстро моргал глазами и все время поводил головой, как лошадь, которой трет хомут.

Ленька бросился к старику, прижался к нему и стал повторять:

— Не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь, миленький, не сердитесь, Лев Иванович, не сердитесь только, миленький...

Старик погладил его по голове и тихо сказал:

— Поехали, Ленечка. Я на тебя не сержусь.

Алиби — Хлебников

«После того как меня отпустили из милиции, куда я был отправлен завучем из-за бульдога, я пошел в школу, но там завуч сказал мне, что я из школы исключен и к экзаменам на аттестат зрелости допущен не буду. Это было как гром среди ясного неба. Я вышел из школы и долго думал: что же сейчас надо делать? Сначала я подумал, что надо пойти к отцу и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что он последний месяц был занят очень сложной работой, и решил, что этот сюрприз ему не очень-то поможет. Льва Ивановича Страхова, с которым я хотел посоветоваться, в школе не было, дома — тоже. Тогда я пошел по улице. Я шел и думал, что же предпринять. Настроение у меня было отвратительное. Около «Гастронома» № 17 я остановился, потому что вспомнил, что у меня в классе осталась книга Фадеева «Молодая гвардия» и в ней расчетная книжка за коммунальные услуги. Утром мне мать дала денег и попросила после школы уплатить за квартиру. Я вернулся в школу и попросил нянечку, тетю Катю, вынести мне книгу. Она мне книгу вынесла. Я спросил ее, где бульдог. Она отве-

тила, что за ним пришел хозяин. Хоть здесь-то обошлось, подумал я, потому что бездомный пес в городе — это очень тяжкое зрелище. Я бульдога нашел на улице, он бегал и скулил. Он еще щенок, и я решил, что его нельзя оставлять на улице. Поэтому я его привел с собой в класс. Я думал, что он будет спокойно сидеть.

Потом я снова ходил по улицам, и около того же «Гастронома» двое молодых людей предложили мне присоединиться к ним. У меня были деньги на квартплату, и я решил вместе с ними выпить. Мы выпили бутылку водки без закуски. Потом я купил еще одну бутылку, мы и ее выпили; я очень опьянел и стал читать моим знакомым стихи. Имен я их не знаю. Тот, что был повыше, в кожаной куртке, называл своего приятеля обезьяньим именем «Чита». Чита — невысокого роста, в сером костюме, русоволосый, а глаза у него очень большие и темные, почти без зрачков. Что было потом, я плохо помню. Кажется, мы еще раз пили водку. Помню, когда я декламировал Есенина: «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт», — они стали обнимать меня и целовать. Это я запомнил очень ясно, потому что я всегда запоминаю, как и кто реагирует на стихи. Потом еще, я припоминаю, они пели песню. Если возникнет надобность, я ее, наверно, смогу припомнить и написать в дополнение к протоколу допроса. Отрезвел я, когда они закрыли дверь кассы и длинный, вытащив наган, сказал: «Руки вверх! Ни с места!» Тут я сразу же отрезвел и очень испугался. Я попятился к двери, но тогда Чита достал финку и сказал мне: «Иди к окну». Я отошел к окну. У меня стали трястись руки, я положил книгу Фадеева на стол; по-видимому, тогда из книги выпала расчетная книжка за коммунальные услуги. Когда я отходил к окну, кто-то из работников кассы сказал: «Вы с ума сошли! Это же грабеж!» Длинный что-то крикнул, но в это время зазвенел звонок. Длинный выстрелил и побежал к двери, следом за ним кинулся Чита. Потом убежал я. Куда я бежал — не помню. Знаю только, что долго стоял в каком-то парадном и меня сильно тошнило. Я очень долго стоял в парадном, дожидаясь темноты. Там, помню, был автомат, и я, чтобы не вызвать подозрений, почти все время держал трубку около уха, когда слышал шаги на лестничной клетке. Да, еще помню, что, когда мы подходили к кассе, длинный сказал: «Витька — б..., оставил нас

без колес». Кто такой Витька и что значит «колеса», не знаю, и разговора об этом больше не было.

Вернувшись домой, я вымылся в ванной и стал дожидаться отца. Но он пришел поздно, и в силу некоторых домашних причин я ему рассказывать ничего не стал, чтобы еще больше не нервировать. Зачем я похитил его пистолет, объяснять сейчас не буду, потому что если бы даже и объяснил, то вы, естественно, вправе мне не поверить. Вот и все, что я могу сказать. Написано мною собственноручно. Леонид Самсонов».

Садчиков, прилетевший из отпуска, написал на листке бумаги: «Пусть Валя пройдется по кличке «Чита». Свяжется с отделениями. Кличка заметная, участковые должны знать».

— По всем отделениям? — спросил Костенко, прочитав записку.

— А что д-делать?

— Хорошо. Я пока схожу позвоню к дежурным.

— П-правильно. Пусть они тоже в-вспомнят. С-сдается мне, что он проходил раз по какому-то х-хулиганству.

— Я посмотрю.

— «Чита» — это уже зацепка. О-очень хорошая з-зацепка, поверь мне.

— Я верю.

— Н-ну извини, — сказал Садчиков.

— Да нет, пожалуйста, — ответил Костенко и подмигнул Леньке.

Из экспертизы принесли «вальтер» Самсонова и сказали:

— Из этого пистолета не стреляли. Пробный выстрел дал отрицательный ответ: гильза в кассе выстрелена из другого пистолета.

— Благодарю вас, — сказал Садчиков.

Он перечитал показания Леньки, отложил их в сторону и спросил:

— Ты сегодня ж-жевал что-нибудь?

— Мне не хочется.

— А я пом-мираю от голода. Слава, — попросил он Костенко, — может, ты сходишь в «Гастроном»?

— Давай. Что купить?

— Возьми к-колбаски и плавленых с-сырков.

— У меня от них скоро судороги начнутся, — сказал Костенко. — Была бы плитка — пельменей сварили.

— Спроси Льва Ивановича, — сказал Садчиков, — старикан тоже, наверное, г-голоден. Кстати, где Валька?

— Я его отпустил до двенадцати.

— Ну, х-хорошо. Иди за сыром.

— Иду.

— Послушай-ка, Леня, — сказал Садчиков, — давай вместе с тобой в-вспоминать все то, что говорили те д-двое. По отдельным словам, по выражениям. Ты же поэт, нап-рягись. Кстати, ты рассказы Чапека любишь?

— Очень.

— Помнишь, «О шея лебедя, о грудь, о барабан!»? Когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям?

— Помню. А вы что, Чапека читали?

— Нельзя?

— Нет, можно, конечно, только я думал...

— Ясно. М-можешь не договаривать. Ты, кстати, куришь?

— Нет.

— Правильно делаешь. Я б-бросил — разжирел, снова пришлось начать.

— Скажите, а меня надолго посадят?

— Сложный в-вопрос. Я пока тебе ничего на него не отвечу и ничего не буду обещать. А в-вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал восьмого мая?

— Восьмого? Это какой день?

— Суббота.

— Учился. Потом мы уехали на дачу.

— Когда кончились уроки?

— У нас в субботу пять уроков. Значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в букинистический. За томиком Хлебникова.

— Это что, зиф-фовское из-здание?

— Да.

— А что ты делал двенадцатого мая? Около шести?

— Не помню.

— Надо вспомнить.

— Вы думаете, я не все вам сказал? Почему вы спрашиваете меня про эти дни?

Садчиков подошел к Леньке, остановился прямо перед ним и, раскачиваясь с носка на пятку, сказал:

— Я спрашиваю т-тебя потому, что именно в эти дни бандиты с-совершали грабежи. Я бы не спрашивал т-тебя об этом, если бы сейчас был день. Просто мы бы вызвали сюда тех людей, которые видели грабителей, и предложили им о-опознать тебя. Понимаешь, какие пироги? Так что тебе ф-финтить нет резону, если что было.

— Какой смысл мне тогда был самому приходить к вам?

— Никакого, — согласился Садчиков. — Пожалуй, н-никакого.

Костенко вернулся с покупками.

— Духотища, — сказал он, — не иначе как к грозе.

— Сейчас я вернусь, — сказал Садчиков, — а вы п-пока закусывайте.

Костенко развернул пакет, разложил на столе сыр и колбасу, налил в стакан воды и подвинул Леньке.

— Поешь, — предложил он, — а то, наверное, кишка на кишку протокол пишет.

— Уже написан. Только не на кишку.

Костенко хмыкнул.

— А ты нос не вешаешь. Молодец. Где ночевал эти два дня?

— На вокзале.

— На каком?

— Сначала на Казанском, а потом на Ярославском.

— Что, в Сибирь хотел отправиться?

— Откуда вы знаете?

— Мы, дорогой, все знаем. Работа такая.

Вернулся Садчиков и спросил Леньку:

— Слушай, а вы Хлебникова к-купили?

— Купили.

— А еще что купили?

— Еще? Подождите, что-то мы еще купили... А, вспомнил. Бабеля! «Конармию».

— Ну, слава богу, эт-то вроде сходится.

— Что, с первого дела отпадает? — поинтересовался Костенко.

— Вроде да, — ответил Садчиков. — Ты не стесняйся, налегай на пищу. Что-нибудь про т-тех вспомнил?

— Вспомнил. Чита говорил: «Сейчас бы блинчиков в «Астории» пожрать». Это когда у нас закуски не было.

— Пожрать — значит п-поесть?

— Да.

 Зак. 892

— Великий и могучий, — вздохнул Костенко, — благозвучный и прекрасный русский язык!..

— А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет?

Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил:

— Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся: думал, не выстрелил бы.

Костенко и Садчиков засмеялись. Ленька тоже хмуро усмехнулся, а потом сказал:

— Это сейчас смешно... Вы меня что, сразу в камеру посадите?

— А как ты думаешь?

— Не знаю...

— А все-таки?

— Наверное, придется.

— В том-то и дело. Сулить мы нич-чего не можем, но, если т-ты сказал всю правду, не исключено, что тебя до суда отпустят.

— Домой?

— Не в Сибирь же, — ответил Костенко.

В дверь постучались.

— Да!

Вошел Лев Иванович.

— Прошу меня извинить... Но уже половина двенадцатого... Мальчику надо завтра рано вставать... Вы разрешите нам уехать?

— Вам — да.

— А ему? Он ребенок. И потом это нелепость, поверьте мне.

— Лев Иванович, — сказал Костенко, — а что случится, если вы сейчас вместе с ним или он завтра один встретите на улице тех двух? Убийц и грабителей? Он ведь свидетель, его убирать надо. Понимаете?

— Но почему вы думаете...

— Чтобы потом его папа с мамой не плакали, только для этого именно так я и думаю.

— Лев Иванович, — сказал Ленька, — спасибо вам. Вы не беспокойтесь.

— Это же непедагогично...

Садчиков нахмурился.

— Знаете, о п-педагогике лучше все же н-не надо. Момент не тот.

Через час приехал Самсонов.

— Где мой сын? — спросил он по телефону из бюро пропусков. — Я прошу свидания с ним.

Ленька спал на диване, укрытый плащом Садчикова. Костенко тихо сказал в трубку:

— Он спит.

— Я прошу свидания!

— Тише вы! — попросил Костенко. — Не кричите. Нельзя сейчас парня будить, он и так еле живой. Завтра. Приезжайте утром.

И положил трубку. Посмотрел на Садчикова. Тот отрицательно покачал головой.

— Думаешь, нет? — спросил Костенко.

— Думаю, нет. Он больше н-ничего не знает. Или мы с тобой старые остолопы.

— Тоже, кстати, возможный вариант. Ну что ж, давай писать план на завтра?

— Давай.

— Черт, нет плитки!

— Пельменей тоже нет.

— Я о чае.

— Ну, извини, — пошутил Садчиков.

— Да нет, пожалуйста, — в тон ему ответил Костенко. И они тихо засмеялись.

ВТОРЫЕ СУТКИ

Вышли на Читу

Утром в кабинете у комиссара сидели четыре человека: Самсонов, Лев Иванович, Садчиков и — возле окна — Ленька.

У каждого человека бывают такие часы, когда нечто заложенное в первооснове характера напрочь ломается и уходит. Именно в те часы рождается новый человек. Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма — это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков сы-

щиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по самой последней моде, сказал: «Выглянешь в коридор — и не знаешь, то ли фарцовщик на допрос идет, то ли оперативник из новеньких...» Любил комиссар и красиво высказанную мысль. Наверное, поэтому ему сразу очень понравились гегелевские слова. Но потом, в силу тридцатилетней укоренившейся привычки к каждому явлению возвращаться дважды и, перепроверив, еще раз проверить, он вечером долго стоял по обыкновению у окна и курил. Он вспоминал старого вора Голубева. Опытнейший карманник вернулся из заключения и заболел воспалением легких. Он не думал бросать свое ремесло. Он лежал и злился, потому что поднялась температура и надо было покупать пенициллин, а после войны он был очень дорогим, и денег не было. Тогда старуха мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего, и Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление, к комиссару, и сказал:

— Берите меня к себе, я их теперь, подлюгов, терпеть не могу до смерти.

— Грамматика у тебя страдает, — сказал комиссар. — Что на своего брата взъелся?

— Есть причина, — сказал Голубев. — Их душить надо.

Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад, перед арестом. Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные «фиксы» и та же челочка. Все вроде бы то же, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал: «Форма — уже содержание? Дудки, милый Гегель. Загнул ты здесь, дорогой».

Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто, определявшее его раньше. Комиссар это видел и по тому, как на Леньку смотрел его отец, и по тому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович, и еще по тому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал.

— Ну, — сказал комиссар, — это все хорошо. Но ты объясни мне, как ты мог с ними пойти на грабеж.

— Я этого объяснить не смогу.
— Потому что был пьяный?
— Да.
— А я и не прошу, чтоб ты в себе в пьяном копался. Ты мне по трезвому делу объясни. Вот сейчас, как ты это объяснить можешь?
— Бывают провалы памяти...
— Ты думаешь, у тебя был провал?
— Да.
— Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься...
— Так я уже...
— Уже ты дурак, — сказал комиссар. — Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть.
В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул.
«Волнуется старик, — решил комиссар, — на Дон-Кихота похож».
— Разрешите, товарищ комиссар? — заглянув в кабинет, спросил Росляков.
— Прошу.
Росляков подошел к столу и положил перед комиссаром небольшую картонную папку.
— Садитесь, — сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс, разглядывал, чуть отставив от себя — как все люди, страдающие дальнозоркостью, — дактилоскопические карты, а потом, отложив все в сторону, попросил:
— Ну-ка, Лень, ты мне Читу опиши. Только с чувством, как в стихах.
— Я б его в стихах описывать не стал.
— Социальный заказ — такой термин знаешь?
— Знаю, — улыбнулся Ленька. — Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто накрашенный. На лбу, около виска, шрам.
— Продольный?
— Да.
Комиссар взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке.
— Этот?
— Он, — сказал Ленька и поднялся со стула.

...Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машин вышли пять человек. Двое остались у ворот, а Садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом, вразвалочку шел посредине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и громыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов.

Костенко шел по правой стороне хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на Филях, в девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя.

Заместитель председателя исполкома знал Костенко, и поэтому сегодня утром он принял его особенно приветливо, усадил в кресло и угостил своими папиросами.

— Знаю, знаю, — сказал он, — в ближайшее время поможем.

— Я ведь первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других... Непорядок получается...

— Вы работник органов, товарищ Костенко, сознательности у вас побольше, чем у других.

— У меня ведь дочке три годика, товарищ дорогой... Когда все-таки квартиру дадите?

— Зимой, — сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом, — обязательно зимой.

Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью, он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться с боку на бок в своей одинокой комнате, а утром, перед работой, заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать в щеку жену, класть на кроватку Аришке конфету и уходить на весь день, до следующего утра.

— Мамаша, — спросил Садчиков лифтершу, — а у вас к-кабина вниз ходит?

— Еще чего! — ответила лифтерша. — Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх, а оттеда — одиннадцатым номером.

— Костик не уходил сегодня?

— Из восьмой квартеры? Так он тут не живет уж месяц.

— У Маруськи? — спросил Росляков, назвав первое пришедшее на ум женское имя.

— У него этих Марусек тыща. Поди узнай, у какой он дремлет.

— Уж и д-дремлет, — сказал Садчиков и открыл дверь лифта. — А ты, Валя, пешочком, по лестнице...

Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Вали Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт.

— Иди в д-домоуправление, — шепнул Садчиков Костенко, — пусть шлют понятых и слесаря — взламывать б-будем.

Обыск в квартире, где жил Константин Назаренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста, только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки. Росляков начал списывать номера телефонов, нацарапанные на стене.

— Между прочим, одни женские имена.

— Это по твоей линии, — сказал Костенко.

— Осторожнее на поворотах, — предупредил Росляков, — я стал обидчивым, работая под твоим начальством.

— Ну, извини...

— Да нет, пожалуйста...

Они осмотрели всю квартиру — метр за метром, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было.

Садчиков внимательно просмотрел телефоны и сказал:

— Попробуем, м-может, по ним выйдем на Назаренко, а?

— Поручи это Вальке, — предложил Костенко. — Подруги бандита заинтересуются молодым оперативником.

К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца тому назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а Садчиков, Костенко и Росляков начали «отрабатывать» связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился шесть лет тому назад, до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе училось сто шестнадцать человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занималось восемь человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране.

В Москве остались трое: Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Шрезель и Виктор Викторович Кодицкий.

Гипатов

Он сидел дома в пижаме, босиком и писал последнюю главу своей кандидатской диссертации. В комнате было тихо и прохладно. Только жужжал вентилятор, поворачивая пропеллерообразную морду то направо, то налево.

— Я из уголовного розыска, — сказал Росляков, — вот мои документы.

— Прошу.

— У вас в группе учился Назаренко? Константин. Вы его помните?

— «Кто не знает собаку Гирса?» — так, кажется, у Лавренева? Конечно, помню. Подонок.

— Это известно. Меня детали интересуют. Его друзья, привычки, его манера обращаться с людьми.

— Из меня плохой доктор Ватсон.

— Да и я не Шерлок Холмс. Постарайтесь вспомнить о нем, что можете. Это очень важно. Он преступник, скрывается. И вооружен. Нам сейчас важна каждая мелочь.

— Столько лет прошло... Трудно, как говорится, вспоминать.

— А вы через себя. Попробуйте вспомнить себя шесть лет назад. По Станиславскому: вызовите цепь ассоциаций.

Гипатов прищурился, взял со стола ручку и принялся писать на чистом листке бумаги только одно слово: «ду-

рак, дурак, дурак», — строчку за строчкой через запятые, очень ровно и аккуратно. Он силился вспомнить Назаренко, но как ни старался, ничего у него из этого не получалось, потому что вспоминалась ему первая практика — в горах, на строительстве рудника, куда Назаренко не поехал, достав справку о временной нетрудоспособности в связи с гипотонией. Это Гипатов помнил точно; они еще все смеялись на курсе: живой гипотоник ходил по институту и жаловался на головные боли, а от него за версту несло водкой и духами.

— Как говорится, ни черта не вызвал я ассоциациями, — усмехнулся Гипатов, — кроме пустой лирики. Если бы он злодеем уже тогда был или, наоборот, добрым гением — другое дело. Запоминают заметных.

— Плохо дело.

— А черт с ним, найдется, я думаю, а?

— Должен, конечно.

— Чайку хотите?

— Хочу, только времени нет. До свиданья.

— Доброго пути. Когда схватите — от меня привет. Он меня помнит, я ему рожу единожды бил. Товарищ был отменно трусоват.

— Чего ж он боялся?

— Силы... Да, вспомнил. Он, если за девушкой ухаживал, любил с ней вечером мимо ресторанов ходить. Оттуда какой пьяный вывалится — ну, такой, что на ногах не стоит, — он ему с ходу по морде. Девушка влюблена до смерти, а Назаренко большего и не надо. Я же говорю, подонок...

Шрезель

Он говорил страстно, с надрывом, но иногда замолкал и тяжело смотрел в одну точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко. Руки у него были маленькие, толстые, удивительно женственные, только с обгрызенными ногтями. Он беспрерывно курил, но не гасил окурки в пепельнице, и они дымились, как благовония в храме.

— Понимаете, — вдруг снова взорвался Шрезель, — мне так трудно вспоминать! Предлагайте мне какой-нибудь вопрос, тогда у меня пойдет ниточка. Но я просто не могу себе представить его в роли грабителя.

— Почему?

— Ну, теория квадратного подбородка, дегенеративного черепа и низкого лба, я это имею в виду. Ламброзо и его школа.

— Тут возможны накладки. Ламброзо у нас не в ходу.

— Напрасно. По-моему, это очень любопытно.

Костенко был по-прежнему зол. Поэтому он сказал:

— В таком случае я вынужден вас арестовать.

Шрезель засмеялся.

— Да нет, я это вполне серьезно. По Ламброзо. Он знаете, как определяет грабителя-рецидивиста?

— Не помню.

— Могу напомнить, только не обижайтесь. Растительность, поднимающаяся по щекам вплотную к глазам, выступающая вперед нижняя челюсть, толстые пальцы, крючковатый нос, обгрызенные ногти. Возьмите зеркало, я повторю портрет еще раз.

— Неужели я такая образина? — спросил Шрезель, но к зеркалу, стоявшему на низком столике около приемника, невольно обернулся. Он внимательно оглядел себя и переспросил: — Разве у меня нижняя челюсть выступает?

— Должен вас огорчить...

— О, погодите, у него внизу, вот здесь, — он открыл рот и показал два передних зуба, — были золотые коронки! Пошла ниточка! Потом он очень любил, как он определял, «вертеть динамо». Брал такси, катался по городу, потом останавливался у проходного двора, говорил, что на минуточку, и убегал. То же он проделывал в ресторанах, он очень любил рестораны, он еще меня научил заказывать свекольник и рыбу по-монастырски.

— Что, вместе с ним убегали?

— Да что вы...

— А откуда вам известно про его штуки?

— Говорили в институте...

— Чего ж вы ему тогда холку не намылили?

— Не пойман — не вор.

— Тоже верно.

— Да, вот еще что... У него была прекрасная память. Изумительная память. У него даже записной книжки не было. Один раз услышит телефон — и навечно.

— А почему тогда его выгнали из института?

— Так он же не ходил на лекции. Знаете, может

быть, он так хорошо запоминал только телефоны. Иногда бывает: прекрасная память на все, кроме, например, формул. Это от лености ума. Ум ведь надо все время тренировать, иначе его можно погубить. Да, кстати, у него был какой-то друг, по специальности физкультурный тренер. Кажется, бегун. Кажется. Точно я боюсь вам сказать.

— А из какого общества?

— Я был далек от спорта.

— Как звали тренера, не помните?

— Нет, что вы... Я только помню, что он его часто ждал после занятий. Такой высокий, худой парень. И еще, кстати, он очень боялся темноты. Да, да, я именно поэтому и удивился, что он стал грабителем...

— Они днем грабили, — сказал Костенко, — сволочи.

— У вас, наверное, очень интересная работа, простите, не знаю, как вас величать...

— Владислав Романович.

— Очень красивое созвучие имени и отчества. Я своего сына назвал Иваном. Иван Шрезель.

Костенко улыбнулся:

— Благозвучно, ему бы на сцену с таким именем.

Шрезель замолчал и снова начал тяжело смотреть в точку, прямо перед собой, куда-то мимо Костенко.

— Очень мне с ним трудно, — вздохнул он, — жена погибла прошлым летом. Я чудом уцелел, а Ляля погибла во время маршрута по Вилюю. В детский садик я его пристроил, но воспитательница — не мать. Да, погодите, снова ниточка: у него была мать!

— Она умерла.

— Знаете, просто чудесная женщина. Тихая такая, добрая... Прекрасно готовила. Она умела делать гречневую кашу в духовке — крупинка от крупинки отдельно лежала.

— Вы у него часто бывали?

— Довольно часто. Меня прикрепили к нему, помогать учиться. Комсомольская нагрузка. По-моему, это все чепуха. Помогать учиться — это почти то же, что помогать человеку дышать или ходить. Здоровому, конечно. Больному не зазорно.

— Смекалистый был парень?

— Да. Очень. Но я же говорил вам — леность ума. Отсутствие тренинга. И еще: очень любил и, главное, умел со вкусом одеваться.

— А деньги откуда?

— Во-первых, мать. Она была хорошая портниха и помногу зарабатывала. А вообще очень был элегантный парень. Такой, понимаете ли, красавец. Шрамик у него на лбу есть. Витька Кодицкий ему лоб разбил кирпичом. Он его вообще убить хотел.

— За что?

— Никто не знает. До сих пор.

Кодицкий

— Я этого человека где-то ненавижу, а поэтому вам нет смысла со мной говорить. Объективности во мне быть не может.

— А в чем д-дело? — поинтересовался Садчиков.

— В нас с ним.

— Вы мне мож-жете рассказать?

— Нет. Это будет где-то подлостью.

— Нам сейчас дороги даже самые к-крохотные крупицы сведений о н-нем.

— Это ясно.

— А что вы можете м-мне рассказать о нем, даже необъективно?

— Какой вам смысл иметь необъективные сведения? Мне он кажется уродом, а на самом деле это не так. Я его считаю кретином, а он далеко не глуп. Я его считаю подлецом, а он был где-то просто совершенно обыкновенным, только слабовольным и самовлюбленным человеком. Я его ненавижу как преступника морального. Даже как убийцу — косвенного.

— З-знаете, будет даже бесчестно с в-вашей стороны не рассказать мне все. Либо вы не должны б-были мне говорить того, что сказали только что, либ-бо уж договаривайте. Тогда он был убийцей косвенным, а сейчас он убийца прямой. С наганом в кармане, ясно это в-вам?

— Вы будете протоколировать то, что я скажу?

— Вы не х-хотите этого?

— Я требую, чтобы этого не было.

— Обещаю вам.

— Так вот. У меня была невеста. В общем где-то жена. Я уехал на практику. У меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его.

Ясно вам?.. Это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. Пили, смеялись, шутили. А он ей мешал водку с вином. А когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее.

Я тихо ушел и ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил. Но он убежал. А она потом вышла замуж за моего друга. Он любил ее еще со школы... Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали абортов. И потом родила мальчика. От него, от этого негодяя. Понимаете? А она была честным человеком. А честный человек, совершивший подлость, ищет искупления. А она вольно или невольно — мне где-то очень трудно судить об этом — совершила три подлости: с ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И в прошлом году, летом, она нашла искупление во время маршрута гео0разведки по Вилюю.

— Понятно. Я, конечно, н-нигде не буду записывать этого. Но мне нужно ее имя.

— Зачем?

— Для будущего. И за п-прошлое.

— Ее звали Ляля. Доброе имя, правда? Где-то очень нежное и простое.

Кодицкий долго зашнуровывал ботинок, а потом, продолжая шнуровать, сказал:

— Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы убил его тогда, но он убежал из дома. Я караулил его неделю, а потом уехал в тайгу. Из-за этого я кончил институт на полтора года позже остальных. Сегодня вы меня застали случайно: я в Москве бываю где-то не больше месяца в году... Сейчас готовлюсь пройти по Вилюю: в прошлый раз у них ничего не вышло, она там погибла, так, может быть, мне повезет.

— Большая экспед-диция? — спросил Садчиков.

Кодицкий кончил шнуровать ботинок и ответил, усмехнувшись:

— Там видно будет...

Опознают

Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивал-

ся, начинал снова, доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове. Он считал для того, чтобы не думать о том, как завтра в школе, утром, в восемь часов, начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе. Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах. Он все время думал об этом солнечном утре, о партах, которые пахли свежей краской, о Льве — торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги.

Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх ушел и тюрьма не казалась ему такой ужасной, как днем у Льва. Но сейчас снова давешний тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятной, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. И эти страшные слова: «А мальчик-то был? Может, мальчика-то и не было?» — показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. Сначала тюрьма, потом трудовая колония, лопата и нары, а жизнь — мимо. Прощай, поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три, прощай, ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через десять лет или сколько там дадут, год, два — больше или меньше, разницы в этом никакой, — вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанная, ни во что не верящая и ничего не желающая зрелость.

И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчикова, которые кормили его колбасой, поили газированной водой и улыбались, будто они его друзья, а ведь именно они посадят его в тюрьму, именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты? Что им?..

Работники скупки и домовой лавки, которые были ограблены восьмого и двенадцатого мая, пришли в управ-

ление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались — это была их первая практика.

Садчиков сказал:

— Вы это, х-хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем т-того парня, так ему не до улыбок. Ясно? Вы его так сраз-зу под монастырь подведете.

Леньку посадили между двумя парнями — высокими, в легких тенниcках. Четвертого, выпускника МГУ Сашу Савельева, устроили чуть поодаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко:

— Зови кассира из лавки.

Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом, как на спасителя, на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица.

— Вы здесь н-никого не узнаете? — спросил он. — Из тех, что у вас б-были?

Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой.

— Никого?

Она снова покачала головой.

— Не слышу, — сказал Садчиков.

— Не узнаю, — сказала женщина.

— Спасибо. Вы с-свободны.

Костенко пригласил оценщика из скупки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на Садчикова и спросил:

— Эти?

— Я вас хотел спросить...

— Ах, негодяи паршивые! — начал он, разглядывая трех, сидевших у стены. — Ах, паразиты поганые!..

— Тише, тише, — сказал Костенко, — давайте без эмоций.

Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал:

— Из этой трешницы никого.

— А этот? — показал Костенко глазами на Савельева.

Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом так

же быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит, ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул:

— Да... Лицо, прямо скажем...

— Какое? — спросил Садчиков.

— Вы же сказали — без эмоций...

— Я вас спрашиваю — он или нет?

— Как вам сказать...

— Ладно, спасибо, — сказал Костенко, — больше ничего не надо.

Девушка, которая выписывала чеки, оглядев всех, сказала сразу же:

— Здесь никого нет.

Садчиков облегченно вздохнул.

— Спасибо, ребята, — сказал Костенко. — А тебя, Савельев, надо в камеру. Лицо-то у тебя, «прямо скажем», а?

Ленька разлепил губы и спросил:

— Можно попить?

— Валяй, — ответил Садчиков. — Что, п-перетрусил?

— Нет. Теперь все равно.

— Глупость говоришь.

— Правда.

— Глупость, — повторил Садчиков. — Сиди т-тут, я сейчас.

— Ты куда? — спросил Костенко.

— Да так... — ответил Садчиков. — Скоро вернусь.

Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий и — это было сразу видно — тяжелобольной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. «Не можете вместе жить — разойдитесь к черту! Себя мучаете и парня губите! Когда дома непорядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать — уезжай к черту в свои леса! Наведывайся два раза в год: и жена твоя будет довольна, и дома тихо. А если она себя плохо поведет, возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками на стройке помахать тоже полезно. Для поэтов особенно. А так — вы грызетесь, и нам потом ребят в тюрьму сажай, да? Мы плохие,

а вы хорошие и добренькие? Плачете, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное, сердце-то? Или, может, нет?»

Комиссар засопел и, не удержавшись, сказал:

— Совести в вас ни на грош!

Вошел Садчиков и стал у порога.

— Да входите же, — досадливо поморщился комиссар. — Ну, что у вас?

— Он на тех д-делах не б-был.

— А вы сомневались?

— Если бы я не сом-мневался, вы б меня с работы уволили, т-товарищ комиссар.

— Тоже верно. Ну, что будем с ним делать? У парня завтра экзамены на аттестат зрелости.

— Знаю.

— Русский письменный.

— Да. Сочинение.

— Куда его будем помещать? В приемник или у нас, в камере?

Садчиков сказал:

— Я бы его отпус-стил по подписке. Вот и от-тец здесь. И чтоб без отца носу на улицу не высовывал...

— Отец — дело, конечно, великое. Только вы давайте свяжитесь с их комсомольской организацией, со школой. Как они. Иначе я ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников.

— Слушай, — сказал Садчиков Леньке, — мы т-тебя отпускаем до суда.

— Что?

— То, что с-слышишь. Отпускаем.

— Куда?

— В школу.

— А после?

— Домой. Сиди и н-носа не высовывай. После экзамена позвони — ты мне будешь нужен. Читу будем вместе ловить.

— Читу?

— Нет, г-гориллу, — сказал Садчиков. — Что-то ты, парень, соображать перестал от радости.

— И я сейчас могу уйти?

— Пропуск сначала надо в-выписать.

— Куда?

— В баню. Смотри с р-радости не натвори еще чего. Только завтра сразу после экзамена з-звони. Не забудешь? На́ телефон. Будь здоров, Ленька. До з-завтра... Иди вниз, там отец ждет.

Самсонов бросился к Леньке и стал быстрыми сухими и очень горячими руками ощупывать его лицо, голову и плечи.

— Мальчик, мальчик, мальчик мой, — говорил он быстро, и губы у него тряслись, и лицо плясало, и слезы текли из глаз. — Ну что ты, что ты, Ленечка, ну не надо, все кончилось, мальчик, все прошло, не надо... Ну, прости меня, прости, мама тоже все поняла, она ждет нас, мальчик, она все поняла...

— Не надо, папочка, — так же быстро и тихо просил Ленька, — только не надо так говорить, папочка, ты так никогда не говорил. Не надо так со мной сейчас разговаривать, папочка...

Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Росляков. Докладывал Садчиков:

— Таким о-образом, взвесив собранные оперативные мат-териалы, мы предлагаем с завтрашнего дня установить к-круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города с прочесыванием ресторанов. Думаю, что т-там и только там мы можем найти Назаренко. Выйти на п-прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать в-версию тренера, по словам одного из опрошенных, длинного парня, сходного по п-приметам со вторым преступником. Тот, повидимому, является г-главарем банды, но самое надежное — выйти на него ч-через Назаренко.

— Вы будете по улице Горького гулять, — сказал комиссар, — а он сейчас — ту-ту — в Сочи, может, едет. Или в Риге сидит в кабаке и коктейли пьет. Так может быть?

— Может, — согласился Садчиков.

— А вы себе тут на улице Горького курорт устраиваете.

— Мы не видим иного пути, — сказал Костенко.

— Вот и плохо. А вы что думаете, Росляков?
— То же, что товарищи...
— Засаду на квартире оставили?
— Так точно.
— В отделениях его фотографии уже есть?
— Да, но только институтских времен.
— Что он себе, перманент, что ль, с тех пор накрутил? Ладно. День, от силы два побродите. Только трое вас — густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь, а вы себе возьмите опера из пятидесятого, он улицу Горького, как «Отче наш», знает. Росляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так. Все.

Маша

Теща Костенко работала на фабрике в ночную смену. В комнате было тихо и пахло свежевымытым полом. На столе рядом с тарелкой, на которой лежали помидор, два огурца и несколько ломтиков колбасы, белело письмо, придавленное ножом.

Костенко включил свет, сел к столу и вскрыл конверт.

«Здравствуй, милый!

Я сегодня видела очень хороший сон. Как будто мы пошли с Аришкой на пруд, туда, к заводи, около старой мельницы, и начали стирать белье. Мы еще долго стирали, потому что Аришка какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тюбике и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье и вдруг вижу, как по тропинке из леса идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда, чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому, что когда у тебя будет отпуск? Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристает: «Скоро папа приедет?» Я говорю: «Скоро», — а она: «Ты честно говоришь?» Я отвечаю: «Ну конечно». Тогда она улыбается и просит: «Скажи громче». Когда поедешь, обязательно купи в «Синтетике» ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень жжет, а вода по-прежнему холодная.

Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, нелепо, потому что я все пре-

красно знаю, а помочь, даже если б жила рядом, не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть аскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила.

Ой, приезжай, пожалуйста, скорее! Целуем тебя. А это тебе рисует Аришка: красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую. Маша».

Садчиков и Галя

— Послушай, Г-галка, — сказал Садчиков, — у нас все-таки нелепые законы.

— Это что-то новое у тебя, — сказала Галина Васильевна, — откуда такая оппозиционность?

— Нет, п-правда, — повторил Садчиков. — Мне сорок три, а уже пора на пенсию. За шестнадцать лет я в-выработался, как за пятьдес-сят.

— Напиши в правительство.

— Хорошая идея, — усмехнулся Садчиков, — там ж-ждут моего письма, как манны небесной. Дети спят?

— Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина.

— Да? Черт, п-плохо.

— У тебя прелестная реакция на мои сообщения, — улыбнулась Галина Васильевна, — я завидую твоему спокойствию.

— Зависть — черное чувство, оно п-портит человека, — улыбнулся он.

— Не одно оно.

— Тоже верно. У меня есть к-крахмальные рубашки?

— Ты сегодня совсем не похож на себя. Сначала пенсия, потом крахмальные рубашки. Где логика?

— Я ее оставляю на Петровке, в с-сейфе. Без нее мне легче дышится. Это довольно каверзная штука — логика.

— У тебя плохое настроение? Что-нибудь стряслось?

— Да нет, ничего особенного.

Галина Васильевна отошла к шкафу и стала перебирать ящик с бельем.

— Бедный мой Садчиков! — сказала она, вздохнув. — У тебя нет крахмальных рубашек.

— Плохо. Вообще мне надо купить несколько крахмальных рубашек.

— Их не покупают. Их крахмалят дома.

— Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках.

— Городские.

— Деревенские тоже. До г-года.

— До трех.

Садчиков предложил:

— Сойдемся на двух, а?

— Ты ужасно испортился за последнее время, — вздохнула Галина Васильевна.— Этот жаргон: «сойдемся».

— Тебе б-больше нравится «разойдемся»? — спросил Садчиков.

Галина Васильевна обернулась к нему, закрыла ящик с бельем и медленно ответила:

— Иногда.

— Что с-с т-тобой?

— Ничего.

— Я спрашиваю т-тебя.

— А я отвечаю. Это твой обычный ответ. «Ничего» — и все тут.

— Ты же умная ж-женщина.

— Боюсь, что ты ошибаешься. Сейчас с умными женщинами туго. А особенно с женами.

— Что с т-тобой, Галка? — повторил Садчиков.

— Ничего, — ответила она и, взяв его белую рубашку, ушла в ванную комнату.

Он вошел к детям. Они спали, разметавшись в своих кроватках. Садчиков любил подолгу смотреть, как они спали. Тогда все дневное, тягостное отходило, растворялось, а потом исчезало вовсе.

«Семь лет, говорят, критический срок в браке, — думал он. — Сначала три года, потом семь, а потом одиннадцать. Если пережить эти три рубежа, тогда все будет в порядке. Значит, три мы пережили. Сейчас остается пережить семь. А что, собственно, случилось? Почему она сегодня такая? Просто отмечает семилетие как фактор? Если б ей делать нечего, а то ведь и в клинике работает и дома. А почему, собственно, я сразу начинаю с нее? Может быть, начинать надо с меня? Наверное, да. Хотя считается, что в семье всё от женщины. От нее идут и спокойствие и неурядицы. Считается? А почему так считается?

Черт, как бы сохранить — внешне — все атрибуты влюбленности? Женщины все-таки ужасно любят внешние проявления. Они смущаются, когда им целуют руку, но им же нравится это. Разве нет? Теперь буду каждый вечер целовать Галке руку, — усмехнувшись, решил Садчиков, — может быть, это ее успокоит...»

Она разводила крахмал на кухне и плакала так, чтобы он не мог ее слышать. Думала: «Мы с ним живем вместе, а ведь я ему чужая. Он живет своим делом, куда мне нельзя соваться, иначе по носу дадут, как любопытной кошке. А разве все так должно быть? Зачем же тогда одна крыша? Или это во мне говорит наша исконная бабья дурость? Что мне надо? Он не пьяница, не гуляка — чего же еще? Но ведь подло так думать по отношению к себе самой. Это значит — совсем не уважать себя. Раз водку не пьет, и с чужими бабами не спит, и деньги домой приносит — значит, все хорошо, да? А сердце хочет еще чего-то? Тот маленький красный комочек, который я режу и шью, он хочет чего-то еще, того, чего у нас нет. А чего у нас нет? Журнал вслух не читаем? В зоопарк с детьми не ходим? Чего же мне надо? Может быть, я негодяйка просто-напросто? Может, это во мне инстинкты разгулялись в тридцать пять лет, а я под них подвожу основу?»

Галина Васильевна вздрогнула и стала быстро мыть лицо, чтобы он не заметил, как она плакала. Потом она накрахмалила рубашку и тихонько позвала:

— Милый, не сердись, пожалуйста, это я просто дура.

Но Садчиков не слышал ее. Он спал, укрыв голову подушкой, и стонал во сне.

Чита и Сударь

Как правило, люди не очень умные обладают изумительным чувством интуиции. Это трудно объяснимо, но это так. В тот самый день, когда Сударь пришел к нему ночью и попросил спрятать пистолет, Чита испугался, но давнишнему другу отказать не посмел. С тех пор он стал бояться ночевать дома один. Он приглашал свою любовницу Надю — натурщицу из художественного учили-

ща. Но все равно не мог заснуть до трех, а то и пяти часов утра.

— Надя, — шептал он, — ты только не спи.

— А что? — сонно спрашивала женщина.

— На лестнице кто-то стоит, — говорил он. — Ты никому не рассказывала, что у меня будешь?

— Любовнику говорила, — сонно шутила Надя и отворачивалась от него к стенке.

— Надя, — шептал он, — ты завтра днем поспишь, а пока лучше поговори со мной.

— Да ну тебя... Зазывает, а сам только говорит.

Надя спала, а Чита лежал и смотрел в потолок. Он не мог себе объяснить, чего он боялся, но страх был четок и осязаем. Особенно ночью, когда воцарялась тишина и все вокруг делалось непроглядно темным, а потому зловещим. Эти ночи без сна казались ему бесконечными. После трех дней Чита понял, что дальше он так не может. И он пошел к Сударю...

Сударь жил на окраине, в новом доме, где им с матерью дали однокомнатную квартиру после того, как отец Сударя был арестован по делу Берия органами государственной безопасности Советского Союза.

Мать круглый год жила в Сухуми, у мужа покойной сестры, а Сударь был здесь, в Москве. После того как отец был арестован, Сударь продолжал работать тренером. Он был хорошим бегуном, но мастером спорта не стал, потому что пил. Когда был отец, он не думал о деньгах. Когда отца не стало, он начал думать о деньгах. Сначала он занялся перепродажей магнитофонов и приемников. Он заработал сразу несколько тысяч рублей, часть пропил, а часть положил на сберкнижку. Потом, почувствовав, что перепродажа магнитофонов — шаткое и опасное дело, он переключился на спекуляцию рыбой. У Сударя была «Победа», он уезжал в пятницу на Большую Волгу, покупал задарма в рыболовецком колхозе двести килограммов свежих окуней, а в субботу утром уже стоял около ворот Малаховского колхозного рынка. Здесь у него были свои люди, они брали товар оптом, и Сударь увозил домой пару тысяч: на неделю ему хватало. Потом барышников забрала милиция, и Сударь, приехав в субботу к условленному месту, остался ни с чем. Рыба протухла, и он, помотавшись по московским базарам без толку, ночью выбросил ее в Москву-реку. Приехав домой,

он напился до зеленых чертей и начал бить о стены блюдца и чашки.

Утром он долго не мог сообразить, что с ним. Голова трещала, во рту было горько, руки тряслись. Он поехал на стадион, но вести занятия не смог, потому что очень мутило. Его строго предупредили, а занятия перенесли на другой день. Сударь уехал за город, туда, где раньше у них была дача, и лег спать в высокой траве.

«Ненавижу все! — пронеслось в мозгу. — Все и всех ненавижу. Они у меня отняли то, что было моим. За это они должны поплатиться».

Сударь лежал в траве, смотрел в небо и продолжал думать: «А кто они? Люди. И те, которые наверху, и те, кто внизу. Все они виноваты в том, что случилось со мной». Сударь вспомнил, что с потерей отца он лишился всего, к чему привык с детства: он был избалован, злобен, драчлив. Все сходило ему с рук, потому что он всегда умел вовремя отойти в сторону, спрятаться за спину соседа. Он любил отца, но и боялся его. Он помнил и сейчас до ужаса ясно видел, как отец, вернувшись с работы под утро, бледный, с белыми глазами, бил мать нагайкой, а потом запирал ее в уборной и приводил к себе молчаливых пьяных женщин. Сударь помнил, как отец, загнав его в угол, избил до полусмерти. Сударь на всю жизнь запомнил страшное лицо отца, его синюю шею и железные кулаки, поросшие белыми торчащими волосинками. Сударь тогда мечтал о том, чтобы отец умер, а им бы дали пенсию и оставили машину, дачу и шофера. Но отец не успел умереть. Его расстреляли вместе с Берия.

Вернувшись вечером, Сударь проткнул шилом несколько баллонов у машин, которые стояли в их дворе. Он смотрел из окна, как владельцы, чертыхаясь, клеили баллоны и ругали милицию, которая не может навести порядка. Он стоял у окна, тихо смеялся и чувствовал в себе радость.

С работы его прогнали за пьянство. Тогда он начал отгонять машины от автомагазина на Бакунинской до берегов Черного моря тем, которые сами не умели водить. Ему за это неплохо платили, и неделю он ни о чем не думал, а только вел машину и пел песни. А потом и это кончилось: с него взяли в милиции подписку об устройстве на работу. Сударь начал работать снабженцем

на текстильной фабрике. Именно здесь он и познакомился с человеком, который называл себя Прохором. Здесь он впервые попробовал, что такое наркотик.

Чита пришел к Сударю вместе с Надей.

— Слушай, — сказал он, пока Надя варила на кухне макароны, — хочешь, я тебе Надьку на ночь оставлю?

— Хочу.

— Такая, знаешь, женщина...

— Ничего бабец.

— Только пистолет у меня забери.

Сударь ответил:

— Не-е. Ты у меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? Обыск, кандалы, пять лет тюрьмы — и с пламенным приветом! Надька и так ко мне в кровать прыгнет.

— Сволочь ты...

— Ну-ну!

— Тогда четвертак дай. Я спать не могу — страшно.

— Ничего, потом отоспишься. А деньги — их зарабатывать надо, а не клянчить.

— Как?

— Умно. Хочешь пятьсот рублей получить?

— Пятьдесят?

— Пятьсот. Пять тысяч по-старому.

— Конечно, хочу.

— Ну и ладно. Завтра получишь.

— Только это... Может, ты что-нибудь не то придумал?

— То! Я всегда то, что надо, придумываю.

— На преступление не пойду.

— Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? А? Или добровольцем-комсомольцем на целину едешь? А? Что молчишь?

— Я на преступление не пойду, — повторил Чита.

— Молчи. Ты только молчи и меня не беси, понял? «Не пойду на преступление!» А кто у меня на кровати Милку изнасиловал? Кто? Ей пятнадцать, она несовершеннолетняя, это забыл? А кто со мной часы у пьяного старика в подъезде снял? Это забыл? А кто мне про ящики с водкой сказал? Это тоже забыл? А кто таксиста ключом по голове бил? Я? Или ты? Номер-то я помню: ММТ 98-20! Девятый парк, восьмая колонна, мальчик!

Он тебя узнает, обрадуется! Сволочь! На мои деньги пить, жрать и с бабами шустрить ты мастак, да? Пошел вон отсюда! Ну!

— Что ты взъелся? Я про тебя тоже знаю...

— Я сам про себя ничего не знаю. Давай греби...

— Дай пожрать-то.

— Не будет тебе здесь жратвы.

— Мне ехать не на чем.

— Пешком топай. Или динамо крути — это твоя специальность.

— Погоди, Саш, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятись только. Ты мне объясни все толком.

— Толком... Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость не сделаю, не думай. Я семь раз взвешу, один раз отрежу. И если тебя зову, так будь спокоен — значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди трусы. Видят, как жулик в карман лезет, — отвернутся, потому что за свою шкуру дрожат. А если пистолет в рыло — он струсит вовсе, понял? А сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машина у подъезда. С другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу — кусок, и нам по пятерке.

— А остальные куда? — быстро подсчитав, спросил Чита.

— В Дом ребенка, — ответил Сударь и засмеялся.

Он продолжал смеяться и тогда, когда ушли Надя и Чита. Смеясь, он подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, открыл дверцы и достал наркотик. После этого он еще несколько минут смеялся, а потом, тяжело вздохнув, лег на тахту и закрыл глаза. Полежав минуты три с закрытыми глазами, он сел к телефону и стал ждать звонка. Ровно в семь к нему позвонили. Перед тем как снять трубку, Сударь вытер вспотевшие ладони о лацкан пиджака и внимательно их осмотрел. Ладони были неестественно красного цвета.

«Завтра к гомеопату пойду, — подумал Сударь, — пусть пилюли пропишет».

Позвонил телефон. Сударь снял трубку.

— Сань? — спросил глуховатый сильный голос.

— Да.

— Ну, здравствуй. Как чувствуешь себя? Товар ничего?

— Марафет, что ли?

— Ишь, пижон-то. Наркотик марафетом называешь... Смотри, только слишком не шали.

— Я знаю норму.

— Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно, а? Если стыдно — ты скажи, я пойму, я добрый.

Сударь засмеялся и сказал:

— Стыдно.

— Гуще смейся, а то, слышится мне, притворяешься ты вроде.

— Честно.

— Ну, тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюся...

— Не волнуйся.

— Ну, а когда повидаемся-то, Сань?

— Завтра. В девять. У «Форума».

— А это чего такое, «Форум»-то?

— Кино.

— А... А я думал, кино...

Сударь сказал:

— Шутник ты, Прохор, — и положил трубку.

Назавтра в девять вечера Прохор передал Сударю еще два грамма наркотика и «дал наводку» на скупку по Средне-Самсоньевскому переулку. В тот же вечер Сударь поехал к шоферу Виктору Панкину, вызвал его тонким свистом и условился о встрече. А потом, купив в магазине две бутылки коньяку, отправился к Чите.

После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, то у Сударя.

ТРЕТЬИ СУТКИ

По улице Горького

В кабинете у Садчикова Валя громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма.

— Она сделает мир шахматной доской, эта проклятая кибернетика! Она превратит людей в роботов!

— Ты это с чего? — поинтересовался Костенко. — Снова ходил на диспут?

— Нет, радио слушал.

— Ну, извини.

— Да нет, ничего. А вообще черт-те что! Меня, индивида, проклятая кибернетика сделает подопытным кроликом.

— А ты не хочешь?

— Не хочу.

— И правильно делаешь. А вот я очень хочу спать.

— Жалкие и ничтожные люди! — сказал Росляков. — Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой.

— Ну, извини.

— Иди к черту! — рассердился Росляков.

— Далеко идти.

Вошел Садчиков и сказал:

— Давайте на ул-лицу. Пожалуй что на координации здесь останусь я. Позванивайте ко мне. Две к-копейки есть?

— Я запасся, — сказал Костенко, — в метро наменял.

— Ленька позвонит — я его к вам п-подключу. Этот старичок с бородкой, у-учитель его, гов-ворит, что к устному ему тоже нечего готовиться. Он, я д-думаю, с вами погуляет. Карточка карточкой, а когда в лицо знаешь, оно всегда н-надежней.

— Осудят его? — спросил Костенко.

— Какой судья попадется, — сказал Садчиков. — Раз на раз не приходится.

— Это будет идиотизм, если парня посадят, — сказал Росляков. — Тюрьма — для преступников, а не для мальчишек.

— Какой он м-мальчишка? — возразил Садчиков. — Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они, черти, образованные. С-смотри, как он стихи читает!

— Ну и хорошо, — сказал Костенко, — жизни больше останется.

— Это как?

— А так. Чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст, даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в семнадцать лет, на заводе, со средним образованием, а мы? Только-только в двадцать три года диплом получали. Потом еще два года — дурни дурнями.

Диплом — он красивый, да толку что, если синяков себе еще на морде не набил...

— Жаргон, жаргон, — сказал Садчиков. — «Морда» — это ч-что такое?

Росляков засмеялся и ответил:

— Это лицо по-древнерусски.

— Нет, а правда, — продолжал Костенко, заряжая пистолет, — вон Маша моя... Три года на заводе поработала, а сейчас ее можно с пятого курса, без всякого диплома на оперативную работу брать.

— Во дает! — усмехнулся Росляков. — Как жену аттестует, а? Скромность украшает человека, ничего не скажешь...

— Так я не о себе.

— Муж и жена, — наставительно сказал Валя, — одна сатана. Будешь спорить?

— Спорить не буду.

— То-то же...

— Нет, не «то-то же», — усмехнулся он. — Я не буду спорить, потому что пословица есть: «Из двух спорящих виноват тот, кто умнее».

— Во дает! — повторил Росляков.

— Ладно, пошли Читу ловить, — сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова.

Они шли по улице Горького вразвалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и не медленно, весело о чем-то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная — шаткая, ленивая, ноги они ставили чуть косолапо, так, как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около «Арагви» к ним подключился третий — оперативник из пятидесятого отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил:

— Ты что, по моде тридцать девятого года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас двадцать градусов, а твоя зеленая панама за километр видна.

— Так я ж для маскировки, — улыбнулся оперативник.

— Для маскировки пойди и сними ее.

— И брюки поменяй, — предложил Валя, — а то у тебя не брюки, а залп гаубицы. Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют.

— Не обижайся, — сказал Костенко, — он дело говорит. Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь.

Ленька сидел уже полчаса, а писать сочинение все не начинал. Была вольная тема: «Героизм в советской литературе», были темы конкретные: «Образ Печорина» и «Фольклорные особенности прозы Гоголя».

Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, а потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки ручку, остановился рядом с ним и тихо спросил:

— Леонид, в чем дело? Вольная тема просто для тебя.

Ленька взял ручку и обмакнул ее в чернильницу.

«Для меня, — зло подумал он, — черта с два! Я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза говорить человеку одно, а за глаза другое. Почему он сказал, что это для меня? Он не должен был так говорить. Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу, и как я молча стоял у окна, вместо того чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, а я самая последняя дрянь».

Но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем писать, и он знал, что должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником.

Он сдал сочинение первым и сразу же пошел в автомат — звонить на Петровку...

— Слушай, — сказал Росляков, — а опер был прав: без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок?

— У меня нет затылка, — ответил Костенко с достоинством, — у меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих — затылок.

— Ну, извини, — сказал Росляков.

— Да нет, ничего...

Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах — улицу часто поливали неповоротливые, как броневики, и такие же пузатые автомобили — играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки, негры, растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов, продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники, девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких, дерзко открытых халатиках, индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо — вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом, и надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, но все время быть настороже, надо все время приглядываться — нет ли маленького шрама на лбу, нет ли большого, яркого рта, словно подкрашенного краской, надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке, потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так, потому что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко, о его трусости и наглости, о его страсти к ресторанам и к дешевой показухе.

Он обязательно должен появиться здесь, среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Один на один такие «герои» предают друг друга, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, они плачут и впадают в истерику, они кричат и воют, проклиная все и вся.

Если бы Чита почувствовал за собой «хвост», если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка — в этом муровцы тоже были убеждены — пришел бы к себе домой и заперся там, пережидая грозу.

По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку. ОРУД уже работает по всем гаражам и районным ГАИ, но Витьку пока не нашли. Да и был ли Витька Витькой? Да и точно ли помнит Ленька? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень. «Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт...» А они его за это целовали. Ворюги сентиментальны, им бы сказки Жуковского слушать, слез не соберешь. Опьянели, решили — свой, да и Ленька, верно,

брякнул что-нибудь вроде того, что «жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту...». Есть такие — в семнадцать лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат, лбом о стенку бьются. Ну, этого не посадят. Не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя судья судье рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да и нет. Они — банда, а он — дурачок. На всю жизнь наука. Дома тарарам, приткнуться некуда, оступился...

«Надо будет на суд прийти, — думал Росляков. — Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию. Комиссар вызовет «на ковер», это уж точно. Но в суд пойти придется».

...Лев Иванович хотел было читать Ленькино сочинение, но завуч Марья Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась, потому что все написанное Ленькой было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано: «Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести — значительно труднее. Л. Самсонов».

Ленька долго не мог дозвониться, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читу и того, второго. О, сейчас бы он знал, что надо сделать! Сейчас бы он бросился на них и вцепился мертвой хваткой. Потом его полуживого — Чита обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться так, чтобы рана не была смертельной, — привезли бы в больницу, он бы лежал белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах... Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька б молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали, и им было бы мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью...

Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади.

— А, Леня, — сказал Садчиков, — ну к-как, сдал экзамен?

— Сдал, — ответил Ленька.

— Свободен?

— Да.

— Давай б-быстренько ко мне, я пропуск уже заказал.

Когда Ленька сел на диван, Садчиков сказал:

— Ты сейчас пойдешь на улицу Горького. Там увидишь наших. Не обращай на них внимания. Не думай о них, х-ходи себе и смотри. Песенки пой. Мороженое кушай. Девушек р-разглядывай.

— Что я, пижон?

— По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?

— Нет, но как-то...

— Ясно. Очень убедительно возразил. Так вот ты ходи и смотри Читу. Если надо б-будет — ребята тебя окликнут. Увидишь Читу — поздоровайся с ним и иди дальше. Он сделает несколько шагов вперед, ты его окликни и попроси с-спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Дог-говорились?

— Да.

— А как со следующим экзаменом?

— Это ж литература.

— А м-математика?

— Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом...

— Что?

— Нет, ничего. Просто так...

Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор кашлянул в трубку, вздохнул и ответил:

— Неплохо.

— Что, т-тройка?

— Нет, почему же... Я склонен поставить ему высшую оценку.

И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся

следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков.

— Лень! — окликнул он его.

Тот обернулся.

— Да...

— С-слушай, — сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что написал, и хотелось сказать про это. Но он понял — сейчас этого говорить нельзя, потому что он может обидеться и подумать, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал: — Я просто х-хотел спросить, есть ли у тебя п-папиросы. Если нет — возьми мои.

— Спасибо, — ответил Ленька, — только я не курю.

Через полчаса к Садчикову зашел майор Вано Зенберошвили из лаборатории.

— Привет, старик, — сказал он и улыбнулся. — Росляков просил поработать со следом машины. Помнишь, во время убийства Копытова?

— Знаю.

— Раз знаешь, значит, помнишь.

— Аксиома.

— Ну дак...

— Ближе к д-делу, Вано.

— Я всегда близок к делу...

— Н-ну, извини.

— Ничего, важно, чтоб человек был хороший... Так вот, след принадлежит «Москвичу-пикапу». Левый передний скат у «Москвича» почти целиком сожран, развал дрянной. Правый скат почти новый. Вот, в таком разрезе.

— Спас-сибо.

— Не на чем.

— ОРУД знает?

— ОРУД, старик, все знает. Будь здоров.

— С-счастливо...

Готовятся к встрече

Прохор позвонил к Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтому приехал ночевать к Сударю,

а не к ней. Домой он не ходил, и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, не думал. Да и потом Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год — в Ялту, Гагры, к черту и дьяволу. А о том, что домой все-таки придется возвращаться и после этого веселого полугода, он тоже старался не думать. Жить и ни о чем не думать — только одного этого ему и хотелось.

— Сань, — сказал Прохор, — ты это... ты сегодня меня увидь. У меня все же выяснилось с тем, про чего я говорил тогда, помнишь?

— Помню.

— Где увидимся-то?

— Давай в центре. Около Пушкина.

— Не. Я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтоб ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне и ехать туда просто, без пересадок. А?

— Что, у Курского народу меньше? — спросил Сударь.

— Там народу вовсе нет,— ответил Прохор.— Ты чего говоришь, Сань, ты ж умный! Там не народ, там пассажиры, а они ездят, пассажиры-то, они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя отыщу. Ладно?.. Договорились. Ну, пока, Сань.

— Пока.

— Э, Сань, погоди. Ты это... ты приятеля своего возьми, я на него посмотреть хочу.

— Ладно, — ответил Сударь, — возьму.

Разбудив Читу, он сказал:

— Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с одним человеком. Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе.

— Про кого?

— Ну, про того парня, которого я взял в кассу.

— А что такого?

— А то, что водку жрать нельзя перед делом, вот что. Хорошо, если он смылся, а ну как его поймали? Начнут мотать... А вдруг мы с тобой что-нибудь ляпнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач.

— Я молчал.

— Ты и молча умеешь трепаться.

— Сам больно хороший.

Сударь легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул.

— Вставай, — сказал он, — пойдем жрать. У меня с опохмелки башка трещит.

— Куда? В «Москву»?

Сударь подумал с минуту, а потом ответил:

— Не-е. Я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в Парк культуры. Чайки летают, мамаши одинокие прогуливаются.

— Слышь, а Надька с тобой в кабак пошла, мне ногу жала, а уехала с тем парнем.

— Она одна ушла.

— Киря... Он ее за углом в такси ждал.

— Точно?

— Точно.

Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку; прыгая на одной ноге, влез в брюки и только потом, помахав руками, что заменяло ему зарядку, сказал:

— Зараза. Меньше чем за ящик коньяку не прощу.

— Я б за чекушку простил, — сказал Сударь, — она ж проститутка. Скучно. Влюбиться хочу. В девственницу. И чтоб любовь была со слезами.

— Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственницы твои с родителями живут. Я пистолет возьму, ладно?

— Это зачем?

— К Надьке съездим.

— Расстрелять хочешь?

— Ага. Приведу в исполнение.

— Ладно, пошли. Наган не бери, заметят — шухер будет. А Надьку лучше душить, у ней шея толстая.

Снова ходят

Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал по заданию, шел вместе с Ленькой, а Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними, только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проезда МХАТа и улицы Горького, а потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского.

Садчиков сказал:

— Обидно, Лень, мы с т-тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. Одни названия чего с-стоят. Как

ты думаешь, что формирует у нас бандитов? Водка. Пить не умеешь — глотай кефир. Ненавижу пьяниц.

— Это вы все про меня? — спросил Ленька.

— Отчасти, — улыбнулся Садчиков, — но ты еще н-начинающий.

— У меня начало оказалось концом.

— Как на торжественно-траурном заседании излагаешь, — снова улыбнулся Садчиков, — ты проще г-говори, это с-сближает.

— Так я ж просто и говорю. В жизни больше водки не выпью...

— Ну, зароков вслух не давай, не н-надо. Ты про себя больше ст-тарайся. Вслух — все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на с-собрании. За дело, правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну — и айда себя помоями обливать. «Я, — говорит, — и т-такой и с-сякой, я и негодяй, я и слепец...» А потом — фьюить! «Все, — говорит, — о-о-осознал, все понял и вас, — говорит, — благодарю». Даже, представь себе, хлопать ему н-начали. А по-моему, он подонок. Если б он выш-шел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, куда как п-правдивей это все было бы, честное слово.

Садчиков легонько подтолкнул Леньку в бок и показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу и половину лица занимали большие зеркальные очки.

— Нет, — сразу же ответил Ленька, — не он.

— Тише, — поморщился Садчиков, — г-головой качни, и достаточно.

Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал Леньке:

— Смотри, как к-красиво «Березку» отделали, а?

Ленька не понял и переспросил:

— Что?

— Красиво, говорю, в-витрину отделали, — ответил Садчиков и пошел дальше.

А оперативник, который был рядом с Костенко, заметив знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двинулся следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу.

Росляков вернулся в управление к девяти часам. Он объездил десять спортивных обществ и отобрал фотографии всех высоких тренеров от двадцати пяти до тридцати лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой «молнией» и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь — обтрепанные манжеты, — о которой ему рассказал рыжий геолог Гипатов уже в передней, провожая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал: «Шерлокхолмовщина заедает. Манжеты, видите ли! Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают...» Он настойчиво отвергал эту «манжетную версию», но она неотступно сидела у него в голове.

Росляков спустился к дежурному и спросил:

— От Садчикова нет ничего?

Дежурный ответил:

— Молчит.

— Может быть, мне туда подключиться? — сказал Росляков.

— Пожалуй, лучше вам быть здесь.

— Пожалуй, — согласился Росляков, — я пойду перекушу, на полчасика, ладно?

Ленька спросил:

— Может быть, немного посидим?

— Это ночью, — ответил Садчиков.

— Ноги отваливаются.

Садчиков остановился и сказал:

— А ну, п-покажи! Никогда не видел, как н-ноги отваливаются.

Ленька улыбнулся.

— Знаете, — сказал он, — я хотел у вас попросить совета.

— Это можно.

— Что мне делать?

— Смотреть по сторонам, — ответил Садчиков.

— Я не о сегодняшнем дне.

— Ах, так... Ну что ж... По-моему, надо хорошо сдать эк-кзамены — и сразу на завод. Чтоб до суда тебя р-рабочие успели узнать, понимаешь?

— А судить все равно будут?
— Почему «все равно»?
— Ну, потому что я с вами хожу, помогаю...
— Так ты уходи. Милый мой, если т-ты только для суда нам помогаешь, тогда т-топай домой.
— Я хожу с вами не для суда!
— Ну, извини, з-значит, я тебя не так понял.
— Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника.
— Милый мой, ты не п-представляешь себе, как ты не прав. И попросил я тебя нам помочь просто потому, что думаю о т-тебе неплохо, понимаешь? И потом стихи у тебя хор-рошие. Больше ничего не написал?
— Нет.
— Напишешь.
— Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться.
— Ты знаешь, что такое им-мпульс? — спросил Садчиков.
— Знаю.
— Так где у тебя будет больше импульсов для т-творчества — на заводе, когда надо только успевать поворачиваться, или в полном спокойствии, дома, когда все тихо и птички щ-щебечут?
— Не знаю.
— А я знаю. Вот у меня когда б-башка особенно здорово соображает? Когда все решают минуты, когда очень т-трудно, когда надо принять только одно решение и оно должно быть точным. А если у меня много времени, оппасности никакой, так я тюфяк тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У п-поэтов так же.
— У поэтов иначе.
— Не может быть.
— Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился.
— Дома холодно д-думать, уж больно все со стороны выйдет.
— Нет. Сердце — оно и на заводе и дома одинаковое.
— Разное, — возразил Садчиков. — Завод — он т-только называется так холодно, а ведь это люди. Завод — это я условно говорю. Иди д-дома́ строй, коров дои, письма разноси, трубы чисти. Только надо, чтоб ты людям не

только про себя одного г-говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто о себе память оставил? Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А как их ж-жизнь ломала! То-то и оно. Импульсы — великая штука. Если ты в сплошной р-р-розовости живешь — какой ты к черту поэт? Так, демагог, да и только.

— Сами говорили, что мои стихи нравятся...

— Говорил.

— Значит, обманывали?

— Чего мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было, ты и п-писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?

Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего ему не ответил.

Около ресторана «Баку» Садчикова догнал опер из пятидесятого и негромко сказал:

— Проверили мы того. Он из цирка, наездник. Очень нервничал.

— Извинились перед ним?

— Крикливый, черт. Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать.

— Еще чего! — рассердился Садчиков. — Объяснить н-надо человеку, а не протокол писать. Тоже к-каратели нашлись. Телефон у него есть?

— Есть.

— Записали?

— Да.

— Ладно, я п-потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да и т-трепотня по цирку пойдет о милицейских грубиянах. Ты цирк любишь? — спросил Садчиков Леньку.

— Люблю.

— Я тоже, — сказал он, — особенно в-воздушных гимнастов.

Встретились

Прохор обнял Сударя, долго тряс руку Читы и, заглядывая ему в глаза, спрашивал:

— Ну как, дорогой? Ну как?

Прохор был невысок, безлик и казался с первого взгляда серым и словно бы пыльным. Он опирался на палку и шел медленно, приволакивая негнущуюся ногу. Он говорил быстро, без умолку, изредка похохатывая и все время заглядывая в глаза то Сударю, то Чите. Смотрел он как-то по-особому: замирая и напрягшись. Шея у него при этом стягивалась синими веревками жил.

— Водку пьете, чертенята? — спрашивал он. — С девками небось балуетесь, а? Я старик, мне-то завидно. Нашли б какую кралю, золотенькие мои, а? Читушка, что молчишь? Не нравлюсь я тебе, да? Ты вона какой модный, а я — как деревня, да? Смущенье тебя берет, да? Ну ладно, ладно, ты иди, я с Санечкой поговорю. Ты иди, не думай, ты понравился мне, лицо у тебя доброе, ты гуляй сегодня, сегодня липа цветет, от нее голова туманится, Читушка.

Чита недоуменно посмотрел на Сударя и с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Сударь шел, нахмурившись, и, когда увидел прыгающую от еле сдерживаемого смеха Читину морду, раздул ноздри и бешено повел глазами.

— Гуляй, — сказал он негромко, — киря.

— Пущай он у тебя поспит, — сказал Прохор, — отдохнуть вам, ребятки, надо. Ты сегодня, Читушка, к девкам не ходи, ладно? Завтра к девкам пойдешь, Читушка, завтра.

— Чего ты обо мне печешься? — спросил Чита. — Сам не маленький.

— А ты мне «ты» не говори, — сказал Прохор улыбчиво, — ты мне «вы» должен говорить.

— Это почему?

— Потому что я умный, а ты молодой.

— Нá ключи, — сказал Сударь, — иди домой, я скоро буду. Разговор есть.

Чита бросил ключи в карман, остановил такси, сел рядом с шофером и сказал:

— Поехали домой, шеф.

— Адрес какой?

Чита секунду колебался — куда ехать? Домой, к Надьке или все-таки к Сударю? Подумав, он решил ехать к Сударю. Он решил так потому, что спать одному страшно, а Надька, стерва, наверное, с тем парнем. С Сударем

не страшно, он сильный, как бык, ему все «до лампочки». Счастливый человек.

— Сань, ты только слушай, что я говорю-то, я ведь дело тебе говорю, как брату — честно, от всей души. Ты только сам посуди: он один живет, профессор этот. Гальяновский, Иван Семеныч. На стенах у него — картины и иконы. Картины — дерьмо, одни бабы в черных платьях. В них ценность только одна, что старые они. Ну и иконки — тоже старинные. Ты бритвочкой картинки-то жик, жик — в трубочку и в чемоданчик, а иконки — в другой. Внизу Витька, ему в кузовочек забросил и прямым ходом к музыканту. А у того ничего не бери, только скрыпочку возьми. Она старенькая тоже, скрыпочка-то. Вишь, до чего людишки додумались: старье в вещах ценят, а в человецах — отнюдь нет. А чтоб потом мусора не думали чего — ты пару костюмчиков, часики там, цацки золотенькие хап — и в третий чемоданчик. Профессор-то этот самый, хирург, он один живет. Жена у него померла, а детей нет. И скрыпач тоже один, его жена песни поет, сейчас улетела она за границу, за океан. Ты его тоже молоточком. Чтоб без свидетелей. Тебе иначе нельзя: милиционер на тебе висит, так или иначе — вышка, если заметут. А так — дверку замкнул тихонечко да и ушел. Недельку трупики полежат, а нынче жара стоит — пусть они, мусора-то, ищут следов. Там вонь будет, следов не будет, Санечка.

— Сколько это в деньгах?

— Ты чего, капиталист, что ль? — засмеялся Прохор и оглянулся.

Они сидели на лавочке в сквере. Вокруг было пусто; быстро, по-весеннему, темнело, женщины с детьми уже разошлись по домам, а влюбленные еще не успели сюда прийти.

— Я серьезно, Прохор.

— Да и я не шутю. Пять косых получишь.

— По-старому пятьдесят?

— Ага.

— А Чите?

— Ты чего это? Сдурел? Чите... На двоих пять.

— Думаешь, я полный дурак, Прохор? Думаешь, я

цену старым картинкам не понимаю? Не туда стреляешь, старый. Десять косых — и без разговоров. Вот так-то...

— Миленький, ты со мной так не говори. Не надо, Сань, я ведь встал да и ушел. И весь разговор. Марафет ты, может, в другом месте и найдешь, а меня-то — нет, не найдешь ведь, Сань. Я тебя завсегда разыщу. Не-е, ты не думай, я не грожуся, спаси бог, я добрый, мне чего? Мне ничего и не надо, я старый. Я свое отжил, а вот тебе пожить надо. Я про что толкую? Про то, что пока можешь жить, живи, а смерть придет, голову прячь и вой! Только ее тоже обмануть можно, если с умом. Семь косых я тебе даю. И десять грамм марафета. И больше ты меня не торгуй, все одно не заторгуешь.

— А марафет-то здесь?

— Завтра перед делом получишь.

— Давай адреса.

— Чего их давать-то? Их не давать, их запоминать надо.

— Ладно. Запомню. Теперь с Витькой. Машины у нас не будет.

— Это почему?

— Запсиховал он.

— А чего, Сань? Причина-то есть какая? Может, не поблагодарил ты его, а? Ты честно мне скажи, а то темно мне будет разбираться, я ведь должен по закону разобраться, чтоб без обид.

— Он свою долю получил, я не крохобор.

— Да, господи, рази я говорю что? Просто интересуюся.

— Не знаю, что с ним. Говорит — завязал.

— А ты с ним беседу имел?

— Я ж говорю — псих. Ногти грызет.

— Ну ладно, ладно, ты не сердись на него. Сердце людское разную печаль вмещает. Я с ним поговорю, с Витькой-то, он ведь парень душевный, а, Сань? Да?

— Въедливый ты, просто сил нет. «Душевный, душевный»! Адрес дать?

— Да я знаю, Сань. Я все знаю, милай ты мой. До ноготка все знаю. Ты завтра дома сиди и жди. Я позвоню тебе. Поговорю с Витькой и позвоню. А если не позвоню, ты к Курскому подъедь. Теперь смотри: вот чемоданчик, в ем для мастера-электрика весь инструмент. Ты с им и пойдешь. Сразу с дальней комнаты у профессора начинай,

чтоб убедиться, один он или кто есть. Если один, ты его попроси фонарик принесть, он отвернется, а ты его — по темечку. Чита пущай на лестнице стоит. А как стукнешь, его впусти, и шуруйте. Понял? Не торопитеся, шторки занавесьте — и айда...

— Ты меня не учи.

— Не сердись, Сань, ты чего? Я ж от сердца, Санечка, ты не думай. И вот еще возьми. Для Читы. Наганчик. Он пригодится. Хороший наганчик, вороненый, руку холодит, вчера по случаю достал...

На том они расстались.

Сударь ушел первым, а Прохор сидел и улыбался. Если все пройдет так, как он задумал, тогда тридцать тысяч рублей он получит завтра вечером на привокзальной площади от человека, который будет его ждать в машине с желтым номером. Коллекция итальянских картин эпохи раннего Возрождения, принадлежащая профессору Гальяновскому, завещанная им в дар Эрмитажу, оценивалась в пятьдесят тысяч золотых рублей. Профессор собирал ее всю жизнь — долгие шестьдесят лет, отказывая себе подчас в самом необходимом. Все три Государственные премии, гонорары за свои труды он отдавал коллекционированию. Коллекция у него была редкостная, и знали об этом многие люди и у нас в стране и за ее рубежами.

Скрипка, которая хранилась в доме у известного советского музыканта, принадлежала ему давно. Она была подарена ему еще до войны правительством. Оценивалась она в тридцать тысяч золотом.

Да в конце-то концов черт с ними, с рублями, со скрипками и коллекциями! Завтра вечером должны были погибнуть от руки преступника Сударя два великих гражданина: гений операций на сердце и скрипач, известный всему миру.

А придумал эти два преступления маленький, серый человечек по имени Прохор. Сударь о нем почти ничего не знал. Не знал он ни его фамилии, ни места жительства, ни занятий — ничего он не знал о Прохоре — контрразведчике из власовской охранки. Прохор сумел скрыть многое, и поэтому он был репрессирован как рядовой власовец. В пятьдесят девятом году его освободили по состоянию здоровья. Ловко сыграв на доверчивости врачей,

он уехал из Коми АССР сначала в Ярославскую область, а потом перебрался под Москву, в Тарасовку. Здесь он снял комнату у вдовы, которая жила с двумя маленькими детьми, и зажил тихо, незаметно и скромно. Прохор приглядывался, выжидал, думал. Встретился с Сударем. Убил с ним Копытова, завладел оружием. Проверил Сударя на мелочах. А завтра решил сыграть ва-банк. Вот только Витька. Шофер, хороший паренек. Задурил. Ай-яй-яй! Он адрес-то знает. Подвозил ночью, после милиционера. Ночь — она, конечно, ночь, да Тарасовка тоже не тайна. Фары табличку осветили. Табличка желтенькая, а буковочки на ней черные, резкие. А память у молодых светлая, в ней все точно и зримо откладывается. «Витька, Витька, ты чего ж запсиховал, а, Витьк?»

Прохор поднялся и пошел к вокзалам. Шел он совсем и не прихрамывая, а палку держал в руке вроде зонтика. Шел он не сутулясь и не казался сейчас таким маленьким и забитым, как десять минут тому назад, пока рядом сидел Сударь. Попадутся мальчики — про палку сразу стукнут. А палки-то и нет: вон решетка канализационная, туда ее и опустить. Уронил! Ай-яй-яй, какая жалость! Ищите хромого старичка! Ищите, вам деньги за это платят. Зорко ищите, еще зорче!

Никаких происшествий

В час ночи Садчиков вызвал машину и отвез Леньку домой. Улица уснула. Мокрый асфальт блестел, будто прихваченный ледком. Сильно пахло цветущими липами. Сонно моргали тупыми желтыми глазами светофоры на перекрестках и площадях. Из-за неоновых фонарей небо казалось непроглядно-темным.

Ноги у Леньки гудели. Он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться.

— Ну и работа у вас! — сказал он Садчикову.

— Ты э-это с чего?

— Целый день на ногах — ужас!..

— Чудак, — ответил Садчиков, — разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, — вот у-ужас. В нашем д-деле самое страшное — это всех воз-зненавидеть. С гадостью мы работаем, к-как настоящие ассенизаторы, п-понимаешь? А людей надо о-очень любить. Иначе к-какой смысл нам работать? В том-то и дело: нет смысла...

Высадив Леньку, Садчиков сказал шоферу:

— Поехали в у-управление, Михайлыч.

До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытые Росляковым, и составляли план на завтра.

Садчиков должен пойти по всем высоким тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты, а Костенко с Росляковым снова выйдут на улицу. Ровно в восемь, к открытию «Гастрономов». У Читы вся стена заставлена бутылками — такие с утра пить начинают.

Засада, оставленная на квартире у Читы, сообщала, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером.

ЧЕТВЕРТЫЕ СУТКИ

Рано утром позвонили по телефону и попросили Костенко.

— Я говорю, — ответил Костенко.

— Здравствуйте, это Шрезель.

— Кто?

— Ну, вы были у меня, помните? Был разговор о Чите.

— А... Доброе утро.

— Я тут вспомнил одного нашего приятеля, он учился на курс ниже, так он месяц назад видел его с девушкой. Такая толстенькая. Он их встретил на улице Горького, около Елисеева, Кот звал его в гости и записал адрес.

— Адрес, конечно, ваш товарищ выбросил?

— Вы просто Вольф Мессинг. Он записал его на папиросной пачке и потом потерял. Но он помнит, что девушку звали Надя, а живет она на Пушкинской площади.

Костенко закурил и спросил глухо:

— Он это помнит точно?

— Говорит, что да.

— Спасибо вам, Владимир Маркович.

— Какая ерунда...

— Большое вам спасибо, — повторил Костенко и, положив трубку, спросил Садчикова: — Пушкинская площадь принадлежит пятидесятому отделению?

— Да.

— Там Читина зазноба живет. Надо будет всех девиц по имени Надежда просмотреть. Шрезель звонил, говорит, что он там с ней появлялся.

Садчиков сказал:

— Интересно.

— Значит, тренеры на сегодня отменяются?

— Почему же, сейчас пойдем к к-комиссару. Нам еще один человек нужен. А вы пока отправляйтесь. И поближе к Пушкинской держитесь, п-поближе.

Ленька ждал их около памятника Пушкину. Он стоял, задрав голову, смотрел на бронзового поэта и что-то шептал.

Росляков подтолкнул Костенко и показал на парня глазами.

— Да, — сказал Костенко, — славный парень. Выцарапаем. Я думаю, все же выцарапаем.

— Салют поэтам! — сказал Росляков.

Вздрогнув, Ленька обернулся.

— Здравствуйте, — сказал он, — я сегодня еле поднялся.

— Устал? — спросил Костенко.

— Устал.

— Ничего. Сейчас разомнемся. Ты иди с Валентином Ивановичем, а я по той сторонке. Там сейчас тень, я хитрый.

Готовятся

Сударь умылся, долго, закрыв глаза, брился электробритвой и, расхаживая по комнате в трусах, говорил Чите:

— Мы с тобой получаем семь косых — по-старому. Делим по-джентльменски: тебе половину и мне половину. Прохор позвонит часа в два, после разговора с Витькой. Сразу после этого мы поедем к дедушке-профессору любоваться живописью.

— А что с Витькой?

— Полегче вопрос есть?

— Есть. Водку купить или коньяку?

— Ни того, ни другого. После. Прохор говорит, что по пьянке обязательно влипнем. Он говорит, что надо только по-трезвому на дело идти.

— Он трехнутый, этот твой Прохор.
— Не «мой». Наш.
— Ничего себе «наш»... Он косых на десять нас с тобой дурит, не меньше.
— Знаю. А как быть иначе? Кому эта мазня нужна? Или иконки? Вон фарцовщики их около Третьяковской галереи на газовые зажигалки у американцев меняли. Толку что?
— Толку никакого, а за квартиру я уже два месяца не платил. Боюсь туда идти.
— Чего?
— Не знаю.
— Киря... Беги сейчас уплати, делов на два часа. Может, сегодня деньги получим от него и двинем к «самому синему в мире».
— Надьку возьмем?
— Ни к чему это. Там бабы есть похлестче.
— На поезде поедем?
— Зачем? Ту-104 есть в Советском Союзе.
— Слушай, а у профессора никого дома нет, это точно?
— Конечно, точно. Я туда поднимусь один, а ты через минут десять. Три раза стукнешь и скажешь: «С Мосэнерго». Я тебе открою. Если кто-нибудь будет на площадке — пройди мимо, будто ты ищешь квартиру, понял?
— Да. Только если в квартире кто-нибудь есть, не ходи. Мокрое дело — расстрел.
— Что ты говоришь?! А я думал — два года условно. Между прочим, а почему ты боишься идти домой? Может, трепанул кому-нибудь? У тебя язык без костей...
— Я не идиот.
— Ты киря, а не идиот, это точно... Давай поднимайся, жрать будем.

Хорошее имя

К двенадцати часам дня у Садчикова на столе были адреса сорока двух Надежд с Пушкинской площади. Тридцать две отпали сразу же: это были женщины далеко не первой молодости, матери семейств и бабушки. Потом отпало еще пять Надежд — девочки до пятнадцати лет. Осталось пять девушек, которых надлежало проверить в течение ближайшего часа. Садчиков вызвал

машину, чтобы ехать в пятидесятое. Собираясь, он думал о том, как сейчас мало девочек с таким прекрасным именем — Надежда. Раньше тридцать две на дом, а теперь десять. Сумасшедшие родители называют детей Мальвинами и Регинами. Надо святцы посмотреть, там имена хорошие. Садчиков усмехнулся, заметив, что и думает он тоже заикаясь, как говорит.

Надо бы позвонить Галке. Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они ели за завтраком. Галка сейчас мне выдаст — почему не позвонил вчера? А она уже спала в два часа. У нее вчера опять было дежурство, а она с вечерних дежурств приходит выжатая, как лимон. И спит до десяти. А сейчас двенадцать. Надо было позвонить два часа тому назад, а я сидел в отделении. В кабинете полно народу. Галка начала бы меня пытать, что случилось, а мне было бы неудобно ей отвечать при всех, потому что я должен врать, а это со стороны смешно. Странный народ женщины. Из ребра сотворены как-никак. Ребро не череп. Ни черта не хотят понимать, а объяснять — унизительно для самого себя. Когда женишься, думаешь, что на самой умной. Все поймет, всегда поможет. Грех мне, конечно, на Галку сердиться, но иногда и она такое колено загнет, что потом неделю не опомнишься.

Садчиков вздохнул и набрал свой домашний номер. Голос у Галины Васильевны был усталый и тихий.

— Галка, — сказал Садчиков как можно веселее, — привет! Ну, что ты? К-как дела?

— Изумительно!

— Что ты молчишь?

— Мне надо петь? Или станцевать у телефона? Неужели ты не мог позвонить вчера?

— Я поздно освободился и не хотел тебя будить.

— Я ведь тоже человек.

— Догадываюсь.

— Сегодня тебя ждать?

— Я позвоню.

— Завтра днем?

— Ч-что ты, Г-галочка!

— До свиданья, — сказала она, — всего тебе хорошего.

Садчиков в сердцах швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

— Эх, милый ты мой начальник, — сказала бабка певуче, — бог, он все видит, все прегрешенья людские и все людские доблести.

— Конечно, — согласился Садчиков и покачал головой, — это вы, бабуся, в-верно говорите. А Надя когда придет?

— Она всегда тут, — сказала бабка и тронула себя где-то около ключицы.

— В сердце? — спросил Садчиков.

— В нем, — убежденно ответила бабка и вытерла слезу, которая то и дело закипала у нее в левом глазу. Садчиков понял, что бабка перенесла инсульт, от этого у нее так часто собирается слеза в уголке глаза.

— Ну, а здоровье как у вас?

— Нет теперь на земле здоровья, — сказала бабка. — Вон у моей мамаши нас тринадцать человек было, а у Лешки-то, у сына мово, — одна Надюшка. Мужик с виду сильный, а на большее не вытянул, как на одну девку. Четверых у меня на войне убило, а Лешка самый младшенький, ему пятьдесят три, выжил. А лучше б и не выживал. Куском хлеба старуху корит, с дома гонит, «теперь, — говорит, — все работают, давай, — говорит, — мама, и ты вкалывай». А Надюшка, дай ей господь наш всевышний, ангел. Кто меня кормит, поит и обувает? Кто меня на земле держит? Надька. Труженица девка. Днем в магазине, вечером в техникуме, а ночью у корыта да на кухне. Так вот я тебя и спрашиваю, сыночек, есть бог на земле или нет?

— На земле нет, а в н-небе — наверное.

— Сам-то крещеный?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь, сынок, а? Это дело все знают!

— Я сирота, м-мамаша, меня в приют подкинули.

— Ах ты, горемыка! — запричитала бабка. — А гляди, обратно, боженька. Вон ты какой долдон с его милости вымахал. Верста верстой. Раньше такие в лейб-гвардии его величества государя императора служили. Мой дед в гусарах был, в амперialистическую его положили. Два метра росту имел. Как столб. Надька в его пошла. Красавица, рослая, не то что пигалицы сейчас ходят, безо вся-

кого женского достоинства. Грудей нет, чем детей-то кормить будут? С пальца не пососешь...

— А к-карточки Нади есть?

— Есть, миленький, есть. Вона, в альбомчике, на комоде стоят.

Управдом взял альбом и передал его Садчикову. Надежда Мамонова строго глянула на Садчикова. Глаза у нее были маленькие. Рядом с ней стоял парень в форме летчика.

— Жених? — спросил Садчиков.

— Жених, — вздохнула бабка, — тут в переулке жил.

— Ничего парень?

— Да ничего так... Щупленький только. Ручищи длинные, а худые, как твои плетки. В плечах тоже не широкий, щупленький. Я Надьке-то говорю: щуплый — он и есть щуплый...

— Бабуся, — спросил Садчиков, — а Костя д-давно не ходил?

— Давно.

— Поругались?

— Да нет... Он же теперь в Белоруссии служит.

— Жених?

— Ну да. Костька его зовут.

— Нет, я про того Костьку с-спрашиваю, про черненького, со шрамиком на лбу, Назаренко его фамилия.

— Ты, сынок, на Надежду напраслину не возводи. Она себя соблюдает, не то что некоторые.

Садчиков распрощался с бабкой и, выйдя от нее, позвонил в отделение.

— Пожалуйста, пошлите кого-нибудь из о-оперативников в продмаг номер сто пятьдесят два, на углу... Да, да, там... Вызовите Надю Мамонову и поспрашивайте ее о Назаренко. Может, с-слыхала. Да. Я позвоню через полчаса. До свиданья.

Надежда Сергеева

Дверь открыл рослый парень, выбритый до синевы, в черном спортивном костюме. Садчиков поджался: чутье подсказало ему, что он нашел именно то, что искал.

— Из райжилотдела, — бросил он и обернулся к управдому. — Ну, показывайте, где здесь надо менять перекрытия.

Управдом быстро взглянул на Садчикова и все понял. Военный в прошлом, он сразу же сориентировался в обстановке и пошел в квартиру первым.

— Где ответственные съемщики? — спросил управдом парня.

— Надя, — крикнул тот, — к тебе пришли!

Надя вышла из ванной в халатике, босиком. Она лениво оглядела пришедших и спросила зевнув:

— В чем дело?

Лицо у нее было помятое, с синяками под глазами, чуть оплывшее, но все же очень милое.

— Тут у вас перекрытия подгнили, — сказал управдом, — нам надо посмотреть полы. В комнаты войти можно?

— Идите, — ответила Надя.

Садчиков долго простукивал пол в передней, поглядывая при этом на обувь, стоявшую под вешалкой. Потом он вошел в комнату, увидел неприбранную кровать, остатки еды на столе, порожнюю бутылку «Букета Абхазии» и пепельницу, полную окурков.

— Вторую к-комнату откройте, — попросил он.

— Она открыта, — ответила Надя, — там сестра живет.

Во второй комнате никого не было. Потом Садчиков зашел в ванную комнату и на кухню. Там тоже было пусто. Он вернулся в комнату, улыбнулся, погрозил Наде пальцем и сказал:

— В-вот я вас хорошо п-помню, а вы меня забыли.

— Откуда ж вы меня помните?

— А н-нас Костя знакомил.

— Где?

— Д-да з-здесь, около киоска.

— Может быть, — ответила Надя и пояснила парню: — Чего смотришь, это муж, Костя.

— Назаренко, — подсказал Садчиков.

— Ну да, — повторила Надя, — Кот.

— В-вы еще долго будете д-дома? — спросил Садчиков. — Мы водопроводчика должны п-прислать...

— Ломать?

— Нет, — сказал управдом, — текущая профилактика.

— Часа два еще побудем, — посмотрев на своего приятеля, ответила Надя, — да, Сережа?

— Конечно.

— А К-кот где? — спросил Садчиков. — О-обещал позвонить — и пропал.

— Мы с ним поссорились, — ответила Надя, повернувшись к Сереже спиной, и сморщила лицо. Осторожно подмигнула Садчикову и повторила: — Разводиться будем.

— Ж-жаль, — сказал Садчиков, — он хороший п-парень. Нужен он м-мне сейчас. Где найти — у-ума не приложу. Если он придет, то пусть сразу ко мне позвонит.

— Телефон знает?

— А я з-зайду через часок и оставлю.

Телефон-автомат был установлен в подъезде, так что Садчиков, быстро набрав номер милиции, мог видеть всех, кто пройдет мимо.

— Алло, — сказал он тихо, закрыв рот ладонью, — это С-садчиков. Быстро машину с людьми ко мне на Пушкинскую. Возьмите ордер на обыск у п-прокурора. Да. Я в подъезде...

Садчиков вопросительно посмотрел на домоуправа.

— В четвертом, — сказал тот, — въезд со двора.

— Четвертый, — повторил Садчиков, — въезд со д-двора. Жду.

Близко к развязке

— Леня, — сказал Росляков, — ты просто молодчина. Откуда ты только знаешь так много стихов? По школе?

— У нас Лев преподает, а другие классы литературу ненавидят. Лев в учебники не заглядывает и нам не велит. Краткое содержание, язык, образ, кульминация — это же все чепуха.

— Да?

— Конечно. Читать надо побольше, тогда все будет ясно. Где образ, какое идейное содержание, в каком месте кульминация. А читают у нас ребята мало.

— Почему?

— Да ну... Физика, космос, химия... Это идет. А литература — так, времяпрепровождение. Несерьезно это, говорят. Болтовня, отдых.

— А мы литературу любили. Смотри, как забавно: когда мы школу кончали, то почти все шли в гуманитарные вузы — на юридический, на истфак. Еще на журналистику многие пытались попасть.

— Я тоже мечтал...

— Почему «мечтал»?

— Меня сейчас туда на пушечный выстрел не подпустят.

— Да брось ты, как старуха, нудеть. Захочешь — подпустят. Важно захотеть. Это во всяком деле самое главное.

...Костенко шел вместе с давешним оперативником из пятидесятого отделения и ворчливо ругал погоду.

— Испохабили планету, — говорил он, — зима слякотная, весна — как в Африке, а летом дожди.

— Завтра вообще тридцать градусов ожидается.

— Во-во, — чертыхнулся Костенко, — а поедешь в отпуск, так калоши надо брать.

— Земля остывает, — сказал опер, — скоро все переменится. У меня дед говорит, что зима обернется летом, а весна — осенью.

— Прозорливый у тебя дед.

— Дед что надо. «В наше, — говорит, — время не соскучишься».

— На что это он, интересно, намекает?

Оперативник ответил:

— Он без умысла, что вы...

Костенко усмехнулся, весело оглядел молоденького оперативника и подмигнул ему.

— Нет, серьезно, — повторил тот, — просто дед с фантазией.

— Какая у деда может быть фантазия? У деда сплошной реализм должен быть. Давай воды выпьем, а то горло совсем пересохло. Сволочь, не идет до сих пор...

— Кто?

— Чита, кто...

Так и ходят они по улице. Говорят о пустяках, подшучивают друг над другом, а в голове только одна мысль: где он?

Внешне они спокойны, даже скорее расслабленны. А ведь под пиджаками не видно, как напряжены у них мышцы рук и спины, посторонний не знает, как устают глаза, потому что надо все время смотреть — не просто смотреть по сторонам, а искать, и не просто искать, а обязательно, непременно найти.

Прохор думает

Прохор позвонил в гараж и вызвал к телефону шофера Виктора Панкина.

— Он сейчас на линии, — ответили ему, — позвоните через час.

— Не уйдет?

— Нет. Он до трех сегодня.

— Спасибо, — ответил Прохор и повесил трубку.

Виктор Панкин

Через неделю после свадьбы он сделал хорошего «левака»: перевез за два часа три холодильника. «Москвичок» у него с кузовом, свеженький, всего тринадцать тысяч набегал. Развал, правда, дрянной, левый передний скат жрет. Да черт с ним, со скатом. Тридцать рублей в кармане. Любке на платье. В Пассаже продают. Импортное, с красными цветами по сиреневому фону. Кошмар!

Женившись, он в рот не брал водки. Раньше-то пил много. И не водку, а политурку. Она дешевая, водичкой разбавишь — и ничего, пить можно. В нюх, правда, шибает. И рыгается потом плохо, прямо керосином рыгается, спички не подноси. А как Любку встретил, так перестал пить. Ребята говорят, что от политурки с мужским делом вроде плохо. А Любка девка что надо, за ней глаз и глаз. А водочки — это, пожалуй, можно. Чекушку с удачи. Она ж не политура, ее в магазине государство продает. И с закуской. В последний раз, чего там...

Орудовец, задержавший Панкина по ерундовому поводу, не хотел даже сначала его штрафовать. А потом отправил на Мещанку, дуть в трубочку этого самого Раппопорта. Права отняли. И всё. Разнорабочим сколько в месяц получишь? Два раза двор подметешь — и весь труд. Деньга — соответственно.

Шоферов на базе не хватало, и Панкину выдали талон. Без прав. Заработок — на четверть меньше, чем раньше. А подкалымить надо? В том-то и дело. Ночью договорился с диспетчером и механул к вокзалам. Ездил, ездил — везде ОРУД, сразу схватят за баки. Поехал к гостиницам. Тоже без толку. Потом вспомнил — Останкино!

Рванул туда. Остановили двое. Повез одного в город, а другого — в Тарасовку. Адресок взял, десятку бросил. Уже другое дело. Жизнь. Хороший старичок. Архип Иваныч. Хроменький. Добрый такой, и все как попик говорит: ласково, душевно. Потом седьмого пришел. «Хочешь, — спрашивает, — сто рублей получить?» — «Дурак не хочет. Перевезти что?» — «Да нет, — говорит, — ребят надо подвезти в одно место, а потом забрать». — «Подвезем, чего не подвезти!» Пришел назавтра Сударь. Подвез его с Читушкой к скупке. Вышли оттуда, поехали в город, а вечером Архип Иваныч сотню приволок. Лучше б не приволакивал. Любка скандалит. «Откуда, — спрашивает, — деньги?» Баба, чего с нее возьмешь? Ушел из дому, а старик ждет на лавочке, около дома сидит. Пошли с ним, дали как следует. Тут он мне все и выложил. «Ты, — говорит, — теперь с нами. Заодно. А чего? — говорит. — В наш век надо каждой минутой жить. Как, — говорит, — водород рванут — так все марсианам останется. Живи, гуляй, пока можно!» Сволочь старая. Потом еще два раза с ними ездил. А вернулся домой — все деньги лежат на столе, а над ними записочка: «Уехала в деревню к тете». Ну и черт с тобой! Девчата сейчас не проблема, только выбирай.

Розку выбрал, а она морду расцарапала. Проститутка! Зараза! Водки выпьешь, домой придешь — и такая тоска, что пропади все пропадом! «Эх, Любка, Любка, надо было тебе со мной по-хорошему поговорить! Я б, может, остепенился. Год всего живем, чего там... Думаю, поеду к ней, упаду на колени, вернется. А как выпью — так ну ее сразу к черту! А тут письмо: так, мол, и так — у меня будет ребенок. Она сама видная, значит, и родит кого надо. Все. Завязал. Сударя побоку. Ходит, морду кривит. От него все и шло. Сегодня день короткий, возьму билет — и к ней, а в понедельник вернемся вместе. А вообще я и знать ничего не знаю. Они ходили, я в машине сидел. Может, они папкин пиджак продавали, поди докажи. Так Любке и скажу, если будет пилить. Чего Архип Иванычу от меня надо? Он старик хороший. Если он скажет, те отстанут. Через час, сказал, позвонит. Час — не год, подождать можно. Эх, Любка, ты ведь и не знаешь, что я к тебе завтра утром приеду. Розка — зараза, в подметки не годится. Маникюр сделала и думает, что царица. Дура мордастая».

Зазвонил телефон. Виктор снял трубку и сразу же услыхал голос Архипа Иваныча.

— Витек, — сказал тот, — здоро́во! Ты чего пропал?

— Я не пропал, Архип Иваныч. Я вот он, тут весь.

— Вить, а Вить, ты сейчас подъезжай в одно местечко, ладно?

— Не поеду.

— Ты чего, Вить? Ты обиделся, может, на меня?

— Ни на кого я не обиделся. Просто сказал — и все.

— Ты погоди, Вить, ты не думай там про чего-нибудь. Я ведь один тебя прошу. На полчасика, внучек помирает, мне только в аптеку надо, к приятелю.

— Какой внучек?

— Коленька. Он маленький, ему годика еще нет. Выручи, Витенька.

— У меня полчаса времени есть.

— Да мы обернемся, что ты... Давай я, куда скажешь, подойду.

— Ладно. У Лаврушинского. Через пять минут будете?

— Через десяток бы, Витек.

— Ладно. Только...

— Будет, будет, — заторопился Архип Иваныч, — кому надо, рублевочку посули, у меня есть с собой, есть...

Допрыгались

Садчиков постучал в дверь. Открыла Надя. Вместе с Садчиковым вошли еще трое.

— Как вы быстро, — сказала Надя, — и много вас... Все водопроводчики?

— Почти что, — ответил Садчиков, — мы из уголовного р-розыска. — Он быстро прошел в комнату и сказал Сереже, который лежал в постели: — Ну-ка, одевайтесь, красавец мужчина.

— А в чем дело?

— Сначала одевайтесь, п-потом объясню.

Надя стояла у двери и медленно бледнела.

— Вот ордер на обыск, — сказал Садчиков, — д-давайте мне телефон Читы.

— Но его же нет дома...

— Где он?

— Не знаю...

— Лжете.
— Может быть, у Сударя.
— Адрес?
— Мы там были поздно ночью... Я не запомнила...
— Телефон?
Она вышла в прихожую, взяла со столика записную книжку и стала ее листать. Сергей тихо сказал:
— Товарищ, у меня трое детей, я мастер спорта, советский человек и патриот, в чем дело?
— П-при чем здесь трое детей? — удивился Садчиков. — И еще патриотизм...
— Мое имя не станет достоянием гласности?
— С-станет, — сказал Садчиков, — хватит вам трясти ч-челюстью.
— Но это не политическое?
— Политическое, — ответил Садчиков.
— Вот телефон, — сказала Надя.
— Звоните ему.
— Что сказать?
— Скажите, чтобы он немедленно п-приехал.
— А если откажется?
— Уговорите.
Садчиков позвал одного из сотрудников и шепнул ему на ухо:
— Быстренько установите адрес, б-берите людей — и туда.
— Есть.
— Только без глупостей, — сказал Садчиков Наде, — н-не вздумайте с ним б-беседовать о нас. С-скажите, что у вас для него есть а-американский костюм. Он же любит костюмы. С-скажите, чтобы он немедленно приезжал пос-смотреть.
Надя набрала номер. К телефону подошел Сударь.
— Здравствуй, Саша, — сказала Надя и улыбнулась Садчикову жалкой улыбкой. — Кот у тебя?
— Зачем он тебе? — ответил Сударь. — Я лучше. Как спортсмен?
— Мы с ним расстались.
— Приезжай к нам.
— Потом. Ты позови Кота.
— Сейчас, — сказал Сударь и крикнул: — Эй, киря! Тебя.
— Алло, — сказал Чита.

— Это я.

— Что, надоело с бывшим князем развлекаться?

— Не говори глупостей.

Садчиков, нагнувшись, слушал каждое слово.

— У меня есть хороший костюм, Кот. Из дакрона.

— С разрезом?

— Да.

— А какого цвета?

— Белый, в серую полоску.

— Сколько?

— Очень дешево.

— Я вечером приеду.

Садчиков быстро взглянул на женщину.

— Нет, — сказала она, — его через час заберут.

— Как же быть? У меня сейчас дело...

— Приезжай на пять минут, — повторила Надя то, что Садчиков сказал шепотом.

— Я сейчас не могу.

Садчиков снова посмотрел на женщину.

— Тогда ничего не выйдет, — сказала она.

— Он новый?

— Еще не одеванный.

— Подожди.

Чита сказал Сударю, который уже стоял на пороге:

— Я на полчаса сгоняю, ладно?

— Не пойдет.

— Там костюм дакроновый.

— В этом походишь.

— Знаешь что?! Иди к чертовой матери! Тоже командир здесь нашелся! «Нельзя»! «Не пойдет»! Что я, тебе подчиняюсь? Тогда вообще топай сегодня один!

— Кончил?

— Да.

— Кретин. Если за полчаса не управишься — пеняй на себя.

— Санечка, я обернусь. На такси туда и обратно.

— Опоздаешь. Ты как баба — время ценить не умеешь. Ладно, едем — я еще раз дом посмотрю, а с Прохором увижусь, как условились. Ты будь к трем. И пистолет возьми, сюда мы не вернемся...

Чита сказал:

— Надюш... Сейчас приеду.

— Жду, — ответила Надя и, медленно положив трубку, заплакала.

— Ч-что это вы? — спросил Садчиков.

— Ничего... Просто неприятно себя чувствовать сволочью.

— В-вы сейчас поступили правильно. Д-дальше мы во всем разберемся, хочу вас только спро-осить: вы знали, когда он последний раз участвовал в грабеже?

— Что?!

— То, что слыш-шите.

— Я ничего не знала.

— Ладно. Сколько времени он сюда проедет?

— Не знаю. Минут двадцать — двадцать пять.

Пришел оперативник и, вызвав Садчикова в прихожую, сказал:

— Александр Николаевич Ромин, тридцать четвертого года рождения, по кличке Сударь, проживает вот здесь, — он протянул листок бумаги с адресом. — В прошлом тренер.

— Хорошо, — сказал Садчиков, — берите людей из управления — и немедленно туда. Если его нет, останьтесь в засаде. Имейте в виду, там может быть пистолет. Мой звонок: три раза короткие, а четвертый — звоню очень долго.

— Есть, товарищ майор.

— Что со мной будет? — спросила Надя, когда Садчиков вернулся.

— Р-разберемся.

— Но я действительно ничего не знала о нем.

— А об этом? — кивнул Садчиков на Сережу. — Тоже ничего не знаете?

— Тоже ничего не знаю.

— А к-как же с ним спите?

— Мы встречаемся...

— Это у вас называется «встречаться»? — усмехнулся Садчиков.

— Врет, — сказал Сережа, — заманила меня, проститутка. Я ее позавчера только увидел, клянусь мамой.

— Ты б пап-пой лучше клялся, — сказал Садчиков.

— Зачем оскорбляете? — спросил Сережа. — Я спортсмен. Что мне, с женщиной общаться нельзя?

— Общаться можно, — согласился Садчиков. — Хватит разговоров. С-сидеть тихо. К-когда он постучится, молчите, мы сами откроем дверь.

— Если он на меня полезет, резать буду, — сказал Сережа, — она сама меня заманила.

— Молчи ты... — сказала Надя.

— Чем будешь р-резать? — поинтересовался Садчиков.

— Зубами, — ответил Сережа, — как волк ягненка.

— Это можешь, — разрешил Садчиков, — только не до с-смерти.

Прохор действует

Прохор сидел рядом с Витькой в машине и быстро говорил:

— Ты чудной, Витек, прямо как ребенок. Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу. Любочку зря ты обидел, она прямо как ягодка — красавица, глаз с нее не свесть. Был бы помоложе — отбил бы, право слово, Витек...

Витька засмеялся, потому что представил рядом с Любой старенького Архипа Ивановича.

— Чего, — словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор, — думаешь, не смог бы? Милай, хорошенький, ты меня и не знаешь вовсе, каким я красавцем был...

Витька засмеялся пуще прежнего. Прохор махнул рукой и укоряюще вздохнул. Закурил. Начал напевать песню.

— Ты чего меня звал, Архип Иваныч? Если б у тебя внучек заболел, ты б грустный был, а так песню поешь.

— Ты хитрый, Вить, ух, какой хитрый! И умненький. Тебя не проведешь. Эх-хе-хе, старость не радость. Угадал ты, Витек. Один я, как сокол. Нет у меня племяша и внучка нет. Только вот вы и есть, вас-то я и люблю. Ты уж меня выручи, старика, Вить. В последний раз, а? Вить? Чего молчишь?

— Не буду выручать, Архип Иваныч. Завязал.

— Шнурок завязывают, Вить... Чего тебе завязывать-то? Если б ты какой бандит, спаси господи, был, а то трудяга, шофер. Откуда ты знаешь, чего везешь?

Попросил Архип Иваныч, ну ты и подсобил старику. Сударик мои вещички, три чемоданчика, на Курский отвезет — и все. Триста рябчиков я тебе сразу выкладаю.

— Не пойдет, Архип Иваныч, — сказал Витька и улыбнулся. — У меня жена рожать вздумала. Все. Завязал.

— Господи, вот радость-то! — сказал Прохор. — Дите — оно в семью всегда мир приносит и человецем благоволение. Это ты здорово решил. А — твой?

Витька не понял.

— Младенец-та чей? — спросил Прохор. — Твой?

— А чей еще?

— Она уж полтора месяца одна, не ровен час согрешила...

Витька резко тормознул. Машина остановилась.

— Вылазь, — сказал Витька, — старый дурак.

— Да что ты? — всполошился Прохор. — Я чего? Я ничего, Вить, я ж за тебя страдаю...

— Вылазь, — повторил Витька.

— Вить, Вить, — заторопился Прохор, — ты не серчай, ну, ты меня прости, старика. У меня так жена согрешила, я и напуганный теперя, Вить. Если бы я со зла, а то ведь от всего сердца. Ты не ругайся со мной, Вить, а то нам всем нехорошо будет, Вить...

— Тебе будет нехорошо, а мне что?

— Тебе тоже будет несладко. Один в наши дни кто захочет тонуть? Вдвоем — все веселей.

— Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебя, понял?

— И-и-и, милай, — засмеялся Прохор, — куда ты меня повезешь? Я тя сам куда хочешь отвезу. Только я этого делать не буду. Зачем это мне? Живи себе, как хочешь. Лады, отвези меня ко мне домой, в Мамонтовку, и господь с тобой.

— Ты ж в Тарасовке живешь, Архип Иваныч, — сказал Витька, — Советская, сорок. Что я, не помню?

— Да не, там не я живу, там Сударев брат жил двоюродный.

Прохор быстро резанул взглядом Витьку. Глаза у него сейчас стали белые, холодные и пустые. Но так было только мгновение. Когда Витька, почувствовав на себе взгляд Прохора, обернулся, он увидел добрые стариковские глаза, в уголках которых поблескивали беспомощные и добрые слезинки.

— Да ты не бойся, — сказал Витька, — я только так, чтоб ты отвязался, Архип Иваныч. А то «согрешила», «согрешила»!

Прохор всхлипнул и тяжело шмыгнул носом.

— Ну, брось, Архип Иваныч... — попросил Витька. — Ну, извини меня, если что не так. Да хватит тебе, Архип Иваныч, ты прямо как женщина.

— Эх, люди, люди... Верно говорят, что они крокодилово порождение. Им с добром, а они все черным норовят отплатить. Лады, поворачивай. Заедем к тебе, поллитра махнем, и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть?

— Есть.

— А то можешь взять в долг-то...

— Да нет, пока не надо. Я ж говорю, завязал.

— У тебя есть что закусить?

— Есть. Только мне пить нельзя.

— Стопку?

— Попадусь, тогда хана.

— Миленький, дак ты не попадайся. Потихоньку поедешь-то, гнать не будешь. И потом у меня орешек есть. Мускатный. От него трубочка не краснеет.

— Какая?

— Раппопорта этого самого, дружка твоего.

— Ты только одну бутылку бери, Архип Иваныч, две не надо.

— Ладно, ты меня тут ссади, а сам топай домой. Дверь не запирай, чтоб мне не стучать. Соседи дома?

— Нет. Они до семи.

— И ладно. А то Любушке стукнут: пил-де водку Витька, пил ее, окаянную... Ты дверь не запирай, чтоб я не колотился, лады?

— Лады.

Прохор купил две бутылки водки, холодного копчения осетрины и полкило сыру. Пока ему заворачивали покупку, он пошел в автомат и позвонил Сударю: он хотел его предупредить, что машины не будет. Но Сударя дома не оказалось.

«Ничего, — решил Прохор, — я за час управлюсь, как раз приду ко времени. А нет — подождет, не привыкать...»

Куда смотрит милиция?!

— Ты книжки про сыщиков читал? — спросил Росляков Леньку.

— Конан Дойля?

— Нет, про нас.

— Читал. Только вас не называют сыщиками. Вас называют в книгах «сотрудниками».

— Вообще, конечно, сотрудник. Только это все равно, что повара называют работником нарпита, а писателя — сотрудником культурного фронта. Я, знаешь, почему спросил тебя про книги?

— Нет.

— Вот ты с нами второй день ходишь и, наверное, смеешься: все в книгах врут. Да?

— Нет...

— Ну да... Обязательно смеешься. По книге: нам только какую-нибудь пуговицу покажи — мы тут же убийцу разыщем. Или посмотрим на человека — и сразу скажем, кто он такой, откуда родом и чем занимался десять лет тому назад. Глупость какая! А ведь печатают и читают.

— У вас очень трудная работа.

— Шататься по улице?

— Что вы со мной, как с ребенком, разговариваете?

Росляков обрадовался.

— Ты не сердись, — сказал он, — это я тебя проверял.

Ленька хотел что-то ответить, но ничего не ответил, потому что увидел, как из такси вылезал Чита. Он хотел закричать ему: «Стой, сволочь!» Он хотел броситься на него, на этого черного красавчика, который, улыбаясь, что-то говорил шоферу.

Росляков посмотрел на Леньку, заметил, как побледнел парень, перевел взгляд туда, где стояло такси, и увидел человека со шрамом на лбу.

— Отойди, — тихо, улыбаясь во весь рот, шепнул он Леньке и пошел к машине, глядя вроде бы в сторону, а на самом деле упершись взглядом в карманы Читы.

Ленька как стоял на месте, так и замер. Сердце бешено колотилось, а руки и ноги сделались мокрыми и ватными, словно совсем чужими. Он понимал, что ему сейчас надо повернуться и уходить, чтобы Чита не заметил его и не заподозрил неладное, но он не мог двигаться,

он стоял в оцепенении, как человек, увидавший перед собой злейшего врага, губителя своей жизни.

И Чита заметил Леньку. Секунду он вспоминал его, а вспомнив — ужаснулся. Снова чутье какое-то звериное, не его, а мудрое и далекое чутье пещерных предков, подсказало ему опасность. Он не обратил внимапия на парня, одетого стильно и небрежно, который шел к такси. Он видел того самого пацана, который был с ними в кассе. И он видел, как тот стоял, бледный и напряженный, словно перед прыжком.

Чита рывком открыл дверцу и плюхнулся к шоферу. Все в нем затряслось, и спазма сдавила горло. Он сказал:

— Едем. Быстро, — и потянулся к дверце, чтобы захлопнуть ее. Но в тот же миг рука того самого парня, который шел к такси, с силой рванула его тело из машины. И еще он услыхал пронзительный голос мальчишки, который был с ними в кассе. Тот кричал: «Сюда! Сюда! На помощь!»

Росляков схватил Читу и, подняв его, понес в подъезд. Чита закричал и начал бить парня коленями по животу. Росляков занес его в подъезд и прижал к стене. Сразу же образовалась толпа. Люди кричали:

— Безобразие! Куда смотрит милиция?! Милицию сюда! Хватают людей на улице!

Росляков сопел и держал Читу в железных объятиях, а тот верещал и по-прежнему бил его коленями в живот. Сквозь толпу протиснулись Костенко и опер. Они схватили Читу за руки, а Росляков полез к нему в карманы. Толпа шумела и гневалась. Росляков вытащил из заднего кармана брюк теплый пистолет. Все враз замолчали и шарахнулись в сторону, будто отнесенные ветром.

— Вот сюда смотрит милиция, — отдуваясь, сказал Росляков, пряча пистолет, отобранный у Читы, — и давайте расходитесь, пожалуйста. Ничего интересного здесь нет.

Допрос начали сразу же, как только Читу привезли в управление.

— Я требую объяснений, — сказал Чита, когда Садчиков предъявил ему постановление на арест. — Я не понимаю, за что меня задержали.

Он пытался говорить спокойно, но его выдавали пальцы: они мелко дрожали.

«Главное, ни в чем не сознаваться, — повторял себе Чита, — Санька говорил, что главное — не сознаваться... Только не сознаваться...»

— Вас арестовали за четыре преступления, Назаренко, — сказал Росляков. — Вас арестовали за убийство милиционера Копытова, за ограбление скупки и приходной кассы и за незаконное хранение оружия.

— Я никого не грабил и не убивал. Оружие я нашел только что в такси и хотел его передать в милицию.

— Вы что, сейчас ехали в милицию?

— Да.

— А почему вы отпустили машину на улице Горького?

— Я хотел позвонить по телефону и узнать адрес, куда надо везти револьвер.

— Ах, так... Ясно, — сказал Росляков. — А почему же тогда вы вдруг передумали звонить и решили быстро уехать?

— Я вспомнил, что вы помещаетесь на Петровке. И вам я сопротивлялся, потому что думал, вы грабители и это ваш пистолет. Я думал, что вы следили за мной.

— Ну-ну, хорошо,—сказал Садчиков, — м-может быть, это так и было. С-скажите, а когда вам надо было заехать за дак-кроновым костюмом?

— Что? — упавшим голосом переспросил Чита.

— То самое, — сказал Костенко.

Чита сидел на стуле посредине комнаты, а Садчиков, Росляков и Костенко стояли прямо перед ним — стеной, закрывавшей окно. Поэтому Чита не видел их лиц и их глаз, он видел только яркие черные контуры трех людей, которые каждым своим вопросом вбивали ему в голову, прямо в темечко, страшные гвозди. Эти гвозди причиняли ему неимоверную боль, он должен был привыкнуть к этой боли, а уже потом, привыкнув к ней, быстро придумать ответ и сказать его возможно спокойнее и беззаботнее:

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— С-слушай, Чита, — сказал Садчиков, — ты только из себя б-борца не р-разыгрывай. Тут зрителей нет. И п-пьяных пижонов, которые стоят около ресторанов и к-которых можно легко сбить с ног, тоже нет.

— Подумайте сейчас о себе, — предложил Росляков. — Мы возьмем Сударя, и он нам расскажет все. Понимаете? И вы будете последненьким. А это плохо — оказаться последненьким в признании, суд это не очень-то одобрит.

— А за что меня судить?

— Я могу п-повторить еще раз...

— Не надо ваньку валять, — сказал Костенко, — с нами такие номера не проходят. Это у тебя только со Шрезелем такие номера проходили. Это ты ему мог «динамо вертеть», у нас не получится.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— З-значит, ты отказываешься давать показания? Так следует понимать тебя, да?

— Нет, почему же...

— Мы повторяем свои вопросы, Назаренко, — сказал Росляков, — послушайте нас еще раз: расскажите, как произошло убийство Копытова, кто и как вам помогал при ограблении скупки и кассы, куда с награбленным ездили и сколько времени вас ждал в машине Витька.

«Все знают! — пронеслось в мозгу у Читы. — Про Витьку тоже знают! Конец!»

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — тихо ответил он, — я просто удивляюсь...

— Хорошо, — сказал Костенко, — сейчас мы тебя отправим в камеру. Но имей в виду следующее: я скажу Сударю, что ты молчишь и, таким образом, берешь на себя роль главаря банды. Думаю, что Сударя это устроит. Он даст показания, если ты молчишь и если сам себя пускаешь главарем. Имей в виду. Ты, конечно, потом откажешься от молчания и будешь показывать все на Сударя. Суд пришлет нам «дело» на доследование. Мы терпеливые. Мы тебя выслушаем еще раз, мы запишем твои новые показания и заново будем допрашивать Сударя. Но он-то наверняка от своих прежних показаний не откажется. Это уж ты поверь мне. Он скажет, что ты выкручиваешься и лжешь. Ты сам знаешь, что он поступит именно так. И я не знаю, как суд посмотрит на твои измененные показания. То молчал, а то вдруг все стал валить на содельца. Вот об этом я должен тебе сказать. Подумай. Взвесь все. У нас есть время. Мы можем подождать...

Чита попробовал улыбнуться. Он откашлялся и сказал:

— Спасибо вам большое за разъяснение, но я просто не знаю, в чем мне сознаваться... Вы говорите про какого-то милиционера, которого убили... И вообще...

Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил:

— Как эк-кспертиза? Что? Ага. Н-ну хорошо, давайте ее сюда...

— Что? — спросил Костенко.

— Т-так вот, — нагнувшись над Читой, сказал Садчиков. — Тот пистолет, который мы взяли у тебя, принадлежал убитому сержанту милиции Копытову, Ч-чита. По номеру мы это сразу узнали, а эк-кспертиза нам подтвердила научно.

— Да, но я его н-нашел...

— Т-ты меня не передразнивай, — посоветовал Садчиков, — н-не стоит.

— Я не передразнива-аю! — взмолился Чита. — Это у меня само!

— Испугались? — спросил Росляков.

— Нет, просто...

— Не так уж все это просто, — сказал Костенко. — Что, вызывать конвой? Пойдешь в камеру молчальником?

— Но я нашел этот пистолет в машине!

— Только не лгите, — сказал Росляков, — только не надо вам лгать, Назаренко. Это я вам даю добрый совет, поверьте мне. Шофер такси, номер ММТ 57-51, на котором вы ехали, у нас. Его зовут Николай Васильевич Теплов. Сейчас мы его пригласим.

— Да, это мой первый выезд, — сказал шофер Теплов. — Я выехал из парка, я там амортизатор менял, а этот гражданин меня остановил.

— Он куда сел? — спросил Костенко.

— В машину, — ответил шофер, — куда же еще...

— Это мы понимаем, нас ин-интересует место в машине.

— Рядом со мной сел.

— И на заднее сиденье не садился? — спросил Росляков. — Может быть, он выходил пить газированную воду или звонил по телефону, а потом сел на заднее сиденье? Вспомните, пожалуйста.

— Да нет, что я, болван, что ль? Он еще торопил меня всю дорогу, велел гнать, говорил, что сам за меня рубль орудовцу отдаст, если остановят.

— Он вам показывал пистолет, который нашел под сиденьем?

— Чего?! — взвился шофер. — Вы это, знаете, бросьте! Вы меня на пушку не берите! И ты давай не подмаргивай! Пистолет. Я никаких пистолетов не вожу!

— Вы бы осторожнее подмаргивали, Назаренко, — сказал Росляков, — а то неудобно, видите, товарищ Теплов сердится на вас.

— С-спасибо, товарищ Теплов, — сказал Садчиков, — п-простите, что пришлось вас оторвать от работы.

— Вы мне отметьте, что я у вас был по делам, — попросил Теплов, — а то завтра же на профсоюзном выговор дадут. Как милиция, так сразу думают — пьянка. А у меня катар, я этого вина проклятущего в рот не беру.

— Ессентуки надо пить, — посоветовал Костенко, — семнадцатый номер. Очень помогает.

Когда Теплов ушел, Садчиков посоветовал Чите:

— Н-ну, думай новую версию, эта, видишь, отпала.

— Он врет! — сказал Чита. — Он нагло врет!

— Н-не торопись, — снова посоветовал Садчиков, — лучше придумай что-либо н-новенькое, мы вместе обсудим, так или не так. Может быть, ты нашел его на улице, когда шел от Сударя к стоянке т-такси? Или, может быть, у Сударя в подъезде?

— Или, может, — подсказал Костенко, — у Сударя в квартире?

— Ладно, — сказал Росляков, — тогда давайте все спросим у Сударя. Вы где с ним уговорились встретиться?

— Я не уговаривался с ним встречаться.

— Снова врешь, — сказал Костенко. — Дома у него сейчас засада. Он вернется домой, потому что ему нужен помощник. Витька с вами не ходит теперь, ты — у нас. Он вернется домой и будет тебя ждать там. А там мы ждем его.

«Я же не хотел! — лихорадочно думал Чита. — Я так и знал, что влипнем! Я же не хотел идти с ним, когда он показал мне пистолет в первый раз. Они не поверят мне. Но я не хотел! Это он, сволочь, сатрап проклятый, заставил меня! А вдруг они ничего не знают? Сударь говорил, что надо молчать! А если сказать? Не все, а только самое легкое? Черт, как же быть? Как же мне быть,

господи? Помоги мне! Мамочка! Что делать-то сейчас?»

— Сколько раз с вами воровал поэт?

— Он не воровал, — ответил Чита и сразу же понял, что уже начал, помимо своей воли, говорить. Он понял, что проговорился, он попался! Они взяли его врасплох этим вопросом, потому что он боялся только Сударя, а этого паренька он не думал бояться, он забыл о нем, как только попал в руки того, который затащил его в парадное.

— А касса? Он же с вами был в кассе, — быстро сказал Костенко.

Чита устало протянул руки и взял пальцами колени. Он почувствовал, что пальцы дрожать перестали.

— Нет, — сказал он тихо, — там мы были вдвоем. Он просто шел сзади. Мы даже не поняли, как он за нами вошел. Он был пьяный. А про милиционера я ничего не знаю. И вообще больше ничего не было.

— Снова врешь, — жестко возразил Костенко, — мы уже вызвали людей из скупки и из домовой лавки. Ты заметный, они тебя сразу узнают. Шрам, да и парень ты видный, хоть и очки нацепил для конспирации.

— Где вы должны были встретиться с Сударем? — повторил Росляков. — Давайте, давайте, нечего уж...

«Сударь все равно будет молчать. Он им ничего не скажет. Пусть сами берут, — быстро думал Чита. — Этого я им не скажу. А про то они все равно знают».

— Мы с ним не уговаривались о встрече, честное слово.

— К-какое? — удивился Садчиков.

— Честное слово, — повторил Чита. — Я уехал, и все. «Мне никак нельзя говорить. Тогда будет два новых дела. Он должен грабить этих чертовых скрипачей. А я ничего не знаю. От всего откажусь. Меня первого взяли, мне и вера...»

— З-значит, поэт с вами не воровал?

— Нет.

— И в-вы с ним не говорили о том, что собираетесь брать кассу?

— Нет. Мы потом жалели, что он за нами увязался.

— На м-минуточку, С-слава, — позвал Садчиков Костенко, и они вышли из комнаты. Садчиков отошел к скамейке, сел, достал сигареты и улыбнулся.

— Я, знаешь, за Леньку рад, — сказал он, — он теперь у н-нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол, и сразу ч-чтобы этот вопрос отметить.

— А как будем с Сударем?

— Он з-знает, где у них назначена встреча.

— Думаешь?

— У-убежден.

— Ну, извини...

— Да н-нет, ничего, — улыбнулся Садчиков. — Теперь т-так: про Сударя пока ни слова. Пройдет полчаса, он пообвыкнет, и тогда мы повторим во-вопрос еще раз. Да?

— Хорошо. Пошли.

Виктора убили

Когда распили половину бутылки, Прохор попросил:

— Вить, а Вить, ты сходил бы из машины бензинчика мне отсосал — пятно замыть.

— Какое пятно?

— Веранду я красил. Масляное. Вон, видишь?

— Потом принесу.

— Нет, Вить, сейчас. А то вонять будет. Чего те стоит-та?

— Въедливый ты старикан. Давай разливай по последней...

— А ты пока сходи, ладно, Вить?

— Ладно.

Виктор пошел к машине. Прохор подошел к окну и внимательно следил за тем, будет ли Виктор останавливаться и разговаривать с кем-либо. Нет. Налил в пузырек из карбюратора бензина, пошел к подъезду. Ах, сволочь, с кем же ты остановился, а?

Витька встретил Алика из соседнего подъезда.

— Здорово, — сказал Алик.

— Привет.

— Ну, как дела?

— Ничего. Сегодня за Любкой еду. А ты как?

— Тоже ничего. Продули мы позавчера «Химику».

— Эх вы, тюри...

— Сегодня в Тарасовке на загородном филиале стадиона со вторым «Спартаком» играем. В семь часов. Хочешь, приезжай.

— Я за Любкой еду.

— Игра будет — класс! Чего ты бензин несешь?

— Да приятелю, пятно отмыть на штанах, — сказал Витька и кивнул головой на свое окно.

Алик поднял голову и увидел Прохора. Прохор отпрянул от окна.

— Ну, пока, — сказал Алик.

— Пока. Ни пуха, ни пера.

— Иди к черту...

— Вить, а Вить, с кем ты лясы свои натачивал?

— Приятель один.

— А я что, носорог? Меня зачем ему показывал?

— Да я тебя и не показывал вовсе.

— А чего ж он глазел?

— Я сказал, что бензин несу, брюки себе почистить, вот и весь разговор.

— Архип Иванычу, небось сказал, несу. С Тарасовки, да?

— Ничего я про тебя не говорил. И чего ты пугливый такой? Прямо как лань.

— Лань — она очень красивых форм тварь. Давай пей за здоровье Любушки нашей. Ух, красавица, дай ей боженька хорошего сыночка! Пей!

Они чокнулись, и Витька выпил. Выпив, он сказал:

— Чего-то горчит.

— Дорогое вино всегда горчит, — ответил Прохор наставительно.

А горчило потому, что он всыпал в стакан Виктору яд.

— Ты старик хороший, — сказал Витька, — только все теперь. Я завязал. И пои меня не пои, никуда с вами не поеду. Точка.

— Ну и бог с тобой. Только чтоб по-дружескому нам расстаться. Я о чем, Вить? Я о том, что все люди должны по-человеческому, по-хорошему жить, а не как оглоеды какие. Не сошлись — и ладно. Чтоб только зла друг к другу не иметь. Так ведь?

— Так.

— И я о том веду толк. Давай поцелуемся мы с тобой по-братскому, без злобы. И — еще одну трахнем.

— Больше не буду. Голова у меня и так чего-то кружится.

— Недопил, вот она и кружится, зараза.

— Не надо, Архип Иваныч, не буду больше.
— И то верно. Ляжь отдохни, если кружится.
— Да нет, ехать надо.
— Поедем. Мне тоже надо. Приляжь на десять минут, и все слетит с тебя.
«Бензин-то раньше надо бы взять, — думал Прохор, — недоработал я этот вопрос, черт возьми. По-видимому, он не врет. Телок — он бы правду сказал. В нем ко мне страха нет, а лгут, только когда боятся...»

Когда Витька уснул, Прохор полил его бензином, подвинул к кровати стул, положил на стул спички и папиросы, раскрыл коробок и, достав из шкафа пиджак, долго смачивал его бензином. Потом выбросил в мусоропровод стаканы, из которых они пили, и бутылку. Осторожно заглянул во двор. Там было пусто. Быстро чиркнув спичкой, он бросил ее на Витьку. Туго вспыхнуло синее пламя. Прохор осторожно высунулся из квартиры и по-кошачьи тихо бросился вниз. Согнувшись, приволакивая ногу, он медленно вышел на улицу, пересек ее и сел в первый проходящий троллейбус.
«Нет Витеньки, — подумал он, — сгорел мальчик. А с ним и Тарасовка моя сгорела. Один свидетель у меня был, кроме бога. А бог простит, он свой, собственный...»

Сударь прогуливался на условленном месте. Прохора не было.
«Вот старая сволочь! — думал он. — Если не придет, на дело не пойду. Без марафета какое, к чертям собачьим, дело? А может, он у профессора есть? У всех врачей он должен быть. Картины картинами, а грамм бы наркотика, а?» Он даже улыбнулся, когда представил себе, как в тумбочке, обязательно в тумбочке, где-нибудь в профессорской спальне, найдет белую бумажку, свернутую пакетиком.
«Возьму такси, скажу — на курорт. Пятерку в зубы — что он, в чемоданы лезть будет?»
Сударь снова посмотрел на часы: Прохор опаздывал уже на полчаса.
«Через час там будет маячить Чита. Ладно. Пойду без Витьки. А марафет там обязательно будет».

Он остановил такси и сказал шоферу:

— Слушай, приятель, у тебя часа два есть?

— У меня не два. У меня двадцать четыре часа есть.

— Тогда славно. Я, понял, сегодня на море мотаю. Надо за шмотками к себе заехать, а потом — к брату.

Сударь достал пять рублей и протянул их шоферу.

— Держи. Поехали в Грохольский, там меня братан ждет.

— Поехали, — согласился шофер и включил счетчик.

Профессор

Профессор Гальяновский сидел около окна и курил. Он очень медленно курил, и каждая затяжка пожирала заметную часть сигареты. Сигареты были очень крепкие и вкусные: позавчера профессор был на приеме у итальянцев и привез оттуда подарок — две пачки каких-то особых сигарет, сделанных по абиссинскому рецепту. Итальянцы хорошо знали профессора, потому что он несколько раз выступал с докладами в Риме и Неаполе. Он был почетным академиком Итальянской академии и бывал в Италии раза по два в году. Они, в посольстве, знали его страсть к крепким сигаретам и обязательно каждый раз готовили в подарок что-нибудь диковинное и новое.

Выкурив первую сигарету, профессор сразу же закурил вторую. Он сидел, нахохлившись, здоровый, апоплексически красный, с огромными, сильными руками. Седой пушок на затылке, детский, очень какой-то нежный, не вязался со всем его обликом, по-мужицки кряжистым и суровым.

Он сейчас ни о чем не думал. Просто курил, уставившись в одну точку. Он не мог думать, ему сейчас было очень больно думать, просто даже никак нельзя ему сейчас было думать, потому что вчера у него под ножом умер его старинный друг, большой советский работник.

Они дружили давно, когда еще жили в эмиграции в Женеве, после того как вместе бежали из архангельской ссылки.

Два раза профессор спасал друга от тяжелых инфарктов и вчера, начав операцию и увидев сердце друга — все в шрамах, больное и изношенное, доброе сердце боль-

шого человека, — он все-таки верил в победу над смертью.

Сердце было выключено, вместо него работало искусственное сердце — умный металлический аппарат, который гонит кровь. Профессор зашил рубцы, он обновил сердце друга, он сделал чудо. Но когда отключили искусственное сердце, настоящее не заработало, устав за долгие десятилетия борьбы, горя и радости.

Профессор снова подключил аппарат, и снова оперировал, и снова делал чудо, но человек не всегда может одолеть смерть, этот неумолимый процесс распада материи.

Прозвенел звонок. Профессор тяжело поднялся и пошел в переднюю. Он не стал спрашивать, кто пришел. Он распахнул дверь и увидел тетю Машу, женщину, которая обычно убирала его квартиру. И еще он увидел парня, выходящего из лифта.

Парень был с чемоданчиком, который обычно носят слесари.

— Вы ко мне? — спросил профессор.

— Нет, — ответил парень, — к вам попозже.

И начал спускаться вниз.

— Поскорее у меня убирайся, Машенька, — попросил профессор, — и иди домой.

Сударь, приникнув к двери, слышал эти слова. Он хрустнул пальцами и пошел вниз, сморщив лицо. Жажда впрыснуть наркотик делалась все ужаснее.

«Поеду к скрипачу, — решил он. — Какая разница, в конце концов, кто из них будет первым?»

— Братан ключа не оставил, — сказал он шоферу, — жмем к маме.

— К какой? — усмехнулся шофер.

— К той самой, — ответил Сударь. — Которая в Кисловском переулке.

Он сдерживался, чтобы отвечать спокойно. Все в нем сейчас буквально и вопило и бушевало: «Наркотика, наркотика!»

Он сжимал и разжимал кулаки, очень медленно, сдерживая себя, что есть силы сдерживая. Он уже знал: чтобы не сорваться на мелочи, надо очень сдерживать себя и повторять: «Я не хочу марафета! Я не хочу марафета! Я не хочу марафета!» И сквозь это заклинание он стал постепенно вспоминать о Чите: «Где он? Хотя еще

рано. Он должен быть здесь через час. Я бы подождал его в квартире. А сейчас? Сейчас я возьму у скрипача только его скрипку, и не буду брать больше ничего, и вернусь сюда. Он как раз будет здесь. Так? Так. Я не хочу наркотика...»

Чита сдался

— Больше ничего не было, — сказал Чита и вытер со лба пот. — Это все.

— Все? — спросил Костенко. — А ты еще забыл о пистолете.

— Пистолет... Да, это я действительно забыл. Я купил его на Казанском вокзале. Его продавал мальчишка в кепочке.

Сейчас Чита говорил четко, подобострастно глядя на оперативников, все время кивая головой. Каждой фразе он помогал руками. Они у него летали, будто у иллюзиониста. Он описывал ими полукруги, хватался за щеки; рассказывая, как он переживал случившееся, он закрывал руками глаза, когда хотел показать всю глубину раскаяния. Паузы он использовал в оборонительных целях: придумывал главные ответы на те главные вопросы, которые еще предстоят.

Садчиков не мешал ему. Он делал маленькие карандашные пометки на большом листе бумаги, Костенко писал протокол, а Росляков сидел на подоконнике и болтал ногами.

Роли у них были распределены. Костенко просто пишет, Росляков наблюдает за Читой, рисует его психологический портрет, следит за каждым нюансом его голоса, за каждым его жестом. А Садчиков отмечает все те противоречия, которые незаметны лгущему человеку, причем лгущему не подготовленно, а экспромтом. Ими, этими противоречиями, завтра или послезавтра предложив Чите рассказать все заново, он изобличит ложь. Только не надо торопиться или перебивать. Пусть говорит. Он сейчас в «форме», он верит тому, что говорит, он сейчас весь в своей «легенде», по которой ограбления скупки и кассы выглядят как печальные недоразумения, следствие мальчишеских шалостей, глупость, сущая глупость, а никак не преднамеренное и обдуманное преступление. С этим все кончено, они с Сударем не могли себе найти места

от стыда и раскаяния, они даже думали прийти и покаяться, попросить, чтобы их простили и отправили на трудную работу, нужную Родине. Что, разве они не понимают? Они все понимают и больше никаких преступлений не замышляли.

— Где Сударь? — спросил Садчиков. — Он ж-ждет тебя и волнуется? Г-где он?

Чита не успел ответить, потому что раздался телефонный звонок. Садчиков снял трубку. Говорил дежурный по управлению.

— Вас интересовали шоферы по имени Виктор, товарищ майор?

— Оч-чень.

— Так вот, сейчас пожарники затушили очаг... Там обгоревший наполовину труп. Шофер Виктор Панкин. Его на вскрытие сейчас увезут, вам посмотреть не надо?

— Н-надо. Благодарю вас. Подсылайте, пожалуйста, машину.

Садчиков задумчиво посмотрел на Читу и спросил его:

— Т-ты еще забыл нам рассказать про Витьку.

— Про какого Витьку?

— К-который катал вас.

— Нас никто не катал, что вы!..

— Так уж и никто?

— Конечно, никто.

— Ладно. Поедем, сейчас покажем тебе Витьку.

— Какого?

— Увидишь.

— Может быть, я его, конечно, и знаю, только...

— Ч-что «только»?

— Нет, ничего... Знаете, много всяких знакомых... Он меня знает, а я его нет.

— Хватит лгать, — сказал Росляков. — Вам так труднее. Игра ваша проиграна, так уж нечего вертеться. Говорите все, вам же будет легче, мозгу отдых дадите. А вы вроде конферансье — мелете, мелете чепуху, а нам что, смеяться? Не смешно.

— Т-ты боишься покойников, Ч-чита? — спросил Садчиков.

— А что? Почему вы меня спрашиваете про это? Зачем покойники?

— Ин-нтересуюсь...

— Не надо, — сказал Чита, — зачем вы говорите про это? Я никогда не убивал, мы никого не убивали...

— Ты за Суд-даря можешь поручиться?

— Да, да, только вы меня так не пугайте...

— Поехали, — сказал Садчиков.

— Куда? — побледнел Чита. — Куда вы меня увозите? Должен быть суд! Куда вы меня хотите увезти?! Скажите, куда?!

— Да т-ты истеричка, оказывается, — сказал Садчиков. — Вставай!

— Хорошо, х-хорошо, — быстро ответил Чита, — с-сейчас.

— Снов-ва дразнишься? — рассердился Садчиков. — С-смотри у меня!

— Я не дразнюсь.

Встать он не мог, потому что ослабли ноги.

«Труп. Какой труп? Почему они говорят про труп? Может быть, я труп? Ой! Убьют! Они везут меня убивать...»

— Я не поеду! — вдруг тонко завопил он. — Никуда не поеду!

Костенко запер протокол в сейф, шагнул к двери и сказал:

— Поедешь.

Первым в комнату вошли Садчиков и Костенко. Чита и Росляков стояли в коридоре вместе с понятыми.

Садчиков увидел обгорелый труп, желтые пятки и ослепительно белые зубы на обугленном лице.

— Ч-что? — спросил Садчиков эксперта.

Тот сказал:

— Сейчас пошли копаться в мусоропроводе. Он был открыт, мусоропровод. Мне кажется, здесь убийство. С симуляцией несчастного случая.

— Почему вы так думаете? — спросил Костенко. — Напился до чертиков и сгорел.

— Нет. Ваши люди обыскали его машину, там путевой лист, он помечен тремя часами. А сгорел он в четыре. За час трудно напиться до такого состояния.

— Г-где наши люди?

— Они ходят по квартирам, ищут возможных свидетелей.

Садчиков обернулся к Костенко и сказал:
— Веди Читу.

Он вошел, увидел обгорелый труп Виктора и привалился к косяку, чтобы не упасть. Потом он почувствовал тошноту и закрыл глаза. Все в нем похолодело, оборвалось, и завертелось что-то в голове, и зубы сцепились в дрожи.

— Ну, — сказал Садчиков, — ваша р-работа?

Чита помотал головой. Говорить он не мог.

— Алиби представишь?

— Да, — прошептал Чита.

— За себя?

— Да.

— А за Сударя? Ты же за обоих в-все время говорил. Ну, где он? Или это в-ваша общая работа?

— Нет.

«Зверь, — подумал Чита. — Это он. Это только он один мог сделать. И со мной тоже. С кем угодно. Зверь...»

— Скорее, — сказал Чита, — только скорее езжайте. Или на Грохольском, у профессора Гальяновского, или у скрипача, в Кисловском. Скорее. Только скорее.

— Когда у вас б-было в-все д-договорено?

— А сколько сейчас?

— Шесть.

— На пять. Мы условились на пять.

— Что ж-же ты молчал, с-сволочь?! — тихо сказал Садчиков. — Слава, Валя — по адресам!

— А люди?

— Не успеете дождаться. Я в-вызову л-людей туда, прямо на места по телефону. Скорей, р-ребята, к-как можно скорей!

Скрипач и Сударь

Друзья звали скрипача странным именем Кока. Никто не знал, откуда это имя к нему пришло. И сам скрипач не знал этого, хотя пытался докопаться до самой сути — он был человеком аналитического склада ума и во всяком явлении силился распознать закономерность.

— Кока, — сказал администратор Арон Маркович, — и все-таки вам придется поехать в Томск.

— Боже мой, но ведь у меня уже почти начался отпуск!

— Тем не менее.

Кока сел в кресло и, закурив, принялся насвистывать песенку. Арон Маркович кружился вокруг него и пытался даже подсвистывать, хотя слухом его бог обидел.

— Когда брать билет, Кока?

— Я никуда не поеду.

— Это не объяснение для филармонии.

— У меня болят ноги.

— Для них это тоже не объяснение.

— Для «них» — это значит для вас, Арончик.

— Для меня! Какое я имею отношение к тем бандитам, какое?!

— Непосредственное. Вы у них служите.

— Я нигде не служу. Я работаю.

— Помните, у Ильфа и Петрова: «Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины»?

— Ах, Кока, перестаньте!

— Арон, хотите я вам расскажу новый анекдот?

— Вы с ума сошли! — замахал руками администратор. Он еще со старых времен боялся анекдотов. — Какой еще анекдот?! Я не знаю никаких анекдотов и знать не хочу! Когда вы летите — вот что я хочу знать.

— Никогда! — ответил Кока звенящим голосом. — Ни за что! Я завтра скажу моим ученикам, чтобы они бежали из консерватории. Бежали со всех ног. Артисты! Ах, жизнь артиста! Фраки, манишки, овации, медали, репортеры! Тьфу! Пропади все это пропадом! Хочу быть бухгалтером! Иметь свой отпуск, считать дивиденды и ни о чем больше не думать! Десять часов каждодневных репетиций, бесконечные поездки, жизнь бродячего циркача! Я живу дома месяц в год, Арон!

— Хорошо, — сказал Арон Маркович, — я постараюсь устроить вас счетоводом.

— При чем здесь счетовод?!

— Вы же сами хотели быть бухгалтером. Вы только что сказали мне об этом.

— Мало ли что я сказал! А что, если я попрошу у вас должность президента Боливии?

— Трудновато, но, может быть, выхлопочу.

— Вы прекрасный человек, Арон.

— Я знаю...

— Вы негодяй.

— Это я тоже знаю. Когда вы едете?

— Никогда.

— Поедете, Кока. Иначе ваша теория страдания слишком резко разойдется с практикой жизни.

Это было больное место Коки. Он считал, что главный стержень искусства — страдание. Радость вызывает смех, страдание — слезы. Радость и благоденствие порождают хорошее настроение, страдание создает Достоевского, Баха, Стендаля, Хемингуэя. К этой своей теории скрипач относился трепетно и отстаивал ее в жарких спорах до последней возможности.

— Кто-то звонит, — сказал Арон Маркович.

— Это пришли.

— Я открою.

— Спасибо.

Арон Маркович подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Слесарь.

— Слесарь, — крикнул Арон Маркович, — вы просили слесаря, Кока?

— Нет.

— А что вам надо, слесарь? — спросил Арон Маркович, все еще не открывая двери.

— Проверка. Если вы заняты, я попозже зайду.

— Он зайдет попозже, Кока.

— Откройте же дверь, Арон, это неудобно, там человек стоит.

Арон Маркович открыл дверь. На пороге стоял Сударь. Он осторожно переступил порог, судорожно вздохнул и сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Мне бы кухню посмотреть. Только если вы заняты, я могу попозже.

Кока крикнул из комнаты:

— Вы долго будете?

— Минут десять.

— Тогда пожалуйста.

Кока достал из футляра скрипку и стал играть Брамса, расхаживая по комнате. Слесарь начал стучать чем-то металлическим, и Кока поморщился, потому что металлические звуки ложились на Брамса и делали музыку

страшной — словно из фильма кошмаров. Кока перестал играть и крикнул:

— Арон, где вы?

Администратор вошел в комнату.

— Поезжайте и заказывайте билет на завтра, — сказал Кока, — и одновременно закажите Симферополь, я из Томска улечу работать в деревню. К морю.

— Я же знал. Вы добрая и обязательная умница.

— Когда вы вернетесь?

— Через час.

— Хорошо. Я пока поработаю.

Арон Маркович улыбнулся, посмотрел на Коку своими близорукими глазами, тронул Коку за плечо и, ступая на цыпочках, пошел к двери. Кока снова начал играть Брамса. Дверь хлопнула, Арон Маркович ушел. В квартире остались два человека: скрипач и убийца.

Плохо с Ленькой

К оперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры.

— Послушайте, — сказал он, — я второй день ищу Садчикова или кого-нибудь из его группы.

— Они все на происшествии.

— Я понимаю. С делом ознакомился, я ж к их делу подключен.

— Ясно.

— Вам ясно, а мне не совсем. Вы знакомы со всеми обстоятельствами?

— Знаком.

— У меня тут один щекотливый вопрос. То вы нам покоя не даете, требуете постановление на арест, а то — в данном случае — преступник разгуливает на свободе и даже, видите ли, экзамены сдает.

— Это вы о ком?

— О Самсонове.

— Так он же мальчишка.

— Семнадцать лет — мальчишка? Я в семнадцать лет руководил раскулачиванием, дорогой товарищ... Очень это все мне странно. Папашу ответственного боитесь, что ли? Брать его надо, этого сыночка. Барчук, зажрался, на уголовщину потянуло, нервы пощекотать...

— Это что, Садчикову передать?

— Да уж, конечно, не скрывайте.

— Ладно. Передам. У вас все?

— Вообще-то да. Вот только, может быть, у вас там парочка билетов на завтрашний «Спартак» осталась? Я тут с ног сбился...

— Присылайте кого-нибудь, у нас еще есть.

— Ну, спасибо большое. Счастливо вам. Сейчас пришлю. Пока.

— Пока.

Дежурный вздохнул и полез за папиросами.

«Жаль мальчишку, — подумал он, закуривая. — Кто в камере ночь посидел, у того седина на год раньше появится. Эх, глупость людская!»

Администратор волнуется

Арон Маркович стоял на остановке троллейбуса и чувствовал, как в нем росла непонятная тревога. Он не мог понять, отчего это происходило. Сев в пятый троллейбус, который шел к центру, он подумал: «Это, верно, к сердечной спазме. Погода меняется».

Устроившись у окна, Арон Маркович откинулся на спинку жесткого сиденья и положил ногу на ногу. Закрыл глаза и потер веки. И вдруг с поразительной четкостью, словно на линогравюре, увидел лицо человека. Оно было зеленым из-за того, что он тер веки. Зеленым, четким и жутким.

«Кто это?! — ужаснулся Арон Маркович. — Какой ужас, боже мой!»

Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что лицо это принадлежало слесарю, который пришел к Коке.

— Остановите троллейбус! — крикнул Арон Маркович и побежал к выходу, расталкивая пассажиров острыми локтями. — Товарищ водитель, остановите машину, товарищ водитель!

— Вы что, гражданин? — сказал водитель, не оборачиваясь. — Как же я его остановлю, если остановки нет?

— Послушайте, меня надо выпустить, мне надо немедленно вернуться!

— Да не кричите вы! — рассердился водитель. — Будет остановка — и выйдете. Нечего панику пороть. Не на пожар!

— Какой вы черствый человек, — сказал Арон Маркович, — а там за это время может случиться ужас!

«А может быть, это я оттого, что меняется погода? — снова подумал Арон Маркович. — Может быть, я сам себя пугаю?»

Но он все время видел лицо слесаря, его пустые, совершенно белые глаза без зрачков и длинные руки, чуть не до колен.

Когда троллейбус остановился, Арон Маркович выскочил на тротуар и побежал к стоянке такси. Там была очередь.

— Товарищи! — взмолился он. — Я умоляю вас, дайте мне такси!

— А пряника хотите? — спросил парень в спортивном свитере.

— Как вам не совестно, как?! — сказал Арон Маркович. — Люди, скажите, чтобы он пустил меня в машину! Может произойти преступление, если я не вернусь к нему!

— Куда? К кому? — посыпалось со всех сторон.

— К Коке.

Парень в свитере засмеялся.

— Ничего с вашим Кокой не будет.

Остановилось такси. Парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером. Тогда Арон Маркович сел на заднее сиденье и сказал:

— Я из такси не уйду.

— Гражданин, — попросил шофер, — выйдите по-хорошему.

— Нет.

— Папаша, ты что, белены объелся? — спросил парень.

— Я из машины не выйду.

Люди в очереди стали говорить:

— Смотрите, он весь белый, этот старик.

— Ему плохо!

— Пустите его, молодой человек!

— Как вам не совестно, юноша!

Парень обернулся и спросил:

— Куда вам?

— Здесь, рядом, на площади.

— Подвезите его, — сказал парень, — а то он трехнутый какой-то.

В Тарасовке

Футболист Алик кончил шнуровать бутсы и, встав с лавки, принялся неторопливо и сосредоточенно разминаться. В минуты, предшествовавшие матчу, он отключался от всего его окружавшего и думал только об одном — о том, как через пятнадцать минут на поле начнется игра.

В коридоре что-то кричали. Доносились слова: «Панкин Витька сгорел! Сгорел! Панкин! Витька!»

Алик сначала не хотел думать об этих словах, ему сейчас важно было как следует размяться, чтобы выйти на поле подтянутым, чтобы тело было послушным его воле, чтобы дыхание установилось заранее, четкое и ритмичное.

«Витька сгорел! Панкин-то сгорел!»

Алик подумал: «Наверное, Любка вернулась и его с кем-нибудь застукала. Любка — девка с норовом, значит, он сгорел крупно. Ну и дурак. Если уж шустрить, так надо умело...»

— Лицо черное, говорят, бензином облился и поджег себя! — кричал кто-то быстро, глотая слова.

Алик перестал прыгать через скакалочку и вышел в коридор.

— Слышь, — сказал массажист Коля, — Витька Панкин сгорел.

— Это как?

— Бензином облился и сгорел.

— Ты ерунду не мели. Я его перед отъездом видел, два часа тому назад.

— Что, я шучу? Сам видел, милиция понаехала, тьма, да и только.

— Не может быть... Там у него дед был. Он еще со мной вместе сюда ехал на электричке.

— Какой дед?

— Старичок у него сидел, ему еще Витька бензин тащил, брюки чистить.

— Нет у Витьки никакого деда.

— Да он не его дед. Он просто дед. Старый, понимаешь? А Витька в больнице?

— Да он мертвый, чего его в больницу везти...

— Иди ты...

— Точно.

— Слушай, Коля, может, мне в милицию позвонить, а? Про деда сказать, а?

— Очень им твой дед нужен.

— А ты откуда знаешь?

— Чего он знает-то, дед? Сам говоришь — старый.

— Так он у него еще оставался...

— Откуда ты знаешь? Эх, Витька, Витька, прямо не верится.

Вошел тренер и закричал:

— Вы что, с ума все здесь посходили? На поле разминка началась! А ну, быстро!

Успел

Сударь вошел в кабинет скрипача, зажав в правой руке молоток.

— У вас лесенки нет? — спросил он тихо.

Кока перестал играть, вопросительно посмотрел на него и переспросил:

— Лесенки? А зачем, собственно?

— Трубы посмотреть хочу.

— Ах, трубы... Хорошо... Вы взгляните в ванной комнате, там, кажется, есть некоторое подобие лестницы. Кстати, вы хотите покушать? В холодильнике есть пирожки и бульон, подогрейте себе.

— Что?

— Я говорю, что в холодильнике есть пирожки и бульон. Если вы хотите перекусить — милости прошу.

— Потом.

— Пожалуйста.

— Вы мне покажите в ванной, где она, лесенка эта самая...

— Да вы увидите сами.

— Неудобно без хозяина.

— Что за глупость, боже мой! Вы же рабочий человек, а не древняя бабушка.

— Нет, вы лучше сами.

Кока положил скрипку на стол, рядом с ней положил смычок и пошел в ванную комнату. Следом за ним — Сударь. И в тот момент, когда скрипач нагнулся, чтобы вытащить из-под раковины металлическую складную лесенку, а Сударь медленно поднял руку, чтобы разбить

молотком голову нагнувшегося человека, в прихожей заверещал звонок.

Сударь весь обмяк, на лбу выступила испарина, пальцы разжались, и молоток упал на пол, глухо брякнув. Разбилась кафельная плитка. Скрипач поднял голову и попросил:

— Откройте дверь, будьте любезны.

— А кто там?

— Молочница. Она всегда приходит в это время.

Сударь подошел к двери и спросил:

— Кто?

— Это я, Арон Маркович.

Сударь отпер дверь. Администратор увидел его, отступил на шаг и прошептал:

— Где Кока?

— Вас зовут! — обернулся Сударь, чувствуя, как у него прыгает лицо, и испарина катится по лбу, и руки трясутся, и нога выбивает быстрый, судорожный такт.

Кока вышел из ванной, держа лесенку на вытянутых руках.

— Она пыльная, — сказал он, — сейчас мы найдем тряпку. Почему вы так стремительно вернулись, Арончик?

— Я?

— Нет, вы, — улыбнулся он.

— Заболело сердце, Кокочка, простите бога ради старика. И вы меня, товарищ слесарь, простите...

Арон Маркович близко заглянул в лицо Сударя, и тот увидел ужас, спрятанный где-то в самой глубине стариковских маленьких глаз.

— Я сейчас, — сказал Сударь, — я вернусь через полчаса, мне в контору надо.

— Перекусите, — снова предложил скрипач.

— После, когда вернусь.

— Хорошо. Я еще побуду дома с часок.

Сударь нажал кнопку вызова лифта, но не смог дождаться, пока придет кабина, потому что все в нем дрожало от нетерпения. Он бросился вниз, перепрыгивая через три ступени. Таксист, стоявший у подъезда, ходил около машины, свирепый и молчаливый. Он с силой захлопнул дверь и сказал:

— Снова без чемоданов? Теперь мамы нет?

— Что, денег тебе мало? — спросил Сударь. — Мы еще

только на трешницу наездили, а ты от меня пятерку получил. Давай обратно, там, где были.

— Помню я, где мы были...

— Гони, я напомню...

Росляков позвонил в дверь. Арон Маркович спросил:

— Кто там?

— Из домоуправления.

— У нас только что были из домоуправления.

— Откройте, — сказал Росляков тихо, — хотя бы на цепочке.

Арон Маркович открыл дверь. Валя уперся в нее коленом, чтобы тот не захлопнул, и показал свое удостоверение.

— Я из угрозыска. У вас сейчас никто не был?

— Только что ушел слесарь, — шепотом ответил Арон Маркович.

— Откройте, пожалуйста, дверь, — попросил Росляков.

— Откройте же дверь! — крикнул Кока. — Старый конспиратор, Арон! Вы боитесь собственной тени.

Росляков вошел в квартиру и спросил:

— Он высокий, этот слесарь?

— Да.

— Черный?

— Да.

— В босоножках и в красной тенниске?

— Да.

— Можно позвонить?

— Конечно.

Росляков снял трубку, набрал номер и попросил:

— Наши люди должны выехать из управления. Ваше отделение рядом. Подошлите сюда срочно оперативников. Да. Это Росляков. Да. Он уже здесь был.

Арон Маркович спросил:

— Кто «он»? Слесарь?

— Какой он к черту слесарь! Убийца.

Арон Маркович сел на табурет, жалко улыбнулся и сказал:

— Кока, налейте мне валокордина. Я же говорил...

— Что вы говорили?

— Ах, это не вам... Это я говорил юноше в такси, а он не верил...

Самый верхний

Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор. Он даже не подходил, а, правильнее сказать, подбегал, потому что такси он найти не смог, а если бы и нашел, то вряд ли уговорил бы шофера везти его в долг, без денег. Костенко думал, что Сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая Читу. Но около дома никого не было, он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был большой обзор. Когда он начал переходить улицу, около подъезда, в десяти шагах перед ним, заскрипела тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел Сударь. Костенко пошел следом за ним.

— Погодите, товарищ, — сказал он, — я тоже наверх.

Сударь пропустил его и спросил:

— Вам какой?

— Самый верхний.

Сударь закрыл дверь и нажал кнопку пятого этажа. Лифт медленно пополз вверх. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет. Пять раз солнце врывалось в кабину, и пять раз наступал тюремный сумрак.

На пятом этаже кабина остановилась, и Костенко увидел на площадке дверь. Эта дверь была прямо перед дверью лифта. На двери была прибита планка: «Академик Гальяновский».

Сударь вышел и, не оглядываясь, захлопнул за собой дверь. Костенко отпер дверь и, быстро достав пистолет, тронул им Сударя.

— Тихо, — сказал он. — Руки в гору.

Сударь обернулся, будто взвинченный штопором. Он полез в задний карман брюк. Костенко понял — пистолет. Тогда, быстро размахнувшись, он ударил Сударя рукояткой своего «макарова». Он ударил его по голове так, чтобы оглушить. Сударь прислонился к стене, и руки у него обвисли. Костенко достал из заднего кармана его брюк пистолет, сунул себе за пояс и сказал:

— Подними чемодан.

Сударь открыл глаза и сонно посмотрел на Костенко.

— Не надо, Сударь, — так же тихо сказал Костенко, — не пройдут номера. Поднимай барахло.

Сударь поднял чемоданчик. Костенко открыл дверь лифта и пропустил туда Сударя. Нащупав рукой ручку, не поворачивая головы, захлопнул дверцу.

Нажал кнопку первого этажа, но вместо того, чтобы кабине пойти вниз, длинно и зловеще затрещал звонок тревоги. От неожиданности Сударь подался вперед. Костенко уперся пистолетом ему в живот и сказал:

— Пристрелю.

Не отводя глаз от лица Сударя, он перевел руку выше и снова нажал кнопку. Кабина пошла вниз. Из темноты пролета она спустилась к окну, и желтое солнце хлынуло в кабину стремительно и ослепляюще ярко.

«Сейчас может начаться, — подумал Костенко. — Сейчас он может кинуться на меня, потому что я слеп из-за солнца».

Он сжал пистолет еще крепче и упер локоть в ребра.

Снова наступила темнота. Лицо Сударя выплыло, как изображение на фотобумаге, когда ее опускаешь в проявитель. Его лицо казалось Костенко смазанным, словно снятым при плохом фокусе.

«Сейчас снова будет солнце, — подумал он, — и еще три раза потом будет солнце, черт его задери совсем...»

— Убери пистолет,— попросил Сударь,— ребру больно.

— Потерпишь.

— Убери. Я гражданин, я требую.

— Ты у кого-нибудь требуй. У меня просить надо.

«Еще два раза я буду слепым. Потом надо будет выводить его. Мне нельзя поворачиваться спиной. Ага, я заставлю его обойти меня. Нет, нельзя. Он решит, что я боюсь, и начнет драку. Стрелять мне нельзя, а он здоровее, сволочь».

Все. Стоп. Лифт, подпрыгнув, остановился.

Дверь распахнулась сама по себе.

«Неужели его человек?! — пронеслось в мозгу у Костенко. — Оборачиваться нельзя!»

— Успел! — крикнул Росляков. — Это я, Славка!

Костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад.

— Давай топай, милорд, — сказал Костенко, — быстренько...

В кабинете Садчикова после обыска Костенко предъявил Сударю постановление на арест. Тот внимательно прочитал все, что там было написано, осторожно положил бумагу на краешек стола и сказал:

— Никаких показаний давать не буду, подписывать тоже ничего не буду. Если хотите со мной поговорить, дайте марафета. Я иначе не человек.

— Никакого наркотика ты не получишь, — сказал Костенко. — Это раз. Подписи нам твои не нужны. Это два. И показания — тоже. Это три. Понял?

— Ты меня на пушку не бери, я сын почетного чекиста.

— Ты сын подлеца, запомни это, и никогда впредь не смей называть своего отца чекистом. Он им не был.

— Я вызову сюда прокурора.

— Не ты, а я вызову сюда прокурора.

— Какое имеешь право называть меня на «ты»?!

— Хам!

— Я требую прокурора! Прокурора! Марафета! Прокурора! Марафета!

Сударя прорвало — началась истерика.

Когда Садчикову рассказали про звонок из прокуратуры о том, чтобы взять под стражу Леньку Самсонова, он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка.

— Перестраховщики, — сказал он. — Ни ч-черта не понимают!

Позвонил в прокуратуру.

— Послушайте, это С-садчиков говорит. Почему вы с-считаете нужным арестовать Самсонова?

— Потому что это вооруженное ограбление кассы.

— Х-хорошо, но при чем з-здесь Самсонов?

— Он был там с бандой.

— Н-ну, был. По глупости.

— Вот вы и докажите, что это глупость. И пререкания тут излишни.

— Эт-то не пререкания, поймите. П-парня мы погубим, если его п-посадить. Он же верил нам.

Следователь прокуратуры был старым и опытным работником. Он знал, что лучше и безопаснее перегнуть палку, чем недогнуть ее. Так он считал и ни разу за всю свою многолетнюю практику не ошибался. Так ему казалось, во всяком случае. И не важна степень тяжести преступления — наказуемое обязано быть наказано. А что принесет наказание — гибель человеку или спасение, —

это уже другое дело, к букве закона прямо не относящееся.

— Товарищ Садчиков, — сказал следователь, — мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. Они написаны для того, чтобы их неукоснительно исполнять.

— З-законы написаны для того, чтобы их и-исполнять, это верно, — ответил Садчиков, — но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении человека.

— Вы мне передовиц не цитируйте, я газеты сам читаю. Выполняйте мое предписание, а там разберемся.

— Б-будет поздно потом разбираться.

— Разобраться никогда не поздно.

— Д-до свиданья.

— Пока. Когда вы его возьмете?

— Н-не знаю.

— Я сейчас же позвоню к комиссару.

— В-валяйте.

Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался. И потом быстро поднялся и побежал на второй этаж — к комиссару.

Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки. Он дымил папиросой, слушал сосредоточенно, хмуро и лишь изредка повторял· «Ну, ну, ну.. » Починив зажигалку, он перехватил трубку рукой и, перебив своего собеседника, сказал:

— Ерунду вы, милый мой, порете. Даже мне странно от вас это слышать. Ладно, хорошо, посадим Леньку, успокойтесь, только я в данном случае согласен с Садчиковым, а не с вами и завтра же буду говорить с прокурором.

Комиссар посмотрел на календарь, увидел, что завтра воскресенье, и поморщился. Записал что-то красным карандашом на листке, следующем за воскресеньем, продолжая повторять свое: «Ну, ну, ну...»

Потом взорвался:

— Да при чем здесь либерализм? При чем здесь ответственный папаша? Я б папашу с мамашей посадил, а не его! Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился! Ладно, хорошо, мы попусту тратим время. Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с

Садчиковым и в понедельник буду драться. Вот так. Все.

Положил трубку, поднял голову, хмуро посмотрел на Садчикова и сказал:

— Придется его забирать. Ничего, посидит недельку, а там отобьем.

— Т-товарищ комиссар...

— Ну?

— Это ошибка...

— Пожалуй, что так.

— Неужели нельзя связаться с прокурором города?

— Его нет, я уже звонил.

— З-заместитель?

— Он тоже на совещании.

— Н-но вы в понедельник действительно будете за него драться?

— Боксерские перчатки приготовь.

— Товарищ комиссар...

— Ты меня не обхаживай, Садчиков, я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивай все с Читой и Сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы.

— М-может, подождем с Ленькой до понедельника?

— Садчиков, я повторил тебе уже три раза — выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут мылить, а не тебе. Так или не так?

— Так.

— Ну и топай. А потом отоспись, на тебе лица нет.

— Машину можно вызвать?

— Зачем?

— Леньку взять.

— Что у тебя, оперативных нет?

— Я за ним на оперативной не поеду.

— Психолог.

— П-приходится.

— Что, открытую «Чайку» прикажешь подать? Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а? Дам тебе «Волгу» и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл.

— Прошу р-разъяснить.

— У самого зубы есть — поймешь, если понять хочешь.

Садчиков улыбнулся и спросил:

— Р-разрешите идти, товарищ к-комиссар?

— Р-разрешаю, — снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом.

Успокоившись после истерики, Сударь поудобнее уселся на стуле и спросил:

— Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать?

— Вам документы показать, или, быть может, поверите на слово?

— Москва словам не верит.

— Это что, вы — Москва?

Росляков засмеялся, а Костенко сказал:

— Ну, извини.

— Моя фамилия Росляков, я старший оперативный уполномоченный.

— Я Костенко.

— Звучит, прямо скажем, грозно. Только Костенко — не Олег Попов, мне бы еще и должность.

— Начальник балетной школы.

— Странно. Начальник — и вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я.

Садчиков изучающе разглядывал Сударя. Потом весело спросил:

— Ну, в м-молчанку играть долго будем?

— До конца.

— Это к-как понимать?

— Как угодно.

— С Читой хочешь повидаться?

— Не знаю никакого Читы.

— Н-надо говорить «никакую», чудачок, — усмехнулся Садчиков. — Откуда ты знаешь, что Чита — мужик, а не мартышка?

— По наитию определил.

— В-веселый ты парень. За что Витьку убил?

— Что?

— Л-ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты у-убил Витьку?

— Да я никакого Витьки не знаю.

— Панкина не знаешь?

— Не знаю.

— Ш-шофера не знаешь?

— Не знаю.

— А чемодан твой поч-чему у него в пикапе лежал?

— Вот спасибо родной милиции! У меня как раз неделю назад чемодан сперли.

— Ж-жулики?

— А кто ж еще! Плохо вы с ними боретесь. Кривая преступности ползет вверх. Стыдно, милиция, стыдно. А невинных берете.

— Невинный — это ты?

— Я.

Костенко сказал:

— Ну, извини.

— Я-то, может, извиню, а прокурор вас по головке не погладит.

Росляков отпер шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у Сударя во время обыска. Слепок следа возле убитого милиционера Копытова был явно с этих ботинок.

— Это ваши? — спросил Валя.

Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но Садчиков заметил что-то стремительно быстрое, пронесшееся у него в глазах.

— Что же вы молчите?

— Т-ты отвечай, Сударь.

— Нет, вроде бы не мои, — сказал Сударь, — нет, точно не мои. Я такую обувь не ношу.

— Что, плоскостопие? — поинтересовался Костенко.

— Да.

— Ладно, сделаем экспертизу.

— А зачем ее делать? Мы ведь беседуем, протокола у нас нет...

— Н-ну что ж, з-значит, не будем делать экспертизы. Только ботинки у тебя в квартире изъяты, в присутствии понятых, понимаешь ли...

— У меня к тебе несколько вопросов, — сказал Костенко.

— Да нет, — улыбнулся Сударь, — это у меня к вам один вопрос: на каком основании я арестован? Что за произвол?

— Ага, — сказал Костенко, — произвол, говоришь? Плохо дело. Произвол — это нехорошо. Тогда ступай отдохни в камере.

— Отвечать вам придется, — повторил Сударь, — за невинного отвечать.

— Не то с-слово говоришь. За «невиновного» надо говорить. Н-невинный — это из другой серии.

Росляков вызвал конвой, и те пять минут, пока ждали стражников из КПЗ, все три товарища сидели вокруг Сударя и спокойно разглядывали его. Садчиков — всего его, Костенко — лицо, а Росляков — руки. Сударь глядел на них и улыбался краешком рта. Только левое веко у него дергалось — чуть заметно, очень быстро. А так — спокойно сидел Сударь, совсем спокойно, здорово сидел.

— Завтра с утра побрейся, — посоветовал ему Костенко, — мы тебе парикмахера вызовем. А то из касс опознавать люди придут, из скупки тоже, жена Копытова — старичка милиционера на тебя посмотрит, жена Виктора, которого ты сжег сегодня, — им всем надо посмотреть на тебя.

Сударь раздул ноздри, замотал головой и начал быстро повторять:

— Марафета! Марафета мне! Марафета дайте!

...Костенко и Росляков пошли из управления пешком. Весна сделала город праздничным. Свет в окнах казался иллюминацией. В высоком белом небе загорелись первые звезды.

— Слушай, Слава, давай пойдем в консерваторию, а?

— Ну, давай.

Билетов в кассе не оказалось, на руках купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил:

— А вы, собственно, откуда?

— С Мосгаза, — ответил Росляков, — инженеры.

— Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу.

Когда они вышли на улицу, Росляков чертыхнулся:

— А сказать, что мы из розыска, сразу б дал билеты.

— Контрамарки б дал.

— С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником. Я уже сидел по контрамарке. Два раза сгоняли.

Костенко посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане. Когда Костенко кончал юридический факультет,

Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про него. Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу Садчикова, первый же вор, с которым ему пришлось «работать», сказал:

— Чего вы мне стилягу подсунули? Я фертов не уважаю.

Валя тогда очень рассердился, но себе не изменил: на работу он ходил по-прежнему в неимоверно модном костюме, с ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив и только однажды, когда забирали одного бандита, который оказывал вооруженное сопротивление, он так скрутил ему руку, что тот потерял сознание, а придя в себя, сказал:

— Начальник, вы — ничего себе. В законе. Я вас уважаю за силу.

Это стало известно в уголовном мире, и с тех пор Валю там побаивались:

— Ну, что дальше? — спросил Костенко. — Плакала твоя консерватория.

В управлении знали эту страсть Рослякова. Треть своего оклада он тратил на консерваторию и Зал Чайковского, не пропуская ни одного сколько-нибудь интересного концерта. Началось это у него случайно. Однажды, еще учась в университете, он пошел послушать концерт Евгения Малинина. Тот играл Равеля, Скрябина, Шопена. Сначала Валя сидел в кресле спокойно, но когда Малинин стал играть Равеля, его пьесу о море и утре, об одиночестве на песчаном берегу, когда вокруг никого нет и только далеко-далеко видны рыбацкие сети, черные на белом песке, Валя вдруг перестал чувствовать музыку рядом. Он ощутил ее в себе. И она заставила его видеть все так, словно это происходило наяву, именно сейчас и только с ним одним.

Росляков сидел в кресле напряженно, поджавшись, а когда пианист кончил играть, Валя весь обмяк и ощутил огромную блаженную усталость. А потом был «Революционный этюд» Шопена, и мурашки ползли у Вали по коже, и дышалось ему трудно, потому что стремительной кинолентой шли у него перед глазами видения — его видения, понятные только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа.

— А ты, конечно, хотел бы на «Дядю Ваню»? — спросил Росляков.

Когда люди проработали бок о бок три года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Как-то раз Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли во МХАТ на «Дядю Ваню». Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах было сине, и Костенко казалось, что где-то рядом поет сверчок. «Знаете, — говорил Астров, — когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу...»

Костенко сжал руку жены и подумал: «Это про меня тоже». И потом, когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел во МХАТ на «Дядю Ваню», но только обязательно чтобы с Ливановым, и уходил со спектакля радостным и спокойным, потому что большая мысль всегда добра и спокойна.

— На «Дядю Ваню» идти нет смысла. Там не Ливанов сегодня, — сказал Костенко. — Айда по домам, старик.

— Ну уж это кто куда, — ответил Валя, — я человек молодой и свободный...

Должностное преступление

Садчикова встретила Людмила Аркадьевна.

— Вы оттуда? — спросила она, побледнев.

— Да, оттуда, — ответил Садчиков. — Ленька д-дома?

— Нет, они с отцом на даче.

— А где дача?

— В Звенигороде.

— У р-реки?

— Вам нужен точный адрес?

— Н-нет. Как р-раз наоборот. Мне не нужен адрес, д-да и вы его толком не помните, и п-потом вы больны и поэтому н-не сможете со мной туда проехать, да?

— Я ничего не понимаю...

— Все очень п-просто. Я к вам приехал, мне нужен Л-ленька. Вы запоминайте, что я говорю, с-слышите? А его дома нет, и вы б-больны, а потому не смогли поехать со мной, точного адреса не знаете, да?

— Вы хотите арестовать мальчика?

— Я не х-хочу..

— Но вас заставляют?

— Вы запомнили то, ч-что я вам сказал?

— Да.

— Пойдите выпейте воды...

— Ничего.

— Пойдите выпейте воды, успокойтесь и с-слушайте дальше.

— Я слушаю.

— И н-не вздумайте устраивать каких-нибудь сцен парню.

— Как вы можете так говорить со мной?

— М-могу. Если бы не мог, не говорил. Когда я уйду, попозже вечером возьмите такси и поезжайте в З-звенигород. Скажите Самсонову, но так, ч-чтобы Ленька не слышал: пусть до вторника он будет на даче. Пусть он ни в коем случае не возвращается в М-москву.

— Но у него в понедельник экзамен...

— Вызовите врача — не мне вас учить. Со справкой поезжайте в школу. Ясно?

— Да.

— В понедельник вечером я зайду.

— Боже мой...

— Все б-будет хорошо.

— Боже мой, боже мой...

— Ну, нечего вам, Л-людмила Аркадьевна. Извините меня, но вы сами во в-всем виноваты.

— Я знаю, — тихо ответила женщина.

— Н-неужели такие нужны встряски, чтобы понять?

— Я знаю, — повторила она, — я все сделаю, как вы сказали. Чем я только смогу вас отблагодарить?

— С ума только н-не сходите. До свиданья.

— До свиданья. Спасибо вам. Огромное, великое вам спасибо.

— Да л-ладно, господи, — рассердился Садчиков и пошел вниз, к машине.

Эх, женщины, женщины...

Садчиков вернулся домой поздно вечером. Загар его был, казалось, смыт — такой он стал бледный и серый. К тому же Садчиков оброс за эти два дня, и колючая щетина делала его лицо не по годам старым.

Сняв пиджак, он прошел в ванную и долго мылся хо-

лодной водой. Потом так же долго вытирался шершавым полотенцем, глядя на себя в зеркало.

«Я же седой, — подумал он. — Какая нелепость: седой, а продолжаю считать себя молодым и с Валькой на «ты».

— Хочешь есть? — спросила Галина Васильевна.

— Не очень.

— Уже обедал?

— Если бы...

— Ляг отдохни. Я сейчас приготовлю кровать.

— Ничего, я так...

— Зачем же? Ложись по-настоящему.

— А ты?

— У нас тетя Валя. Мы смотрим телевизор. Интересный фильм, польский...

— У них хорошие к-картины. Сейчас я переоденусь и выйду к т-тете Вале. Только минутку отдохну.

«Надо пойти поздороваться с тетей Валей, — подумал он, — иначе старуха обидится и будет пилить за меня Галю. Но она сразу же начнет рассказывать про свои болезни, а я не могу, когда она талдычит о своих болезнях».

Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то, и Садчикову было смешно слышать эту ругань, потому что ругайся так все, было бы удивительно спокойно работать в МУРе. Телевизионная ругань злых киношных героев — мечта любого сыщика.

«Надо бы выйти к старухе», — еще раз подумал Садчиков и выключил свет.

Передача шла, по-видимому, очень долго, потому что, когда легла Галя, в квартире было тихо, и слышалось, как по улице, гулко топоча острыми каблучками, пробегали девушки из студенческого общежития.

Садчиков секунду лежал с закрытыми глазами. Он всегда думал, лежа с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть и не отвлекаться, раздумывая об увиденном. Потом он обернулся к Гале и обнял ее.

Он лежал, обнимая жену, и по-прежнему ясно, будто на экране кино, видел парня, сожженного в комнате. Он видел белое лицо Людмилы Аркадьевны и седину у нее на висках, а потом он представил себе Леньку, стриженного наголо, без пояса, без шнурков — в камере, среди бандитов...

Все эти видения пронеслись у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Садчиков порывисто вздохнул и начал искать рукой на столике папиросы. Папирос не было, а у него не хватало силы заставить себя подняться и пойти за ними в другую комнату.

— Может быть, ты скажешь мне что-нибудь? — спросила Галя.

— Что?

— Ну, я не знаю...

— Не сердись т-только, Галочка. Я очень устал.

Садчиков ничего не мог с собой поделать. Он не мог сейчас думать ни о чем другом, кроме как об убитом парне. Садчиков видел его желтые пятки и ослепительный оскал зубов. Он все это видел, но он не мог, не имел права говорить обо всем этом Гале, потому что раз уж он взял на себя великую муку бороться со зверством, так, значит, все это надо держать в себе самом. Если есть сила. Если нет — тогда надо просто уходить в какую-нибудь канцелярию и регистрировать дела. Ужасы, которые он все еще видит, должны умирать в нем одном: иначе какой же смысл сидеть в управлении? Репортер скандальной хроники играет на нервах читателей. А Садчиков хочет сделать так, чтобы этой проклятой игры вообще не было. Для этого он и сидит в управлении и дерется за каждого человека. А ужасы, которые он смотрит во время этой драки, убивают любовь, они противны самому желанию любить. Они заставляют человека напрягаться до предела, для того чтобы победить в борьбе со зверством.

— Ты, Галка, н-ничего не знаешь, — сказал Садчиков и снова обнял ее. — Совсем ничегошеньки.

Костенко отдыхает

«Милые мои девчата!

Сижу, чищу себе картошку на ужин и сочиняю вам письмо. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу еду к вам. В общем, у меня все в порядке. С квартирой пока плохо. Обещают на зиму. Вот так-то. Как там Аринушка моя маленькая? Я просто не представляю себе, как мы жили раньше без нее. Толстой писал, что ребенок делает чело-

века более уязвимым. Так только своя боль и забота, а здесь махонькое существо, за которое в ответе перед миром. А посему, писал Толстой, надо иметь по крайней мере трех, а не одного ребенка. Любопытно, как ты к этому его мнению отнесешься? Должен тебе признаться, что мое мнение совпадает с его абсолютно.

Пожалуйста, напиши мне поскорее. Целую вас обеих. Люблю вас очень. Очень вас люблю. До свиданья. Слава».

Росляков и Алена

Валя зашел в автомат. Позвонил девушке, с которой вместе сидел на диспуте о кибернетике в университете. Девушку звали Алена. Она училась на четвертом курсе филфака, ругала жизнь и ничего не хотела. Так она, во всяком случае, говорила Рослякову.

— Можно Алену?

— Это я.

— Здравствуйте. Росляков.

— А, это с которым мы сидели на диспуте?

— Да. Что вы делаете?

— Ничего. Сижу и думаю, как было бы хорошо выпить.

— А что вы пьете?

— Все.

— Политуру?

— Что?

Валя засмеялся.

— Значит, не все. Политуру не пьете.

— Не пью. А коньяк пью.

— Говорите ваш адрес.

Валя купил бутылку коньяку и конфет. Алена жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала:

— Входите.

— Спасибо.

— Я одна. Знаете, как тоскливо жить одной в квартире!

— Отдайте часть моему другу. У него неважно с жилплощадью.

— Я — пожалуйста, предки против.

— А где предки?

— У синего моря. Если вам жарко, снимайте пиджак.

— А я и сниму.

— Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете обо мне черт знает что.

— Точно.

— А какая разница, в конце концов?

— Тоже верно.

— Сейчас я принесу штопор.

— Не надо. Смотрите, это делается так, — сказал Валя и ладонью вышиб пробку.

— А я умею полоскать горло коньяком.

— Не может быть!

— Честное слово. Смотрите...

Она налила коньяк в рюмку, сделала глоток и, скосив глаза, начала полоскать горло. Нос у нее сморщился, как у человека, который принимает горькое лекарство, а глаза смотрели на Валю победно и выжидающе.

— Здорово, — сказал Росляков. — Еще раз, пожалуйста!

— Какой хитрый, — улыбнулась Алена, — я только раз могу.

— Ну извините...

— Что?

— Ну, извините, говорю... Это такая присказка у моего товарища есть.

— Только, пожалуйста, не начинайте мне рассказывать про своего товарища. Почему-то все всегда рассказывают про своих друзей и знакомых и никто не хочет говорить про себя.

— Про себя — нескромно.

— Это только так кажется. И потом если хвалить, то, конечно, нескромно. Я вот себя ненавижу и поэтому всегда о себе говорю. А вы себя любите?

— Люблю.

— Вы счастливый. А что вы делаете?

— Пью коньяк.

— Нет, а вообще?

— А вообще учусь.

— Где?

— В педагогическом.

— Почему я вас там не видала?
— Я на заочном.
— А как вас зовут?
— Меня зовут Валя.
— Среднее имя. Ни мужское и ни женское.
— Ну все-таки мужское.
— Вы обиделись?
— Ужасно.
— А почему вы ко мне пришли?
— Потому что мне захотелось к вам прийти.
— Пейте коньяк.
— Я уже.
— Пейте еще. И я тоже.
— Хорошо.
— Ну, так почему же вы пришли ко мне? Для того чтобы говорить со мной, слушать музыку и смотреть альбомы?
— Хотя бы.
— Вы все врете.
— Может быть. Но если я вру, тогда вы уже совсем пьяная.
— Нет еще. Когда я стану пьяной, вы начнете обнимать меня.
— Обязательно так?
— А зачем вы тогда приходили?
— Я лучше уйду.
— Почему?
— Да так...
Он поднялся и пошел к двери. Отпер ее. Хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала:
— Я просто дрянь, не обращайте на меня внимания.
— Ты дрянь? — улыбнулся он, обернувшись. — Ты просто глупая девочка.
Она кивнула головой. А потом ткнулась лицом ему в грудь и плечи ее затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам и по голове.
— Ну, не надо, — говорил он, — не надо, дурачок. Это все ерунда, не надо так плакать, не стоит...
— Стоит, — сказала она, — стоит, потому что я за все плачу. Сейчас, я скоро перестану, только ты не уходи.
— А я и не собираюсь.
Она посмотрела на него сквозь слезы и жалко, по-детски улыбнулась...

Только не двое

Ночью Садчикова разбудил телефонный звонок.

— Прости меня, — сказал комиссар, — сейчас тут один сигнал поступил любопытный...

— Еду.

— Погоди, разбежался. Такси вряд ли быстро найдешь. Шофера пришлю.

— Я спущусь.

— Дождь. Погоди, он подымется за тобой.

— М-михайлыч?

— Он.

Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды — себе и Михайлычу. Масло в холодильнике было до того смерзшееся, что не резалось, а крошилось желтыми ажурными стружками.

Михайлыч всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переполошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком — три раза быстро, а четвертый долго и гулко.

— М-михайлыч? — тихо спросил Садчиков.

— Михайлыч, — ответил тот.

Садчиков отпер дверь и сказал:

— З-заходи, старина.

— Да ничего, — ответил Михайлыч, входя.

— Пошли чайку попьем.

— Да не стоит.

— Л-ладно, ладно, будет кокетничать...

— Хорошая из меня кокетка.

— С с-сединой, куда как л-лучше. Сейчас, говорят, с-седые мужчины в моду вошли.

— Седина в голову, бес в ребро.

— Р-ребра перебиты, какой там к ч-черту бес... Ешь б-бутерброды.

— Да ничего...

— Л-ладно, наваливайся, сам, наверное, только чаем и питался ночью.

— Почему чаем? Сухарь грыз.

— Пусть м-мышь сухарь грызет, ч-человеку масло надо.

— Это истина, это вы очень верно подметили.

Садчиков засмеялся и стал наливать чай — дымный и пахучий — в большие красные чашки.

Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал:

— Мне сейчас анекдот смешной рассказали.

— А вот интересно, кто анекдоты выдумывает? — спросил Садчиков.

— Люди, — ответил комиссар, — кто ж еще?

— Не иначе, как писатели.

— Журналисты скорее, я думаю.

— П-почему журналисты?

— А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут, а журналист — он просвет имеет. Да и потом парни они веселые и по бритве — вроде нас — ходят. А когда веселые, тогда и анекдоты рождаются.

— П-похоже, — сказал Садчиков, — очень может быть.

— Похоже, — передразнил комиссар. — Что я тебе, Алейников? Похоже на фотографии выходит, а я тебе мысль излагаю самостоятельную, ни на что не похожую.

— Ну-ну, извините, — сказал Садчиков по привычке и сразу же начал густо краснеть, потому что понял, как не к месту сказал он эту свою шутливую фразу.

Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил:

— Да нет, ничего...

И оба они враз засмеялись, весело глядя друг на друга.

— Слушай, — сказал комиссар, — ты думаешь, что с Сударем все?

— Д-думаю, нет.

— Почему?

— Потому что вы м-меня про это спрашиваете.

— Умный, черт.

— А к-как же иначе?

— Иначе нельзя.

— В том и дело.

— Ну, шутки по боку. Парень к нам позвонил, футболист, Александр Пашков, с покойным Панкиным в одном доме живет. Так он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул от окошка, а это значит — умный старичок. В электричке он ехал с футболистом, до Тарасовки, понимаешь, штука какая... Проездной билет контролеру предъявлял. Как тебе это понравится?

— Очень м-мне это не нравится.

— Мне тоже.
— М-может, вызвать Читу? П-побеседуем с ним...
— Неудобно. Поздно уже... Как там у вас дела?
— Один мой сотрудник с-скоро с женой разведется.
— Дама сволочь?
— Н-нет, райжилотдел.
— Испугал. Я с райжилотделом ни черта сделать не могу.
— К-костенко мучается. С женой в разных комнатах ж-живет.
— Любить крепче будет.
— Х-хорошо шутить.
— Ты меня еще постыди, Садчиков.
— Оп-пасно.
— Опасно блох ловить, шума будет много. Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье.
— Третью з-зиму обещают.
— Хорошо, что не четвертую. Мне важней, чтоб сначала рабочему квартиру дали.
— К-костенко потерпит, товарищ комиссар, а дочка у него, Аришка, — ей про терпение не объяснишь.
— А Чуковский зачем с Михалковым? Пусть они ей растолкуют. «Муха, муха-цокотуха, сейчас с квартирой заваруха»? Ничего стихи?
— Г-гаврилиада.
— Дерзкий ты стал, Садчиков, не иначе, как меня подсиживаешь.
— Товарищ ком-миссар...
— Знаю я вас, молодых...
— Да я уж с-седой...
— Велика важность. Седой — не лысый. Зови Читу, черт с ним, пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос — одной стружкой больше, одной меньше, все одно плохо. Да, кстати, Самсонова ты взял?
— Нет.
— Почему?
— Дома никого нет.
— Где они?
— Н-неизвестно.
— Эмигрировали, что ль?
— Вряд ли.
— Смотри, Садчиков...

— Т-только этим и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора.

— А если откажет?

— Федерация есть.

— Ну, а и она?

— Генеральный.

— Он тоже?

— Н-не может быть.

— А если?

— Н-не может быть, товарищ комиссар.

— А не фетишист ли ты, майор?

— Г-где уж нам уж выйти з-замуж!

— Смотри, в понедельник изволь мой приказ выполнить — парня забери.

— Ясно, будет сделано.

— Шутник ты, Садчиков.

— С-стараюсь.

Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку селектора и попросил:

— Из шестнадцатой ко мне Назаренко приведите.

Ночной разговор

Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери.

— Проходи, проходи, — сказал комиссар, — садись...

— Не беспокойтесь...

— Это ты беспокойся, хороший мой, мне беспокоиться нечего. Где ваш дед, кстати, живет?

— Какой дед?

— Не играй, Ч-чита, — сказал Садчиков, — актер из тебя п-плохой, просвечиваешь сразу. Где старик?

— Прохор?

— Да.

— Я его адреса не знаю.

— Что ж ты, неполноправный какой?

— Да нет. Сударь тоже не знает.

— Уж и так...

— Точно.

— На, пей чай. С сахаром. В камере так густо не кладут?

— Что вы...

— Вон печенье. У меня от ужина осталось. Домашнее, на сливочном масле. Бери парочку.

— Благодарю вас.

— Воспитанный ты парень, — усмехнулся комиссар, — дипломат просто-напросто... Ну, а как ты думаешь, где он может жить?

— Он вообще-то за городом, мне кажется. А можно еще печеньице?

— Что, оголодал?

— Да, несколько...

Комиссар снова хмыкнул и покачал головой.

— Прямо дивлюсь на такого деликатного вора. Приятно говорить — видно воспитанного человека.

— Я не вор.

— А кто же ты? Священник? Или, может, врач-общественник?

— Я ошибся и за это несу раскаяние.

— Нести куль можно, раскаяние — не уцепишь, это тебе не мешок с опилками.

— Нет, товарищи, — вздохнул Чита, — я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяние.

Комиссар поморщился и сказал:

— Знаешь что, Чита? Иди-ка ты подальше со своим раскаянием. Я вашего брата тридцать пять лет ловлю, и все одну пластинку крутят, когда ко мне приводят. Брось. Скучно, и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь, — вот тогда раскаяние к тебе придет. Вот тогда ты головой о нары биться начнешь. Выть воем будешь: «Чего мне, дураку, не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был! Девки любили!» Ан нет, все побольше грабануть хочется. Вот тебе и отольется. Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе — вышку получишь, не иначе.

У Читы сразу же затряслись руки.

— Я не знаю никакого Копытова, я не убивал милиционера, я вообще никого не могу убить.

— Чем ты д-докажешь свое алиби? — спросил Садчиков. — Где ты был в ночь убийства?

Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их к подбородку.

— Сейчас, сейчас я вспомню. Только погодите одну минуточку. Сейчас. Ну да, конечно, я в ту ночь был у Наденьки...

— В какую? Откуда ты з-знаешь, в какую ночь был убит Копытов?

— Я не знаю...

— Врешь. Отвечай быстро! Смотри в глаза!

— Только не бейте меня!

Садчиков засмеялся.

— Д-да кто о тебя р-руки станет марать? Наслушался глупостей о нас и пошел истерику выкручивать. Т-ты лучше мне ответь на вопрос.

— Вы не спрашивайте так строго. Я не могу, когда строго.

— Чита, тебе Сударь говорил про убийство?

— Клянусь жизнью — нет! Он мне только дал пистолет.

— А какой из себя Прохор, Чита?

— Обыкновенный. Старичок. С палкой ходит и говорит вроде как блаженненький. Он мне и дал...

Чита осекся, потому что понял: скажи он слово — и полетит к чертям версия о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось Чите, ничего не заметил, а комиссар что-то писал на листке бумаги и, казалось, вообще в разговоре не участвовал.

— Ч-чита, скажи-ка мне вот что... Старик Прохор с какого вокзала приезжал?

— Вроде бы с Курского. Он там нам встречу назначил.

— Это-то за день перед задуманным грабежом профессора и скрипача?

— Да.

Комиссар оторвался от своих бумаг и спросил:

— Именно там, у Курского, Прохор и дал тебе пистолет?

— Какой пистолет?

— Смотри в глаза!

— Я... смотрю...

— Ну!

— Ой, не надо так смотреть на меня...

— Отвечай!

— Я не знаю...

— Да или нет?

— Нет...

— Врешь! На рукоятке есть следы пальцев Прохора!

— Этого не может быть! Он всегда в перчатках...

— Вот это другой разговор, — улыбнулся комиссар, — а то «нет, нет»!

— Дурак! — закричал Чита и стукнул себя кулаком по голове. — Осел!

— Верно, — согласился комиссар. — Давай еще, только не до синяков, а то с меня голову снимут.

— Что мне теперь будет? Расстрел? Скажите мне правду, я умоляю вас! Только скажите мне правду! Спасите меня, я буду во всем вам помогать! Я буду все рассказывать, обо всех, только защитите меня!

— Заслуженный артист, — сказал комиссар, — тебе только Смердякова во МХАТе играть. Не кривляйся! Если на тебе нет крови милиционера, если твои доводы подтвердятся, ты будешь жить.

— Вы правду говорите?

— А какой резон мне врать? Какой резон, сам посуди?

Чита улыбнулся белой, вымученной улыбкой и перестал ломать пальцы.

— Да, да, — сказал он, — какой вам резон...

— Ч-чита, — спросил Садчиков, — ты сможешь узнать Прохора по фотографии?

— Конечно.

— Он по ф-фене говорит?

— Нэт, он как поп.

— Матом ругается?

— Нет, я не слыхал ни разу.

— Так... Хорошо... Ну, а Сударь будет о нем говорить, как думаешь?

— Нет. Он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете — он же зверь, железо, а не человек...

— З-заговорит, — пообещал Садчиков, — и н-никакая он не железка. Он ржа по-одзаборная. Завтра у т-тебя с ним очная ставка будет.

— Не надо.

— Б-боишься?

— Нет, не боюсь, но все-таки не надо...

— Надо, милый, надо, — сказал комиссар, — так что мужайся. И чтоб без штучек мне. Без фортелей. Вот ручка, бери печенье, сиди и пиши мне все про дедушку Прохора. Подробно пиши, бумагу не жалей. Усек, Чита?

— Усек, товарищ комиссар.

— Ну, тогда молодец. И запомни — гусь свинье не товарищ, так что ты меня гражданином величай.

— Простите, гражданин комиссар.

А Сударь-то наглец

Когда Читу увели в камеру, комиссар внимательно прочитал все написанное им и потом передал Садчикову. Покачал головой, отошел к окну, закурил. Серый рассвет делал небо бездонным и близким. Было слышно, как дворники подметали улицы.

Сударь в камере не спал и поэтому, когда его привели на допрос, глядел волком и на комиссара и на Садчикова.

— Здравствуй, — сказал комиссар, — садись.

Сударь, подвинув к себе стул, сел.

— Чего, не спится?

— Почему... Спится...

— Физиономия у тебя больно бодрая.

— От характера.

— Ш-шутник.

— От положения. В моем положении только и шутить.

— В твоем положении плакать надо, Ромин.

— Москва слезам не верит.

— Это тоже правильно. Все на себя берешь?

— Что именно?

— Все.

— Я на себя ничего не беру. И если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали.

— А еще чего хочешь?

— Больше ничего. Только я без него не человек.

— Ч-человек, человек, — успокоил его Садчиков, — самый настоящий ч-человек.

— Что касается настоящего, — поправил комиссар, — то здесь я крупно сомневаюсь. Ну, Ромин? Милиционера на себя берешь?

— Тяжело.

— Да, пожалуй. Кассу и скупку берешь?

— И еще Дом обуви, — усмехнулся Сударь, — мне там калоши понравились.

— Ах, калоши... Черненькие?

— Ага.

— С рубчиком?

— С ним.

— И с красным войлоком?

— Это внутри.

— Ну, молодец, Ромин, молодец. И Панкин тоже не твой?

— Валите и Панкина.

— Нет, Панкин не твой. Ты обо всем этом деле с Панкиным не знал. Это дело Прохора.

— Валите и Прохорова.

— Ну какой же ты молодец, Сударь! — сказал комиссар одобрительно. — Герой, супермен! И с Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл, удивляться не надо было б, конечно, это ты верно сработал, а вот имя на фамилию менять — слишком уж игра точна, шов заглажен, а у меня глаз зоркий на это дело.

— Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники. Ничего. Марафета подкинете — тогда поговорим. Так, без протокола, по-хорошему.

— Еще чего? — сказал комиссар.

— У вас сила, вы можете надо мной издеваться.

— У нас сила, это точно. А издеваться — так, Ромин, не издеваются. Издеваются над беззащитными женщинами в кассе и в скупке, над Ленькой Самсоновым — это называется по большому счету издеваться.

— А по малому?

— А т-ты наглец, п-парень, — изумленно сказал Садчиков.

— Дайте марафета.

— Хорошо, — сказал комиссар, — вопросов больше не будет. За два убийства и вооруженное ограбление полагается расстрел. Это ты знаешь. Чита, конечно, вместе с тобой не убивал — у него кишка тонка. Значит, убивал ты один. Вещественные доказательства у нас есть. Все. Иди. Иди, иди, — повторил комиссар, — конвой в той комнате. Иди. И помни: наше законодательство дает тебе возможность защищаться. И самому и с помощью адвоката. Помни: суд всегда учитывает, кто бил, а кто стоял рядом. Мы тоже к этому прислушиваемся. Если у тебя есть хоть малейший намек на алиби — выкладывай, мы будем этот твой малейший намек анализировать.

Сударь продолжал улыбаться, но было видно, как сильно он побледнел.

Прохор обдумывает

Прохор лежал и курил. Он курил спокойно, тщательно заглатывая дым, внимательно следил за тем, как

вспыхивал красный тлеющий огонек и постепенно становился пепельно-черным.

Он все понял, Прохор. Когда он два раза позвонил Сударю и оба раза к телефону подошел один и тот же мужчина, Прохору все стало ясно: мальчики провалились.

«Чита меня видел раз, видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. Девять миллионов — Москва с пригородами — иди ищи. Но — найдут. Это точно. Они мильтона не простят. Доигрался, доигрался, старик. Раньше надо было игру с профессором делать. Раньше. А связей-то у меня не было, проклятых. Поди держи картины-то в сарае — сгоришь, как ракета, они на это дело ЧК бросят, а в ЧК материал обо мне имеется, ох, имеется, спаси господи, сохрани и помилуй... Чита им все выложит сразу же — нервы у обезьяны не сильные. Сударь выложит, но попозже, через недельку-две. Когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня водится наркотик. Это для милиции козырь — они по этой цепке пойдут. Работать им придется долго, месяца три-четыре, это уж определенно. Да и то неизвестно, выйдут ли они на меня. Они могут на Фридке споткнуться — она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. И опять-таки через третье лицо. Нет, тут, пожалуй, бояться нечего: у Фридки срок, им придется ее тягать оттуда, а это волокита, месяц пройдет, не меньше. Ладно. Это, пожалуй, отпадает. Ну, а что про меня Сударь знает, во-вторых? Да вроде бы ничего. А Витьки нет, сгорел Витька. Так что все верно — вроде бы выскочил я».

Прохор затушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Что-то бормотали во сне хозяйкины дети — Витька и Колька. На чердаке, в теплом бревенчатом подкрышье, пел сверчок.

«Если все так, как я думаю, — продолжал рассуждать Прохор, закурив новую сигарету, — то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека и с ним взять профессора — за полчаса перед отъездом из Москвы. За десять минут — деньги на бочку. Потом — в Сибирь, там человек — иголка. Погодим, посмотрим, может, и выждем чего. Хотя, говоря откровенно, навряд ли. Кто сможет пойти со мной к профессору? Вроде бы никто. Искать нет смысла, я Сударя год искал да год обхаживал. Сейчас не успею — времени мало. Хотя

профессора они, возможно, под колпаком держат. Надо завтра посмотреть, нет ли поста у него дома. Вряд ли, конечно. Им надо меня знать, чтоб там пост оставить, а они меня не знают. По-видимому, не знают. Не должны бы. А может, сразу поднаточить когти? Сегодня? В ночь? Сел на поезд — и айда? Сто граммов наркотика у меня есть — это капитал, куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет. Нет. Нельзя. Годков на двадцать меня еще будет, счеты надо кой с кем свести. Профессор скоро загнется, иконы с Рубенсом к большевикам уйдут, ищи потом другого. А что, если Сударику в тюрьму передачку? С цианистым калием в колбаске? МУР не ЧК — могут пропустить. Кто у него из родных есть? Мамаша в Батуми. Плохо. Без паспорта не возьмут. А может, мне на чужачка проскочить? Паспорта́ у меня еще есть. Ромин — чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда. Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграю их всех? А послезавтра вечерком на экспресс — и в Сибирь...»

ПЯТЫЕ СУТКИ

Снова в Тарасовке

В воскресенье утром около отделения милиции поселка Тарасовка остановилась серая «Волга». Из машины вышли Костенко и Росляков. Помахав руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Росляков сказал:

— Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух?

— Дымный, — сказал Костенко, — не будь идеалистом.

— Ты черствый человек, старина.

— А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный.

— В самый корень смотришь.

— Ну извини...

— Да нет, ничего...

Они вошли в милицию, и Костенко ворчливо заметил:

— Прямо как из рая в ад. Слушай, ну почему у нас в помещениях такая тоска? Я раз в «Известия» попал. Вот это да: светло, красиво, модерново! Я б, если там работал, и ночевать оставался — так у них здорово. А тут штукатурка сыплется...

Дежурный по отделению мельком взглянул на них и продолжал отчитывать здоровенного детину.

— А мне неважно, что ты испытываешь, отец. Напился? Напился. Песни ночью орал? Орал. Достаточно. Тебя прости, потом другого прости, а где порядок? Указ знаешь? Ну и все. Вот посидишь, поумнеешь...

— Да ведь с радости я. Сыночек родился, ну и выпили. Я песни хорошие пел. Ну, а узнает она, что меня на пятнадцать суток посадили? Товарищ лейтенант, я что угодно приму, только не пишите...

Костенко подошел к дежурному и спросил:

— Что этот гражданин сделал?

— Что сделал, то и сделал, а ваше какое дело?

— Интересуюсь.

— Дома интересуйтесь. А дела нет, так очистите помещение. Защитнички пришли...

— Верно, — сказал Росляков, — вот мое удостоверение.

Дежурный поднялся, поправил гимнастерку и откозырял по форме. Лицо у него стало улыбчивым и мягким.

— Что этот товарищ сделал? — спросил Костенко.

— Напился.

— Хулиганил?

— Да. Пел песни.

— И все?

— Очень громко пел. Всех соседей разбудил.

— Почему напился?

— Говорит, что ребенок вчера родился.

— Говорит или это точно?

— Говорит.

— Позвоните в родильный дом и узнайте.

Пока лейтенант названивал, Костенко спросил парня:

— Какие песни пел?

Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил:

— «Мы с тобой два берега». Я в хоре бас веду...

Росляков отвернулся, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку:

— А документ есть? Документ, говорю, есть? Да документ, ушей у вас нет, что ли? До-ку-мент! По буквам: Денис, Ольга... Какая Денисова?! Документ! Ага, теперь слышите? Есть. Мальчик?

— Четыре триста, — сказал парень, — такого выроди, а тут письмо придет... Что я наделал, что я наделал!..

— Ничего ты не наделал, — сказал Костенко, — это тебя дежурный пугал. Иди празднуй и пой громко, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном.

Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно смотрел на Костенко.

— Иди, иди, ничего про тебя писать не будут. Иди себе спокойно, — повторил Костенко.

Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному:

— Знаете, лейтенант, за что нас «легавыми» называют? Не знаете? Вот за ваше поведение. Ну разве можно так над парнем куражиться?

— Но он пел после двух часов ночи. Граждан будил.

— Уснут граждане, уснут. Сын не каждый день у человека рождается. Сердце-то у вас есть?

— При чем здесь сердце? Я нахожусь на службе.

— Эх, лейтенант... Оно на нашей службе важней всего. Без него дров наломаете. Очень вы некрасиво себя вели. Простите, но мне стыдно за вас... Давайте начальника вызывайте.

На совещании, которое собрал начальник отделения милиции, было решено следующее: Росляков сейчас же отправляется на станцию и там проверяет фамилии и имена тех, кому выданы сезонные билеты. То, что у Прохора есть сезонный билет, явствовало из показаний футболиста.

Костенко оставался в отделении и работал по документам паспортного стола. Потом он вызывал всех участковых и беседовал с каждым в отдельности, чтобы по возможности установить всех стариков с палками, морщинистых, небольшого роста, в серых костюмах, седых, тщательно причесанных, имеющих старые туфли — комбинированная замша и лак. Вот, собственно, что мог выяснить о стариках поселка Тарасовка капитан Костенко. Это он мог сделать. А нужно ему было среди всех этих стариков найти убийцу и бандита Прохора. Тарасовка была пока что единственной версией. Других версий не было...

Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутке около кассы. Рослякову надо было просмотреть все документы за пять месяцев — с января по май. Их было много. Росляков почесал затылок и начал работу.

Через десять минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор, которые ходили с толстой суковатой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые.

Костенко позвонил к Садчикову, и тот, взяв с собой Читу, который только перед тем, во время опознания его и Сударя работниками лавки и скупки, устроил истерику и рвался ударить Сударя, «как дикого зверя, погубившего его жизнь», срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с Садчиковым наотрез отказался и снова начал вопить, требуя наркотика.

Садчиков впустил Читу в кабинет сразу, без стука. Собрали стариков, и не только одних Прохоров. Были здесь и Иваны, Петры и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпов в прудах. Старики все на пенсии, делать им нечего, вот, говорили им участковые, вы на себя это дело и возьмете. Сделали так для того, чтобы нейтрализовать возможные разговоры, если того Прохора, которого искали, среди приглашенных не окажется. Надежда на то, что среди приглашенных сюда есть бандит и убийца, сразу же покинула Костенко, как только он познакомился со всеми стариками. Конечно, физиономистика — наука далеко не точная, но все же достаточно было посмотреть на этих рукастых стариков, чинно рассевшихся на диванах и стульях, чтобы решить и сказать себе: того Прохора здесь нет.

Чита вошел в кабинет, съежившись, замер на пороге, обвел всех собравшихся быстрым взором и, обернувшись к Садчикову, качнул головой. Костенко и Садчиков переглянулись.

— Н-ну, товарищи, — сказал Садчиков, — с-сейчас с вами маленькое совещание проведут. О карпах. Начальник с в-вами поговорит, решение п-примете, и надо мальков запускать.

Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал:

— Товарищ Садчиков, только ваша помощь потом потребуется.

— У-уху пробовать?

Старики сдержанно засмеялись, а потом один из Про-

хоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубаху и сказал:

— Считаю мероприятие, поднятое милицией, своевременным и нужным. Готов отработать свои сорок часов. Кто больше, пусть говорит...

Валя Росляков пришел усталый и злой. Уже темнело.

— Вот, — сказал он, — нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович, Аверьян Прохорович. Может, зайдем?

— З-завтра, — устало откликнулся Садчиков.

— Да ну к черту, — сказал Костенко, — давай сегодня отработаем Тарасовку, а завтра начнем Сударя допрашивать, он, мне кажется, правильный след знает.

— Ну ладно, — согласился Садчиков, — п-по пути зайдем.

Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал — за ним. Хозяйка пошла отпирать, но он, выхватив черный маленький дамский браунинг, ощерившись, сказал:

— Ни с места! Тихо!

Он схватил хозяйкиного Витьку, прижал к его виску пистолет и прошептал:

— Пристрелю, если откроешь.

Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел у ворот «Волгу».

— Ставни, — шепнул он, — ставни, дура!

— Откройте, — громко сказал Костенко, — мы к вам на минуту.

— Ой! — закричал Витька. — Пусти, дядя Ава! Пусти! Пусти!

В дверь начали барабанить.

— Уйдите отседа, — сказал Прохор пьяным голосом,— своя семья, свои заботы. Не гневите меня зазря.

Витька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать.

Прохор чувствовал, как у него холодеют руки и ноги, он понимал, что все кончено, он понимал, что он провалился, но он не хотел, он не желал сдаться им, он не мог примириться с мыслью — «погиб». Он хотел жить.

Костенко начал ломиться в дверь.

— Скажи им, — тихо приказал Прохор хозяйке, — чтоб они уходили.

— Уходите, — заголосила женщина, — уходите отсюда! Он моего сыночка застрелит.

За дверью все смолкло.

«Неужели уйдут? Может, там двое всего?! Может, один сейчас за подмогой поедет? Тогда уйду! Тогда уйду я от них!»

Дзень! Дзень!

Прохор метнулся в сторону и увидел в окне белого человека. Оттолкнув мальчонку, он, не целясь, выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул и кошкой прыгнул на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза. Потом он упал, и пистолет выпал у него из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены, бросилась на браунинг своим большим телом.

Сердце Рослякова

К операции Рослякова подготовили очень быстро. Он лежал молча и все время сосредоточенно смотрел в потолок. Он уже не чувствовал той боли, которая сначала так мучила его. Сейчас боли почти не было, в голове тонко-тонко звенело, и все время носились бессвязные слова: «аскорбинка, ноги, полынь, шофер-любитель». Эти слова прыгали у него в мыслях, а он старался остановить их и построить в нечто единое и целостное, хотя где-то и понимал, что столь разнородные по смыслу слова в осмысленное, единое целое построены быть никак не могут.

«Здесь нужен глагол», — вдруг отчетливо и совершенно спокойно понял Росляков. Он обрадовался тому, что вместо этих проклятых, вертящихся слов он смог услыхать осмысленную фразу. Росляков улыбнулся и, закрыв глаза, стал думать, какой именно глагол может ему воссоединить эти слова в единую фразу. Он уже почти нашел тот, нужный, как ему казалось, глагол, но в это время теплая волна беспамятства накатилась на него, и Росляков снова потерял сознание.

Очнувшись от острого запаха нашатыря, снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра, и ему было очень страшно

опустить глаза вниз, чтобы рану посмотреть, но в то же время какая-то чужая, сторонняя и любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку — и ничего больше. Он даже захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале. Но потом стало очень больно, будто туда, в грудь, сунули горящий окурок, и в голову полезли эти нелепые «аскорбинка, ноги, полынь и шофер-любитель»...

— Что? — спросил Валя сестру, стоявшую все время возле него с нашатырем и шприцем. — Дрянь дело?

— Да что вы, — ответила сестра, — пустяки...

— Вам артисткой быть, — вздохнув, сказал Валя, — а не сестрой. — И закрыл глаза.

Профессор Гальяновский кончил мыть руки и попросил хирургическую сестру:

— Поторопите, пожалуйста, Галину Васильевну.

— Она побежала звонить...

— Что?

— Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой.

— Ну?

— Она волнуется.

— Но я не могу оперировать один, как вы полагаете?

— Сейчас я пойду за ней.

— Да уж, пожалуйста...

Галина Васильевна сидела у телефона и слышала длинные гудки: в квартире все еще никого не было. Где же Садчиков? Тогда бы их привезли вместе. Валя. Бедный мальчик. Он так и не узнал ее. Господи, неужели он не выживет? По-видимому, нет. А может быть, он в другой клинике? «Какая же я дура! Садчиков, милый мой, прости меня!»

«Я позвоню к нему в отдел, — подумала Галина Васильевна, — они же знают...»

Но и в отделе никого не было, а других телефонов она не знала, и если бы даже знала, то наверняка не стала бы звонить, страшась услышать ответ, которого она так боялась.

— Галина Васильевна, — окликнула ее сестра, — он очень нервничает.

— Боже мой, — сказала Галина Васильевна и прижала к груди руки. — Я, наверное, не смогу...

— Что вы!

Галина Васильевна опустила трубку на рычаг и пошла в операционную.

Валя лежал без движения. Лицо его было желтым, словно высеченным из слоновой кости. Скулы заострились и стали как у покойника. Он уже не дышал, потому что через горло ему ввели трубку управляемого дыхания, и анестезиолог Татьяна Ивановна монотонно надавливала на красную грушу, через которую в легкие шла жизнь.

Все тело Рослякова было укрыто простынями и салфетками, и только, будто поле сражения, ограниченная всем белым, выпирала часть его груди с маленькой красной дыркой, от которой пахло жженой бумагой.

Профессор, оперируя, всегда ругался. Галина Васильевна давно привыкла к этому, и, если профессор молчал, ей было как-то не по себе. Сейчас, вскрыв полость, профессор работал молча, и Галина Васильевна видела, как у него — от затылка вниз — густо краснела шея. Ей даже было видно, как кровь, пульсируя, скатывалась под кожей от шишковатого блестящего затылка ручейками вниз, к бычьей шее.

Легкое у Вали было чистое, гладко-розовое, почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол.

«Он же спортсмен, — вспомнила Галина Васильевна. — Садчиков говорил, что он мастер спорта».

Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов, и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким и замирало, а потом вдруг, будто заторопившись, начинало сокращаться лихорадочно быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку, и поэтому сначала ничего нельзя было понять из-за большого сгустка синей крови.

Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую ссадинку, шедшую по краю. Такая ссадинка на руке безболезненна, ее прижигают йодом, да и то в

крайнем случае. О таких ссадинах детям говорят: «До свадьбы заживет». А здесь, на сердце, она была смертельной, и никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только они начнут зашивать его маленькими нетравматическими иглами.

Профессор вытянул правую руку, и, когда сестра положила в его ладонь иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце, а после, покачав головой, взглянул на Галину Васильевну и начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань. И каждый новый прокол — чем дальше он продвигался к концу ссадины — Галина Васильевна воспринимала как некий сплав трагичного и счастливого: шансы на спасение Рослякова увеличивались, но одновременно увеличивалась и опасность. Ломался режим работы сердца, оно могло захлебнуться кровью, оно могло споткнуться и замереть.

Садчиков и Костенко приехали в клинику через час после начала операции, сдав в КПЗ Прохора. Они сели внизу, в приемном покое, и закурили.

— Кофейку бы, — сказал Садчиков.

— Спать хочется?

— А н-нет? Две ночи как-никак.

— Попрыгай.

— Неловко.

— Как думаешь, вытянет Валька?

— К-конечно.

— А что они так долго возятся?

— Ты далек от м-медицины. Час у них — пустяки. Тут о-одну дамочку шесть часов резали.

— Так то ж дамочку.

— Нездоровые у тебя н-настроения.

— Хочешь, вздремни полчаса.

— Не получится.

— Попробуй.

Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей тугим больничным запахом.

Костенко ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную бессильную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным и усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него

в голове: «Это я виноват в том, что случилось с Валькой. Это я виноват. Должен был первым попробовать я».

Но вторая мысль спорила с этой, все под себя подминавшей, первой: «Если бы он ждал, пока я подойду и пока мы станем советоваться, Прохор перестрелял бы детей и хозяйку. Тогда он бы сейчас сидел и не мог найти себе места, и все бы в нем кричало: «Я виноват!» А я знаю Вальку, это было бы для него концом, трагедией».

Когда Костенко вернулся, Садчиков попросил его:

— Слушай, тут р-рядом есть «Гастроном», купи какого-нибудь вина. А то я совсем ошалею. У меня есть т-трешница.

— У меня тоже есть трешница. Ты хочешь есть?

— Нет.

— Я тоже. Сейчас. Если уснешь — разбудить?

— К с-сожалению, я не усну.

— Я быстро.

— Хорошо.

Он вернулся с бутылкой «Гурджаани». Откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку Садчикову.

— Нет, — сказал тот, — пей п-первым.

— За Вальку, — сказал Костенко.

Он пил долго, уже через силу, маленькими глотками, и ему казалось, что каждый глоток за Вальку — как в детстве — обязательно принесет тому здоровье и жизнь.

— Держи, — сказал он, — твоя доля.

— За Вальку, — сказал Садчиков и допил все оставшееся в бутылке.

— Хорошее вино, — сказал Костенко.

— У них есть л-лучше.

— Там было только это.

— Я имею в виду грузин.

— Ну, извини.

Садчиков усмехнулся:

— Д-да нет, н-ничего...

Потом приехал Коваленко, старший опер из соседнего отдела.

— Как дела? — спросил он. — Наши волнуются.

— Пока неизвестно.

— Это что, вы пили?

— Мы.

— С ума сошли! Скажут, что в милиции пьяницы.

— Черт с ними. Пусть т-только Вальку спасут.

— А что говорят?

— Ничего не говорят. Как там Прохор?

— Его Чита топит, а Сударь молча помогает. Пока лягается, но дело-то ясное, вы его с поличным взяли.

— Не мы, — поправил Садчиков, — а Р-росляков.

— Значит, вы, если Росляков.

— Может быть, сбегать в магазин? — снова спросил Костенко.

Садчиков секунду подумал, а потом сказал:

— Теперь, пожалуй, п-пора...

Врач-анестезиолог заглянул в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом:

— Больной порозовел.

Ассистент, «сидевший» на артерии, открытой для переливания крови в случае, если катастрофически упадет давление, тоже сказал скучным голосом:

— У больного действительно заметно порозовело лицо.

Профессор сказал:

— Он не больной, он раненый. Ясно вам?

— Ясно, — отозвалась анестезиолог.

И все в операционной враз улыбнулись.

— У парня мускулатура, — сказал профессор, — смертоносная для дам. Вообще мне всегда было непонятным, почему женщины так падки на мышцы. Галочка, почему?

— Мой муж худ, как палка.

— Ну, это, я думаю, вы его довели с вашей строптивостью.

— Спасибо.

— Съешь тя с копотью, — удивился профессор, — и она еще обижается, вы слышите?!

Он затянул нитку, бросил иглу и отошел в сторону. Там он поднял руки, и хирургическая сестра стала стаскивать с него перчатки и халат.

— Гоп со смыком, это буду я, — пропел профессор и заметил: — Галочка, вы, как жена сыщика, должны знать эту песню. Ее кто поет: жулики или милиционеры? Я всегда путаю.

— Ее поют жулики.

— Ничего мотив, — сказал профессор, — а слова — так просто поэзия. Идите звоните вашему благоверному.

Галина Васильевна сняла маску и халат, стянула с себя перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы

прошла дрожь в ногах. Она видела затылок профессора, она видела, как кровь уходила теперь вверх — от шеи к затылку, и она понимала, как трудно далась ему эта операция, дерзкая и властная, на почти безнадежном сердце.

Выглянув в коридор, она сразу же увидела Садчикова среди восьми мужчин, сидевших на скамейках. Он сидел, вытянув длинные ноги, и курил, низко опустив голову. Галина Васильевна подошла к нему и сказала:

— Здравствуй, родной. Он жив.

Что-то неуловимое, но понятное ей прошло по лицу Садчикова, она погладила его по щеке и присела рядом.

— Он уже говорит? — спросил Костенко.

— Он еще под наркозом. Но теперь все в порядке.

А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу, в приемный покой выскочила сестра и крикнула:

— Галина Васильевна, скорей!

Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжа, словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки Галины Васильевны, и потом настала тишина — гулкая и пустая, как ужас.

У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу же заострился и сделался белым. Дали крови в вену, но ничего не помогало. Тогда профессор вскрыл только что стянувшие грудь швы, отодвинул в сторону легкое и, взяв сердце своей желтой, сожженной йодом рукой, начал массировать его.

— Ну, — говорил он, — ну, ну, ну!

Он снова стал багровым, этот семидесятилетний профессор, и шея у него сразу же налилась кровью, и глаза сузились в киргизские, меткие и всевидящие щелочки.

Сердце лежало в его руке, мягкое и безжизненное.

Он давил его сильно и властно. Он передавал ему силу и желание жить, он повторял все злее и громче:

— Ну! Ну! Ну! Ну!

Галина Васильевна стала рядом с ним.

— Остановка сердца, — сказал он. — Идиотизм какой-то! Ну! Ну! Ну!

Вдруг он замер. Он почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил серд-

це едва заметным движением. Оно отозвалось: — тук! Он сжал его еще слабее. А оно четче — тук!

— Ну же! — сказал профессор. — Мать твою! Давай! И сердце снова сократилось.

— Где кровь? — сказал он. — Перелейте кровь!

Дали кровь. И сердце стало все отчетливей и резче делать свою работу, а вся работа его — великая и мудрая — заключалась только в одном: в беспрерывном и размеренном движении.

— У него кончается наркоз, — сказал анестезиолог.

— Терпи, парень, — сказал профессор Гальяновский и начал зашивать грудную полость. — Теперь терпи.

Галина Васильевна подошла к лицу Рослякова и, нагнувшись к нему, стала говорить медленно и громко:

— Они все здесь. Они ждут тебя, Валя. Ты меня понимаешь?

Росляков сосредоточенно смотрел в потолок и молчал. Глаза у него были огромные и бездонно синие.

— Они все здесь. Валя, скажи, что ты меня слышишь.

Он ничего не мог сказать ей, потому что в горле у него была трубка, шедшая в легкие. Он только кивнул головой и нахмурился.

— Сейчас ты их увидишь, только будь молодцом, ладно?

Он снова кивнул головой, и Галина Васильевна увидела, как глаза у него стали темнеть.

«Как у новорожденного, — подумала она, — у Катюшки тоже потемнели глаза. Он новорожденный. Он был там, за гранью, он был мертвым».

— У тебя теперь все в порядке, — говорила она и гладила его лицо, — мы зашили рану, теперь ты у нас молодец.

Росляков закрыл глаза и наморщил лоб.

— Тебе больно, да?

Профессор быстро накладывал шов, только что разрезанный им. Наркоз кончился, и он шил по живому телу, а Росляков лежал, закрыв глаза, и морщился, а Галина Васильевна все повторяла и повторяла:

— Они все здесь, они ждут тебя, понимаешь? Садчиков, Костенко, Коваленко и Бабин, и еще много ваших. Сейчас дотерпи, и мы их пустим к тебе, ладно?

Росляков открыл глаза, посмотрел на Галину Василь-

евну строго, требовательно, и слезы покатились у него по щекам.

— Ну, что ты?

Он чуть покачал головой.

— Все, — сказал профессор, — везите в палату.

Вернувшись в управление, Садчиков достал пачку «Казбека» и прочитал там номер телефона, который продиктовал Росляков перед тем, как потерять сознание. Снял трубку. Позвонил.

— Да, — услышал он девичий голос.

— А-алену, пожалуйста.

— Это я.

— Здравствуйте. М-меня просил вам позвонить Валя. Росляков.

— Я его жду.

— П-правильно делаете. Только он не придет. Он р-ранен. В больнице на П-пироговке лежит.

В трубке долго молчали. Потом Алена спросила:

— Мне туда можно?

— Н-нужно. Хотя, я думаю, в-вас туда не пустят...

Алена бежала по уснувшим московским улицам. Она забыла переодеть тапочки, и поэтому ноги у нее промокли сразу же, как только вышла из дому. Она бежала по лужам, почти по середине улицы. В лужах отражались звезды. Дождь кончился, небо стало высоким и ясным. Звезды казались по-южному огромными и низкими. В лужах они отражались точно и не зыбко. Алена бежала по лужам, и звезды брызгами поднимались вверх, шлепались на землю и разбивались. Она бежала все быстрее и быстрее. Алене казалось, что сейчас все зависит от того, как быстро она прибежит в больницу к Рослякову, которого зовут детским именем — Валя. Она бежала и плакала, а звезды брызгами взлетали в небо и пропадали потом, разбившись об асфальт, который был по-земному теплым.

Конец банде

Сударя, Читу и Прохора допрашивали в трех разных комнатах. Садчиков зашел в медпункт, выпросил две таб-

летки кофеина и отправился в комнату, где допрашивали Прохора. Там сидел Костенко.

— Я ж на почве ревности в нее хотел-то, — твердил Прохор, — а он помешал. Откуда я знал, что вы из розыска?

Костенко сидел молча и только изредка, будто метрономом, ударял по столу длинной линейкой, измазанной разноцветными чернилами.

— Может, она мне на каждом шагу изменяла, у меня сердце тоже есть, я ведь тайно ее любил-то, — медленно, глядя в одну точку, тянул Прохор. — А он когда стал рваться, я решил, что это ее хахаль какой...

Костенко кашлянул, и Прохор быстро на него глянул и замолчал.

— Расскажите, как вы убили милиционера около ВДНХ, — негромко и очень спокойно спросил Костенко.

— Я не убивал милиционера около ВДНХ, — четко и ровно ответил Прохор.

Садчиков закурил, и снова воцарилось долгое молчание, и только время от времени, через точные, размеренные промежутки, Костенко ударял линейкой по столу.

— Расскажите, как вы убили шофера Виктора Панкина, — так же негромко и очень спокойно повторил Костенко.

— Я не убивал никакого Панкина, — так же четко и ровно ответил Прохор.

Садчиков и Костенко переглянулись.

— Слушай теперь меня, Прохор, — сказал Костенко, — слушай меня очень внимательно и постарайся не упустить ни одного слова из того, что я тебе сейчас скажу. Наш друг, в которого ты стрелял, остался жить. Понимаешь? Его спасли.

— Слава богу, — сказал Прохор, — а то я уж перенервничался.

— Что? — удивился Садчиков.

— Перенервничался, — повторил Прохор и вздохнул.

— Ну так вот, слушай дальше, — продолжал Костенко. — Если бы он погиб, то, вернувшись сюда, я пристрелил бы тебя, как бешеного пса, понимаешь? Меня за это арестовали бы и отдали под суд. Но я думаю, что меня за такого пса, как ты, все-таки не осудили бы. И я бы рассказал на суде все про тебя: и про то, как ты убил Копы-

това, и про то, как ты убил Панкина, и про то, как ты изувечил жизнь Леньки Самсонова. Я бы рассказал людям про то, какая ты мразь, понимаешь? И мне бы, я думаю, поверили.

— А может, и не поверили б...

Костенко открыл сейф и выбросил на стол окровавленную перчатку, найденную в ту ночь около Копытова. Потом он выбросил на стол вторую перчатку — такую же, но не окровавленную, найденную в машине, под сиденьем у Панкина, со следами пальцев Прохора. Потом он достал ботинок Прохора и рядом положил слепок с него, сделанный там же, в аллее у Ростокина. Он достал гильзы и выстроил их в ряд, а после того, как все гильзы кончились, он подровнял их копытовским пистолетом.

— Видишь? — спросил он. — Это все против тебя. Но я готов выслушать все твои доводы — в твою защиту. Я очень не хочу делать это, но я готов это сделать, понимаешь? И не смотри на меня дурным глазом, Прохор. Номера не проходят. Институт Сербского быстро тебя расколет, тем более что ты там уже раз пытался прикинуться сумасшедшим в сорок пятом. Ясно?

Прохор долго сидел молча, а потом завыл. Он выл монотонно и страшно, как раненая собака, выл на одной страшной ноте, очень высокой, но в то же время басистой и хриплой.

— Ненавижу вас, — хрипел он, — ненавижу...

— А ты думаешь, я тебя люблю? — удивился Костенко. — Я тебя тоже ненавижу. Только я человек, а ты — зверь. Понял? Вот так-то.

Он раскрыл голубой листок протокола допроса и спросил Садчикова:

— Ты будешь вести или я?

— Веди т-ты. У тебя почерк четче, — ответил Садчиков и, сняв пиджак, повесил его на стул.

Костенко обмакнул перо в чернильницу и начал:

— Давай. Фамилия? Имя? Отчество?

— А зачем? — спросил Прохор глухо.

— Закон требует, — ответил Костенко и затушил сигарету, чтобы дым не щипал глаза.

Апрель — август 1962 г.



ИВАН ГОЛОВЧЕНКО

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

Перевод с украинского Ирины Стишковской

I

Из очередной командировки полковник Гриценко возвращался поздно вечером. Моросил холодный густой дождь, который так щедро выпадает в марте на донбасской земле. Забрызганная грязью «Победа» монотонно шуршала по гладкому асфальту. За окнами проплывали огни шахтерских поселков, но полковник не замечал их. Почти всю дорогу он сидел с закрытыми глазами, и трудно было понять, то ли он дремлет, то ли что-то сосредоточенно обдумывает.

Некоторое время машина ехала по широкому проспекту, потом свернула в тихий безлюдный переулок и остановилась у подъезда серого многоэтажного дома. Гриценко сразу открыл глаза, распахнул дверцу и как-то виновато посмотрел на черные квадраты окон своей квартиры.

— Не дождались. Отдыхают...

Простившись с шофером, он вошел в подъезд. Тихо открыл дверь и, чтобы никого не беспокоить, на цыпочках направился к вешалке. Не успел снять шинель, как двери спальни бесшумно открылись и на пороге появилась жена Елена Петровна. Новый шелковый халат красиво облегал ее стройную, словно девичью, фигуру. Долгие годы напряженного труда, недостатков и бедствий не согнали с ее красивого лица нежного румянца, не погасили игривых огоньков в ее темных и глубоких глазах. Она была точно такой же, как и два десятка лет назад, разве только с незабываемого сорок второго года появилась в каштановых прядях седина, да так и застыла серебристым инеем.

— Я уж думала, что и сегодня тебя не будет.

Она взяла из рук мужа шинель. В уголках ее губ легла мягкая, чуть печальная улыбка. От этого лицо стало еще добрее и привлекательнее.

— Как же ты добрался в такую непогодь?

— Лучше не спрашивай: дороги в степи — сплошное месиво.

Стояли в коридоре возле вешалки, лицом к лицу, как влюбленные. Редко выпадают им такие встречи! Он всю жизнь в разъездах. Вот только нагрянет в полночь, перемолвится словом-другим, а утром снова в район. Возможно, поэтому подобные встречи и бывали для них такими радостными и желанными.

— Ну, иди умывайся, а я ужин подогрею: голодный же, знаю.

— Ты, как всегда, догадлива.

Ужинать сели на кухне. Елена Петровна примостилась рядом с мужем и засмотрелась на его белый, как вишневый цвет, чуб.

— Стареем мы, Коля. Ох да, я и забыла, — встрепенулась она.— Телеграмма же позавчера из Черногорска пришла. Сейчас принесу.

Минуту спустя Гриценко уже разворачивал бланк. Пробежал глазами ровные строки машинописи, и сразу морщины на лбу разгладились. В телеграмме говорилось: «Поднимаю тост за двадцатипятилетие мирного сосуществования. С серебряной свадьбой! Рад был бы поздравить лично, но не могу. В конце апреля уезжаю на Кавказ, по дороге обязательно загляну. Кланяюсь...»

— Ты смотри, а и в самом деле двадцать пять... «мирного сосуществования». Вот уж придумал. — Гриценко

громко расхохотался. — А я-то из головы выпустил. Ну не молодец ли мой Петруха? Что ж, жинка, зови гостей, будем серебряную свадьбу справлять!.. А помнишь, Лен, каким скромным был на Десне наш свадебный банкет?..

Забыл полковник про ужин. Вместе с женой понеслись они на крыльях воспоминаний в далекие, всегда дорогие сердцу дни неповторимой молодости.

Побывали в новгород-северском доме отдыха, где впервые познакомились, побродили в березовой роще над рекой, где впервые было произнесено заветное «люблю», встретились со многими старыми друзьями. И не было бы конца волшебному путешествию, если бы его не прервал резкий телефонный звонок.

Полковник вышел. Через открытые двери кабинета Елена Петровна услышала густой баритон мужа:

— Слушаю... Что? Час назад? А кто был в кабинете? Слушайте, дежурный, немедленно вызовите капитана Борисько. Пусть берет людей и выезжает на место. Да, да. Я тоже буду, и прокурора предупредите.

Разговор закончился, но муж почему-то не возвращался на кухню.

— Коля, сколько можно тебя ждать? Иди ужинать...

— Не до ужина мне сейчас, — ответил он сухо, на ходу застегивая китель. — Лучше заверни что-нибудь на дорогу.

— Снова едешь? — В голосе Елены Петровны нетрудно было уловить грустные нотки. — А как же со свадьбой, с гостями?

— Леночка, хорошая моя, придется отложить нашу свадьбу.

Сразу погасли огоньки в глазах жены, лицо стало хмурым: даже в день семейного праздника он не имеет возможности побыть с семьей.

Сначала такая жизнь раздражала Елену Петровну, потом она смирилась, поняла, что такая уж служба у мужа — каждую минуту кто-нибудь может попросить у него помощи.

— Надо спешить, — сказал полковник, одеваясь, и совсем тихо добавил: — Из Срибляков сообщили: Горовой убит...

— Что? — Она схватилась рукой за грудь да так и окаменела. — Не может быть!

Панас Горовой был давним другом семьи Гриценко.

Его знакомство с полковником началось сразу после гражданской войны, а со временем переросло в большую и искреннюю дружбу. Вместе партизанили в глубоких тылах гитлеровцев в годы фашистского нашествия. Закончив боевые походы, Панас возвратился восстанавливать родной Донбасс. Гриценко был назначен начальником областного управления Комитета государственной безопасности тоже в донецкие края. Часто бывали они друг у друга, делились планами, мыслями, а несколько месяцев назад по распоряжению совнархоза Панаса послали начальником на одну из самых отсталых шахт, в отдаленный район. Получив телеграмму из Черногорска, полковник собирался было пригласить друга к себе на серебряную свадьбу. И вдруг такая ужасная весть...

— Ну, успокойся, Лена, возможно, это ошибка. — Гриценко поцеловал жену и вышел за порог.

А уже в два часа ночи он осматривал место происшествия.

Горовой был убит в своем кабинете выстрелом через окно. Пуля попала ему в висок, немного выше брови. Смерть наступила так внезапно, что в задубевших пальцах осталась зажатая авторучка, будто начальник шахты собирался что-то немедленно дописать. После того как положение убитого было тщательно зафиксировано и труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу, полковник со своими сотрудниками начал обсуждать обстоятельства преступления.

Из рассказов свидетелей стало известно, что в момент убийства в кабинете находился главный инженер шахты. Они с Горовым сидели за столом и просматривали наряды.

— Преступник не обязательно мог стрелять в начальника шахты, — будто про себя произнес прокурор, стоя возле окна с пробитым стеклом. — Он целился, скажем, в инженера, пуля же случайно попала в висок Горовому.

Эти слова сразу же заинтересовали всех присутствующих.

— Нет, товарищ прокурор, стреляли именно в начальника шахты, — возразил капитан Борисько, который только что возвратился со двора, где изучал следы бандита. — Почему? А потому, что линия прицела от места, где стоял убийца, через пробоину в стекле проходит точно... В этом вы сами можете убедиться.

Бориско подошел к окну и громко, чтобы его слова были слышны во дворе, сказал:

— Слушай, Шаранда, встань на то место и подай мне через пробоину конец шпагата.

Потом он сел на стул, на котором несколько часов назад сидел Горовой, и прижал конец шпагата к своему правому виску. Все увидели, что натянутый ровной струной шпагат проходит далеко от того места, где сидел инженер шахты.

— Капитан и в самом деле имеет основание утверждать это, — после долгих раздумий заговорил полковник. — Преступник, бесспорно, стрелял не в инженера. Но чем вызвана эта кровавая расправа?

Гриценко устроился на краю стола. Не спеша размял в пальцах папиросу, зажег. Затянулся дымом так, что даже в груди зашлось, и склонил голову. Кто же убил Горового? Что послужило причиной? В практике его работы не раз бывали случаи, когда оскорбленный муж в порыве ревности жестоко расправлялся с любовником своей жены. Однако Панаса он никак не мог представить в роли любовника, издавна знал его как примерного семьянина, отзывчивого мужа и заботливого отца. Так что версию о ревности пришлось отбросить безоговорочно. А может, это месть? Возможно, кто-нибудь решил свести счеты с начальником шахты. Только за что? Ведь Горовой всегда отличался добродушием, справедливостью, хотя и был требовательным и к людям и к себе. Трудно представить, чтобы такой человек мог нажить заклятых врагов. Все равно при следствии эту версию отбрасывать нельзя. Нужно во что бы то ни стало выявить недругов Панаса, изучить их... Убийство могло быть совершено и по политическим мотивам. Именно на это и обратил главное внимание полковник. Горового не раз избирали в состав обкома, знали в Киеве и в Москве как хорошего организатора и опытного хозяина. Не мог Гриценко не учесть и того, что Панас в свое время громил с комсомолией банды на Дону, а в годы Отечественной войны со своим партизанским отрядом был грозой для предателей и гитлеровских прислужников. Притаившийся враг мог поднять на него руку, чтобы напомнить: борьба не закончена, оружие не сложено.

Догорая, папироса прижгла полковнику палец, и он порывисто, будто после дремы, поднял голову. Выбросил

окурок, обвел присутствующих тяжелым, усталым взглядом и глухо заговорил:

— А теперь проанализируем уже известные нам факты. Убийство произведено в половине двенадцатого ночи. В это время третья смена получала в нарядной рабочие задания, а вторая еще не была поднята на-гора. По-моему, подобное стечение обстоятельств не случайно. Стреляли в дождливую ночь, через окно, выходящее в противоположную сторону от мостовой. И это опять не случайно. Вывод один: убийца, хорошо знающий распорядок рабочего дня на шахте и расположение помещений, не мог не ведать и того, что Горовой именно в это время бывает у себя в кабинете. Кому же известно все это? Безусловно, тому, кто работал или и сейчас работает на шахте. А это уже и есть отправные данные для розыска.

Все внимательно слушали Гриценко, хотя каждый понимал: сказанного полковником далеко не достаточно для того, чтобы среди нескольких тысяч шахтеров найти притаившегося бандита. Тишину нарушил лейтенант Шаранда, принесший от медиков-экспертов пулю. Полковник положил на ладонь крохотный кусочек металла, оборвавший жизнь Горовому.

— Пуля от пистолета «парабеллум».

— О, это уже о чем-то говорит! — воскликнул капитан Борисько.

— Да-да, это и в самом деле о чем-то говорит, — согласился Гриценко.

Какой-то миг он сидел, прищурив глаза, потом обратился к Борисько:

— Вот что, капитан, назначаю вас руководителем группы по расследованию убийства.

Это решение возникло у Гриценко не случайно. Борисько работал в органах государственной безопасности пятнадцать лет и зарекомендовал себя как вдумчивый и одаренный чекист. Поручая ему новое сложное дело, полковник был уверен, что Борисько в самое ближайшее время найдет те нити, которые приведут к преступному гнезду.

Ровно через две недели из шахтерского поселка Срибляки к Гриценко прибыл капитан с папкой собранных материалов. Полковник сразу же заметил, как побледнело

и осунулось лицо Борисько, каким болезненным блеском светились его глаза.

— Ну, как дела?

— Дела, товарищ полковник, не радуют: на след преступника пока напасть не удалось. Я уже докладывал, что все лица, на которых пало подозрение, проверены. Все они глубоко порядочные и честные люди. Убийца будто сквозь землю провалился. Сейчас изучаем Задирача...

— Кто он? Почему на него пало подозрение?

— Работник лесного склада. По службе аттестуется хорошо. Шахтеры о нем тоже неплохого мнения. Замкнутый только, нелюдимый. А подозрение на него пало вот почему. За три дня до смерти Горовой вместе с главным инженером осматривал лесной склад шахты. Там они встретили уже пожилого бородатого человека. Горовой даже остановился, когда увидел его. Инженер уверяет, что бородач тоже остановился и как-то неестественно затоптался на месте. Короче, у главного инженера сложилось впечатление, что они уже где-то встречались. И действительно, начальник шахты потом говорил: «Ну до чего же знакомое лицо... Где я его видел? Хоть убей, не припомню».

— Давно работает этот Задирач в Срибляках?

— Сразу же после освобождения Донбасса. Вот его личное дело. Справки подтверждают, что родом он из Черногорска...

— Откуда, откуда?

— Из Черногорска.

Гриценко с интересом взял тоненькую папку, перевернул страницу, другую. Начал внимательно рассматривать фотографию. На ней был изображен уже пожилой человек с большой лысиной и взлохмаченной бородой. Глаза его, спрятанные в глубоких впадинах, затенялись густыми бровями. Долго смотрел на это лицо полковник. Что-то знакомое улавливал он в нем. А что? Так и не мог припомнить.

— Разговоров с бородачом избегайте. Фотокарточка останется у меня.

II

— Разрешите доложить, товарищ полковник!

Гриценко нехотя оторвался от бумаги, исписанной мелкими рядами букв. У двери вытянулся моложавый лейтенант.

— Что там?

— На ваше имя прибыл срочный пакет.

— Давайте.

Лейтенант положил прошнурованный, с пятью сургучными печатями пакет на стол и, щелкнув каблуками, вышел.

На желтоватой бумаге было написано: «Лично начальнику областного управления Комитета государственной безопасности». Полковник привычно разорвал конверт и вытащил оттуда целую пачку одинаковых по формату листов.

— Ну не Петро, а золото! — промолвил он. — Быстро сделал все, о чем я его просил.

Развернул и положил перед собой бумаги.

Первой была личная записка. Дальше, на отдельном листе, наклеены в ряд три фотокарточки, скрепленные сургучной печатью. Каждая из них имела свой порядковый номер.

С фотографий на полковника смотрели три разных лица: на левой был заснят в профиль еще не старый сутулый человек с длинным, хрящеватым носом и глубоко запавшими глазами. Вид у него хмурый, голова склонена на грудь. На третьем снимке справа — пожилой человек с обрюзгшим лицом, во взгляде мутных глаз светилась скрытая злость и воровская хитрость, а сильно сжатые тонкие губы, таящие в уголках лукавую улыбку, говорили о жестокости.

Фотокарточку под номером вторым Гриценко уже видел раньше. На ней был старый бородач из лесного склада шахты в Срибляках. Именно это фото и послал полковник в Черногорск для выяснения личности работника, именующего себя Задирачом.

Закурив погасшую папиросу, Гриценко приступил к чтению протоколов. Чем дальше он углублялся в текст, тем сильнее чувствовал, как приливает к лицу кровь и на лбу выступают капли пота. Бросив окурок папиросы в пепельницу, снял телефонную трубку:

— Немедленно вызовите шахту в Срибляках... Да, да. Кабинет начальника. Кто это? Капитан Борисько? Чудесно! Это Гриценко говорит. Разыщите и задержите «Бородача»! Под усиленной охраной доставьте ко мне в управление. Так... Возьмите разрешение прокурора и произведите у него на квартире самый тщательный обыск. Все понятно? Действуйте.

Не прошло и двух часов, как из Срибляков позвонил Борисько. Голос у него был радостный:

— Товарищ полковник, задание выполнено, — докладывал он. — «Бородач» и его сопровождающие прямо с работы торопятся к вам в гости. На квартире у него нашли парабеллум и другие интересные для нас вещи. Теперь «икс» не существует.

— Все немедленно везите сюда! — хотел очень спокойно произнести полковник, но от волнения в горле запершило, и получилось так, что приказание он отдал почти шепотом.

После разговора с Борисько он встал из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся несколько раз по кабинету. В тот же миг в комнату непрошено ворвался теплый ветер, затрепыхал портьерами, зашуршал на столе бумагами.

В воздухе уже пахло весной. Над землей, чуть ли не цепляясь за вершины далеких копров, торопились куда-то на север редкие серые тучи. Немного спустя разорвалось пепельное покрывало и в просветах появились блюдца синего-синего неба. Выглянуло утреннее солнце, рассыпав на отполированную мебель горсть слепящих осколков.

Гриценко стоял у окна, а мысли его, будто легкие весенние тучки, неслись вдаль. Как странно бывает в жизни: десятки лет стремится человек к чему-нибудь, и все напрасно. Потом вдруг приходит минута, и человека осеняет открытие. Так случилось и с Гриценко. Пришла наконец и для него эта золотая минута, и сейчас ни смерть Горового, ни другие события уже не были для него загадкой.

В полдень Задирач под охраной был доставлен к Гриценко. Старик перешагнул порог кабинета так непринужденно, как будто зашел к себе в хату. Даже не сочтя нужным хотя бы бегло окинуть взглядом комнату, семеня ногами, он направился к столу. Вид у него был серьезный, деловой и вместе с тем безразличный. Но и в этом безразличии Гриценко сразу же уловил незаурядную натренированность.

Пока Задирач устраивался в мягком кресле, полковник еще раз внимательно оглядел благообразного сутулого старичка с взлохмаченной рыжей бородой, в слишком уж скромном ватнике и в чунях.

Старик перехватил взгляд и вопросительно посмотрел на чекиста.

— Смотрю на вас и не припоминаю, где мы встречались, — начал Гриценко.

Задирач пожал плечами:

— Кто его знает. На веку, как на длинной ниве, мало ли кого встретишь. Да разве же всех запомнишь? Можно и ошибиться.

— Что можно, то можно. Только когда встречаешь человека в третий раз, ошибки не бывает. Не так ли?

Старик ничего не ответил. Сидел и внимательно рассматривал портрет Дзержинского на стене. И казался таким спокойным, что его лицо напоминало маску.

— Ну, так догадываетесь, для чего вас сюда вызвали? — снова спросил полковник.

— Видно, здорово припекло, если с работы взяли.

— Хотел я поинтересоваться, как вам теперь живется. Не оскорбляют ли вас, не унижают?

— А как мне живется? Живу, как и все, кто на хлеб себе честным трудом зарабатывает.

— На родине своей давно были?

— А чего мне туда ездить? Родных все равно никого нет.

— Ну, а тут как пристроились? Наверно, не легко приходится. Рассказывайте, не стесняйтесь. Мы с вами давно знакомы, думаю, объяснимся быстро.

— Что же рассказывать? Я человек простой, моя автобиография на одной странице поместится.

— На одной, говорите?

— Конечно.

— Ну, тогда рассказывайте и ту автобиографию, что на одной странице поместится.

Неторопливо, слово за словом, Задирач говорил о своем жизненном пути. Гриценко взял какой-то лист бумаги и, слушая старика, пробежал глазами по строкам.

— Ну и штукарь же вы, хотя и называете себя маленьким человеком, — громко расхохотался полковник. — Слово в слово пересказали то, что писали четырнадцать лет тому назад. Видно, хорошую память имеете.

— Да, на память не жалуюсь. — В глазах старика вспыхнули и мгновенно погасли злые зеленоватые огоньки.

— Вот видите, сами признаете, что память хорошая. А самого главного вы мне все ж таки и не поведали. Вероятно, из головы вылетело? Что же, бывает... Идите и припомните.

Когда арестованного вывели, Гриценко закрыл ладонями лицо и сидел так долго-долго. Он вспоминал события давно минувших дней...

III

Связка бумаг упала на слабое синеватое пламя — в комнате совсем стемнело. Через минуту листы скрутились и, извиваясь, покрылись бурыми пятнами. Из-под них выскользнули желто-горячие языки, и сразу же на противоположной стене, в пустых раскрытых шкафах, задрожали теплые оранжевые отблески. Только лицо коренастого человека в военном кителе, с одной шпалой в петлице, присевшего на корточки перед огнем, даже освещенное пламенем, оставалось холодным и непроницаемым. Ни глухое бухание канонады, ни громыхание санитарных повозок, катившихся по мостовой, ни причитания женщин на улицах не вывели бы его из состояния глубокой сосредоточенности. Связками секретных бумаг он набил ненасытную утробу печки, отчего пламя в ней гудело, даже ревело. Освещенные оранжевыми отсветами огня, его высокий вспотевший лоб, крепко сомкнутые губы, квадратный с ямкой подбородок казались выточенными из красного дерева.

Когда на полу осталась одна толстая папка в бордовой ледериновой обложке, военный облегченно вздохнул и вытер со лба мелкие капли пота. Даже не взглянув, он швырнул толстую рукопись в печь. Пламя осветило тисненный на обложке номер — глаза военного сразу расширились. Словно что-то припомнив, он выхватил из пламени папку, погасил тлеющий ледерин и развернул обложку. На запыленной, пожелтевшей от времени первой странице каллиграфическим почерком было выведено: «Дело об убийстве неизвестного гражданина в ночь на 28 мая 1933 года в бывшей усадьбе помещика Мюллера». В левом верхнем углу другой рукой размашисто написано чернильным карандашом: «Дело не закончено. Не закрывать до окончательного выяснения».

Человек в военном кителе горько усмехнулся. На пе-

реносице у него двумя остистыми колосками сошлись брови. Как наивно и незначительно звучат сейчас эти слова, когда каждый день умирают тысячи невинных людей. Лишь во время одной из бомбежек полутонная бомба попала прямо в подвал, где разместился детский дом, и сто тридцать детских сердец навсегда перестали биться. А среди них, несомненно, были будущие поэты, ученые, композиторы... И следователь не проводит бессонных ночей у себя в кабинете, разматывая бесконечный клубок версий и догадок, чтобы найти убийцу и установить причину преступления. Теперь все это лишнее. Убийцы известны всеми миру. Они не прячут свое лицо.

Человек со шпалой в петлице небрежно перелистывал страницы, а в памяти воскресли события далекого прошлого. Перед глазами возник залитый солнцем малолюдный вокзал. Молодой человек лет двадцати трех в белой кепке, с чемоданчиком в руках вышел из поезда на платформу. Посмотрел вокруг — с вокзала был виден весь Черногорск. На горизонте, за синей полоской виднелись густые леса. «Глухомань», — подумал он.

Юноша направился в областную прокуратуру. Небрежно положил на стол документы:

— Из Киева... Следователем сюда прислали.

Молодому юристу было действительно трудно проявить себя в Черногорске. После завершения коллективизации преступность в лесистом крае резко уменьшилась. Работникам милиции больше приходилось разбираться в мелких и малоинтересных делах. То нужно было помирить соседей, поссорившихся из-за колодца, то установить, кто на религиозных праздниках вымазал дегтем ворота и ставни в домах красавиц гордячек.

Работа больших усилий не требовала, да и удовлетворения приносила мало. Поэтому все чаще в голову молодому следователю закрадывалась мысль: а не податься ли из этих краев? Что пользы из того, когда хорошего вола запрягают в детский возок? Конечно, себя он считал настоящим волом, а порученные ему дела — крохотным возочком. Скоро, однако, представился случай убедиться, что он очень серьезно ошибался. В одно погожее летнее утро его вызвал к себе прокурор. Разговор был коротким. Старик невысокого роста, с взлохмаченной седой бородой, он ходил мелкими шагами по комнате и сыпал скороговоркой:

— Только что мне позвонили: в эту ночь на окраине города убит человек. Наш незаменимый криминалист Влас Никитович с неделю тому назад, как вам известно, поехал отдыхать в Сочи. Отзывать его считаю нецелесообразным. Вы же парень хваткий и по настоящему делу истосковались. Думаю, справитесь. Учтите, следствие усложняется тем, что всю сегодняшнюю ночь лютовала буря. Таким образом, никаких следов на месте убийства не осталось. Почему? Стечение обстоятельств или опыт преступника? Поразмыслите.

Старичок подал молодому юристу костлявую ладонь и занялся своими делами.

Вскоре юноша прибыл на место. Труп обнаружили за бывшим имением помещика Мюллера в густом, заброшенном парке, возле каменной могильной плиты с распятием. Убитый лежал на животе, раскинув руки. Толстые, покрытые густыми черными волосами пальцы мертвеца с отчаянием впились в разбухшую от дождя землю, словно неизвестный никак не хотел, чтобы его отрывали от этого места. Документов при нем не было.

Следователь окинул взглядом местность. Как и предполагал прокурор, следов никаких не обнаружил. Если же убийца и оставил что-нибудь после себя, то все было смыто дождевыми потоками. Предстояло отыскать другие детали, которые послужили бы ключом к раскрытию причин таинственной смерти.

В тот же вечер на первой странице ледериновой папки появилась надпись: «Дело об убийстве неизвестного гражданина...» А перед молодым следователем сразу возникли сотни вопросов: кто этот человек, как он очутился ночью в опустевшем парке, кто в городе знает его...

Проходили дни, папка постепенно разбухала от показаний. Вскоре удалось установить, что потерпевший — сын бывшего эконома Мюллера, Михась Деркач, петлюровский вояка и проходимец. В свое время он служил в Державной варте * Скоропадского, прислуживал кайзеру, бежал с Украины вместе с пилсудчиками. Почему же он появился в родном городе, где многие знали его в лицо? Где находился раньше? Когда и к кому прибыл?

---

* Державная варта — охранные войска ставленника немцев гетмана Скоропадского.

Полгода следователь тщательно распутывал дело, но так и не мог обосновать ни одну из своих версий. Тогда он написал на имя прокурора докладную записку, утверждая, что заклятый контрреволюционер убит кем-то из своих земляков, которым он насолил еще в годы гражданской войны. Исходя из этого, просил закрыть дело. Прокурор, ознакомившись с докладной, холодно буркнул:

— Документ возьмите на память о своей первой большой профессиональной ошибке. Когда следователь признает себя бессильным, он уже не страшен для врага. Дело остается открытым!

— Но позвольте, товарищ прокурор, стоит ли над какой-то контрой... Я думаю, что можно...

— Очень хорошо, молодой человек, что вы все-таки думаете, было бы куда лучше, если бы вы еще делали это правильно. Ваши доказательства никак меня не убеждают. Не соглашаюсь с вами, батенька, как хотите, не соглашаюсь. Да в конце концов это просто недальновидно. Разве нас интересует гайдамак Деркач? Подумайте только, кто из честных людей стал бы скрываться, обезвредив врага. А имени убийцы ни вы, ни я не знаем. Значит, убийца скрывается. Почему?.. А может быть, это дело рук бывших сообщников Деркача, живущих с нами рядом, но о прошлом которых мы не знаем? Подумайте, подумайте.

И он сунул оторопевшему юноше худощавую руку.

«Наверно, тот сообщник Деркача и рассчитывал на такие выводы, какие сделал я, — подумал следователь. — Нет, не выйдет! Все равно, гад, я тебя найду. Пусть даже через полстолетие, а от тебя не отстану».

С тех пор прошло девять лет. Молодой следователь успел стать опытным специалистом и работал уже несколько лет в НКВД, но поединок с невидимым врагом продолжался, надпись на титульной странице папки в дерматиновой обложке словно предостерегала: «Дело не закончено...»

Капитан задумчиво просмотрел последние страницы. Война прервала его напряженную работу. Неужели навсегда так и останется тайной для людей, кто же эти сообщники, убившие Деркача?..

В коридоре раздались громкие шаги, капитан, наверное, не слышал их. Очнулся он, когда черные кувшинки догоревшей бумаги выпорхнули легкой стайкой из глубокого отверстия печки и у двери кто-то окликнул:

— Товарищ Гриценко!

— Сейчас идем. Сейчас. Захватите с собой и эту папку.

— Товарищ капитан, в камере осталось двое арестованных. Эвакуировать их мы уже не сможем.

— Арестованные?..

Капитан Гриценко приподнялся, взглянул на стройного лейтенанта в длинной шинели.

— Веди сюда, — приказал он.

Потом подошел к открытому окну. Со второго этажа посмотрел на город, раскинувшийся внизу. Каким неузнаваемым стал он за эти дни. С тех пор как немецкие танковые части прорвали где-то на севере, за Днепром, нашу оборону и совсем неожиданно появились в районе Черногорска, город превратился в настоящий улей. Сотни подвод с беженцами, автомашины с оборудованием, воинские части днем и ночью катились неудержимым горным потоком на восток.

Какая-то дивизия Пятой армии пробила «коридор» в железных клещах Клейста и Гудериана и отчаянно удерживала его, чтобы дать возможность своим войскам выйти из окружения. Но с каждым часом положение усложнялось. Третий день не прекращались танковые атаки врага, над советскими позициями то и дело появлялись фашистские бомбардировщики...

Прислушиваясь к напряженному гулу боя, Гриценко подумал: «Хоть бы не сомкнули кольцо, пока не стемнеет!»

Скоро лейтенант ввел в комнату арестованных. Высокий, сутуловатый, с хорошо заметной лысиной человек лет сорока подошел почти к самому окну. Уставился на Гриценко безразличными, мутными, как папиросный дым, неподвижными глазами, покорно ожидая, что ему скажут.

Это был бухгалтер Трофим Трикоз. На нем — длинная полотняная сорочка и коричневые штаны, заправленные в сапоги.

Второй арестованный — молодой парень, с взлохмаченной черной шевелюрой, остановился у двери и с какой-то особой сосредоточенностью смотрел на свои стоптанные башмаки.

— Слушайте, — обратился к ним Гриценко. — Вас следовало бы наказать, но сейчас не время вдаваться в

подробности содеянных вами преступлений. Отпускаю вас на волю. Надеюсь, что в тяжелые для Родины дни вы поймете свою вину и найдете место в борьбе.

— Конечно, конечно, — растягивая в постной улыбке губы, загнусавил Трикоз. — Вы не сумлевайтесь, гражданин начальник, свое место мы найдем...

— А ты что скажешь, Ивченко? — обратился капитан к чернявому парню.

— Вам виднее, начальник, — глухим, надтреснутым голосом пробубнил парень, неотрывно глядя на свои стоптанные башмаки. — А за мое место в жизни можете не волноваться.

— Ну, добро! Идите!

Лейтенант уступил дорогу, и арестованные быстро застучали каблуками по коридору. Гриценко еще раз проверил столы, шкафы и оставил комнату. Когда шли по темному коридору, лейтенант мимоходом обронил:

— А все-таки зря выпустили того, черноволосого...

IV

Перешагнул Ивченко порог тюрьмы и остановился, оглушенный уличным гомоном. Вокруг, как черные привидения, к самому небу поднимаются столбы дыма, громоздятся руины... Смотрит Петро на все это хмурясь, исподлобья, а лицо словно из глины слеплено — ни печали на нем, ни веселья. Видно, не принесла ему воля большой радости, хотя и пришла она так неожиданно. Зато напарник Петра сиял от счастья.

— Вот она, воля наша... — довольно потирал он руки. Потом, обернувшись к парню, восхищенно воскликнул: — А ты, брат, здорово горячий! Ну, как бритвой ему отрезал. Ай-ай-ай!

— Чего же мне с ним деликатничать? Что думал, то и сказал.

— Оно-то, конечно, так... Только давай сматываться отсюда побыстрее... Как бы чекисты не раздумали.

Они побежали вдоль забора, свернули в глухой переулок. Когда вышли на стык улиц, Петро хотел было повернуть вниз, на Беевку, но Трикоз схватил его за рукав:

— Сегодня я тебя никуда не отпущу. Ради такого дела не мешает и по чарке...

Парень на миг остановился как вкопанный, потом решительно зашагал за Трикозом. И наверное, не пожалел потом: сроду не ел он таких лакомств, какими угощала их жена бухгалтера Марфа.

Хозяин дома оказался довольно любезным. Он все время подливал Петру сивухи и предлагал выпить то за счастливый день, то за светлое будущее, то за здоровье «ослободителей». И парень пил, пока не расплылось все вокруг в мутном тумане. Тогда Трикоз взял гостя под руку и вывел на свежий воздух, в сени. Потом о чем-то рассказывал шепотом, что-то обещал, однако слова бухгалтера отскакивали от Петра, словно горох от стенки. Парень соглашался со всем, совершенно не понимая, что от него хотят.

— Э-э, да что с тобой гутарить, — наконец снисходительно махнул рукой Трикоз. — Все равно ничего не понимаешь — пьяный, как чоп *. Иди лучше спать. Только помни, что я тебе сказал, Петро: никому ни слова! Прикуси язык. Человек нынче — зверь, человеку не доверяй, а будешь меня держаться... Короче, вижу, ты хлопец путевый, и в люди тебя выведу. Скоро, брат, скоро и на нашей улице ударят в бубен.

Он легонько толкнул Ивченко в спину. Мелкий осенний дождь пшеном сыпанул в разгоряченное лицо, обдал приятной прохладой. Петро ступил в лужу, натекшую под стрехой **, и покачнулся...

— Смотри же, парень, держись меня, иначе пропадешь, как муха в кипятке... — донеслось до его затуманенного сознания.

Ивченко что-то пролепетал в ответ и поплелся к воротам. Нащупал скобу, открыл калитку. Раздался лай рассвирепевшего пса, и снова все утихло.

Под монотонный шорох дождя Петро шагнул за ворота. Куда же идти? Где же та дорога, о которой говорил Трикоз? Город утонул в непроглядном мраке. Ни огонька, ни голоса. Только дождь шумит нудно и тоскливо, да откуда-то издалека чуть доносятся раскаты частой стрельбы. В такое глухое и тревожное время, наверное, один он остался на распутье. Попробуй найди теперь свою дорогу! Были бы рядом друзья, спросил бы, посове-

* Чоп — колышек, затычка в винной бочке.

** Стреха — нижний, свисающий край соломенной крыши.

товался, куда свернуть — направо или налево. «Интересно, где сейчас Анюта?» И вдруг, будто в зеркале, Петро увидел смуглое девичье лицо. Черные лучистые глаза искрятся растопленным серебром, задорно надуты алые, почти детские губы. «Где ты, Анюта? Вспоминаешь ли обо мне?»

Тоскливо, неспокойно на душе у парня. Сердито тряхнув головой, он бредет по улице. Нелегко ему удержаться на скользкой дороге, поэтому рукой все время судорожно хватается за заборы.

Было уже за полночь, когда он притащился к хате тетки Грицихи. Промокший, сел на завалинку, задумался: «Стучать или, может, в сарае на сене переночевать? Не впервые же. А все-таки просушиться бы нужно. Насквозь промок...»

Стукнул раз-другой в ставню.

Молчание. За долгие годы Петро привык к теткиным ласкам. Снова постучал.

— Кто там? — раздалось наконец изнутри.

— Да это я.

— Кто?

— Биографию вам рассказывать, что ли?

Сухо скрипнула дверь.

— Заходи, — прошепелявили старческие губы.

Петро переступил порог. В лицо повеяло запахом заплесневевшего хлеба и кислого молока. Он остановился у двери — хата будто дегтем налита. Можно задохнуться от спертого воздуха.

На печке что-то долго шуршало. Потом тетка зажгла коптилку. Слабый огонек заморгал в густых сумерках, едва отражаясь желтыми отблесками на теткином лице, изборожденном морщинами.

— Та откуда ж это ты в такую глухую пору?

— Будто не знаете, — пробурчал он недовольно. — Не с курорта же.

— Знаю, что не с курорта. Но раз я тебя кормлю, буду спрашивать, о чем захочу. Есть будешь?

— Спасибо. Накормили добрые люди.

— Чую, на всю хату самогонкой несет.

Грициха села на лежанку. Петро по-прежнему стоял у двери. С его одежды тонкими струйками стекала вода и расплывалась на земляном полу черной лужей.

— Рвань тюремную хоть бы снял, — ворчливо сказала тетка.

Под припечек глухо шлепнула фуфайка.

Петро достал с полки кувшинчик с табаком и начал крутить цигарку. Хмель хотя и прошел, но пальцы все равно не слушались, дрожали. Пришлось набивать трубку. Он прикурил от коптилки, жадно затянулся и сразу зашелся трескучим кашлем.

— Так что тебе там пришивали?

— А это у чекиста Гриценко спросите.

— А Охримчук уже дома... Сама сегодня видела. Ходит по двору такой бледный, видно, хорошо ему от тебя перепало.

— Пусть ходит, пока ходится. Все равно шею сверну. Я с ним еще поквитаюсь!

— Ой, не на того, парубок, кулаки сучишь! Не на того. Охримчук человек безобидный, он как теленок, куда гонят, туда и идет. Ну, подбросил нам по глупости своей колхозный плуг и борону. Да кто же перед богом не грешен? А вот того косолапого аспида, Гриндюка, со святой землицей смешать следовало бы. Слышишь?

— Он зла людям не делает...

Петро не успел договорить, как старуха, хлопотавшая над горячей сковородкой, яростно насела:

— Как это не делает? А твоего отца кто в Сибирь загнал? А меня кто поедом ел?

Петро надулся и ничего не ответил.

Умолкла и Грициха.

Тишина повисла в хате, тоскливая, неприятная. Лишь стекла в окнах сильно дрожали от далекой канонады. Облокотившись на край стола, сидел хлопец, а мысли сновали где-то далеко-далеко. Давно уже трубка погасла — не замечал Петро, все думал.

— Удрал или выпустили тебя? — прервала тетка его мысли.

— А? Вам как будто не все равно.

— Оно, конечно, все равно, да как бы не пришлось потом за тебя ответ держать. Неужели эти антихристы возвратятся? Не приведи господи! — перекрестилась старуха.

— Ах так! — вскочил Петро как ошалелый. — Ну так можете не бояться. Оставайтесь сами!

Бросился к двери, а с лежанки раздалось вдогонку:

— Не кипятись — все равно некуда тебе идти. И не сказала я еще, что Анька перед эвакуацией письмо тебе просила передать. Далеко только сейчас его искать, да и глаза можешь испортить, читая. Ложись-ка спать, а уж завтра и поговорим обо всем.

Петро только зубами заскрипел от злости и стал укладываться в постель.

На другой день Петро проснулся рано. Тетки уже дома не было. Напился квасу, вышел во двор. Небо, покрытое грязными, серыми тучами, сеяло на землю густую седую изморось. На шоссе гудели моторы — немецкие войска вступали в Черногорск.

Петро возвратился в хату и снова лег в постель. Сон не шел.

В полдень вернулась домой тетка. Едва ступила через порог, как сбросила возле лохани с помоями здоровенный мешок и сама присела на него. От частого дыхания в груди у нее что-то посвистывало.

— Ох, еле-еле доперла, — наконец сказала она отрывисто.

— Что?

— Да соль. Чуть свет забегает ко мне Рябчиха. Пошли, говорит, магазин настежь открыт. Мы туда, а там уже кое-кто руки греет... Возле посуды да одеколона давятся. Смотрю я — в ящике соли немного осталось. Ну, думаю, посмотрим, как вы все эти черепки да одеколон мне сносить будете, когда припечет. Без соли-то долго не протянете. Гляди, пуда два будет. Если на рублики перевести, то заработала неплохо. Жаль, тебя с собой не взяла...

Она вытерла заскорузлой ладонью пот со лба и как-то неестественно сухо захихикала. Петро отвернулся к стене и закурил самокрутку.

— А на улицах что творится: солдат видимо-невидимо, да все в железных шапках, машин — не сосчитать. Флаги повывешивали черные как вороны, ну, прямо-таки как при покойном батьке Махно было.

— Поесть дадите что-нибудь? — перебил Петро тетку.

— Вишь, о дровах и не вспомнил, а есть давай. Пан не большой. Подождешь.

Старуха захлопотала возле печки. Отсыревшие дрова шипели и не хотели разгораться. Тетка бросилась к при-

скринку *, вытащила оттуда пачку бумажек и сунула в печь. Сразу затрепыхало ясное пламя, а Грициха вдруг вскрикнула:

— Ой, людоньки добрые, что это за напасть на меня нашла: записку Анюты сожгла.

И она растерянно подала племяннику недотлевший клочок бумаги.

Парня словно пружиной сбросило с постели. Вырвал огарок из теткиных рук да так и застыл стоя. На листке осталось всего несколько слов, и что там прежде было написано, Петро так и не разобрал. Он взял под сундуком топор и пошел в сарай. Долго не заходил в хату — все колол дрова.

Через несколько дней старая Грициха, слоняясь по городу, услыхала, что возвратился Гриндюк с дочкой. Говорили, что попал он в окружение под Полтавой и не успел выехать на восток. Как только Петро узнал об этом, сразу же надел свои новые штаны, рубашку, вымыл старые башмаки и отправился на другой конец города, на Беевку.

Подошел к хате Анюты и остановился в нерешительности: как это ему заходить без дела? Потом все же набрался смелости и открыл дверь.

Еще из сеней Петро услышал в хате дружный гомон. Когда вошел, разговор внезапно оборвался. На диване сидели его одногодки: Марко Петлеванный, Грицько Обух, Семен Майстренко, Одарка Москвич. Все удивленно уставились на него, праздничного, принаряженного. Анюта, как только увидела Петра, раскраснелась ярче ленты:

— Ты что хотел?

— Я? Просто так, по дороге...

— Ну что ж, нам пора, — поднялись Обух и Майстренко. За ними встали и остальные.

— Я вас провожу, — крикнула Анюта им вдогонку.

Спустя минуту Петро стоял посреди хаты один. Уши у него горели, грудь распирало от злости и обиды. «Обошли, поговорить даже не захотели, кроются от меня, не доверяют. Неужели я им чужой?»

Открылась дверь, из маленькой комнатки выглянул дядько Герасим. Высокий, широкоплечий, с неизменным фартуком на груди, он напомнил сказочного кузнеца,

* Прискринок — ящичек в верхней части сундука для мелких вещей.

на самом же деле был сапожником. Усмехнулся в темные усы:

— Чего же стоишь? Заходи ко мне, рассказывай.

Петро даже не взглянул в его сторону.

— На них обиделся? Без тебя обошлись? Значит, не доверяют тебе товарищи.

— Ну и черт с ними! — вскипел гость. — Подумаешь, товарищи! Я тоже без них сто раз обойдусь!

— Вон оно как! Разными дорогами, выходит, пойдете? А я-то думал...

Глаза хлопца затянула серая пелена; чего еще этот Гриндюк лезет в душу...

— Скажите, моего отца вы в Сибирь отправили? — вдруг резко спросил он.

Взгляды их встретились. Дядько Герасим спокойно ответил:

— А если я, то что? Мстить будешь?

Вошла Анюта. Взглянула на гневные лица и застыла на пороге.

— Что же теперь делать собираешься? — перевел разговор Гриндюк.

— А я знаю?

— М-да... В такое время и без руля? Далеко может тебя занести, хлопче, не выплывешь потом. Советчиков много, а совета нет.

— Советуют, спасибо.

— В полицию?

— Хотя бы и в полицию, а что? Не все же вам верховодить!

— Ну что ж, иди. С нагайкой оно легче...

Гриндюк презрительно скривил губы.

Анюта всхлипнула и выбежала во двор. Петра словно кипятком облили, и он крикнул, побагровев:

— Никого я не собираюсь стегать! Вам бы в полицию...

— Да ты не трещи над ухом. Легче, браток, ой легче. Тут не злиться и не смеяться, а ситуацию понимать надо. Кто в твой карман лезет, тот тебе добра не хочет.

— Никому я в карман лезть не собираюсь! Вот пойду в деревню — и пропади все пропадом!

— В кусты спрятаться хочешь? Нет, брат, от жизни не спрячешься, она везде тебя найдет. В селе тоже голова

нужна. Да и неблизко оно отсюда. А для большого похода и сапоги нужны хорошие...

Петро вихрем выскочил во двор. Не оглянувшись, зашагал по улице. «Врагом считаете. Ну что ж, посмотрим!»

И представилась ему такая картина.

Анюту ведут фашисты. Она совсем раздета, а мороз во дворе — камни трещат. Руки у нее связаны проволокой, тело в синяках. Идет Анька, а глаза у нее еле-еле открываются. И вот появляется он, Петро. Хватает за горло одного фашиста, другого, и они будто сквозь землю проваливаются. И на дворе вдруг весна расцвела, придорожные ромашки улыбаются. Дивчина хочет броситься ему на грудь, а он отворачивается и идет прочь. Анюта садится в высокую траву, умоляюще смотрит ему вслед и... плачет. О, как она кается, что оскорбила его! Нет, лучше пусть она не плачет, пусть только сидит и смотрит ему вслед...

Петру кажется, что кто-то действительно сверлит его пристальным взглядом. Оглянулся — вокруг ни души. Позади — город, впереди — поле. По обе стороны дороги буреют некошеные хлеба. Обильные дожди давно уже прибили к земле дородные колосья, зерно высыпалось, проросло, солома потемнела. Никто и не думал собирать урожай, хотя стояла уже поздняя осень.

Еще год тому назад в такую пору под октябрьским солнцем здесь кустилась густая озимь, и среди зеленого моря, словно молчаливые сторожа, маячили одинокие скирды. Теперь от полей несло запустением и скорбью.

Дошел хлопец до развилки дорог. Куда же дальше? Раздавленные гусеницами заболоченные грейдеры тянулись вдаль, и не видно им ни конца ни края. «Да, дороги сейчас тяжелые. Для таких дорог и в самом деле нужны хорошие сапоги».

Петро взглянул на свои старенькие башмаки: носки задрались, передки потрескались, а подошвы отскочили. «Правду сказал дядько Герасим: в такой обуви далеко не уйдешь».

Он постоял на раздорожье и потом решительно повернул назад, к городу.

V

Уже совсем стемнело, когда капитан Гриценко с группой работников государственной безопасности вышел за

город. Остановились на пригорке, в последний раз посмотрели на освещенный заревом пожарищ Черногорск и, опустив головы, молча двинулись дальше.

Дорога за Заполочами была вся запружена народом. Сотни автомашин и подвод медленно продвигались по разбитому шляху. Нудное завывание сирен и разрывы бомб, надрывный гул моторов и скрип телег, ржание лошадей и пронзительный плач детворы — все сливалось в какой-то страшный грохот, в мучительный стон. Этот стон ни на минуту не утихал над дорогой.

Гриценко с тремя лейтенантами свернул в сторону и направился некошеной рожью. Черногорск уже давно остался позади. И странное дело: чем ближе подходили чекисты к Заполочам, тем реже доносилась оттуда стрельба. Наверное, бой утихал. Когда же вдали, за горой, показались пылающие хаты, по разрозненным группам отступающих, будто электрическая искра, прокатилась весть:

— Немецкие танки!

Вскоре из балки донесся глухой гул моторов. Где-то совсем рядом раздалось несколько длинных пулеметных очередей, и огненные струи трассирующих пуль прошили мрак. Послышалась чья-то команда приготовиться к отражению танковой атаки. Поднялся крик. Сотни людей, сбивая друг друга, бросились врассыпную по полю. В темноте кто-то до хрипоты кричал, все еще пытаясь командовать, в другом месте кто-то с дикой бранью разряжал в воздух пистолет. Стрельба прорывалась то спереди, то сзади, то где-то сбоку, и трудно было понять, кто и в кого стреляет.

Чекисты хорошо знали район и сразу же взяли направление на село Кадобы, лежащее над Волчьей Балкой, километров за семь вправо от Заполочей. Бежали полем, напрямик. Красное зарево, кровавым дымчатым пологом затянувшее горизонт, указывало им дорогу. Смешались гражданские и военные. Все чаще попадались в поле трупы лошадей, опрокинутые подводы. Видно, беженцы еще днем выходили из окружения этими же полями.

На рассвете группа Гриценко была уже под Кадобами. Перейдя вброд небольшую речушку, чекисты садами и огородами начали пробираться в село. Но только приблизились к первой хате, как их остановил резкий окрик:

— Хенде хох!

Бросились назад, не открывая огня, и один за другим скатились в балку. (Как потом выяснилось, в село еще с вечера вошли немецкие танки.) После короткого отдыха в придорожном рву решили пробираться на север в лесистые районы области. Хотя Черногорск и был окружен немецкими войсками, линия вражеского фронта, вероятно, еще не сомкнулась и сквозь нее можно было просочиться к своим. Вдоль Волчьей Балки и двинулась группа Гриценко.

Вскоре на горизонте показался лес. Правда, не густой, но все же идти по нему, особенно днем, было намного безопаснее. Поэтому путь продолжали лесом. Чем дальше уходили от Черногорска, тем длиннее казались километры. Уже в первую ночь дали себя почувствовать ноги. У каждого на пятках появились кровавые волдыри.

Проходили дни. Люди ожесточились, ослабли, кожа на их лицах посерела и стала пепельной. Ночью они преодолевали десятки мучительных километров, а днем, спрятавшись в лесной чаще или в копнах немолоченого хлеба, забывались коротким, беспокойным сном.

Петляя по хуторам и селам, группа Гриценко проделала длинный путь и все-таки от Черногорска отошла не дальше как на сотню километров. На седьмой день чекисты решили сделать суточный привал, чтобы приготовиться к новым тяжелым переходам.

Неподалеку от опушки леса разглядели в утренних сумерках скирду. Когда до скирды оставалось каких-нибудь тридцать метров, в соломе что-то зашуршало. Как по команде, все четверо упали на вспаханное поле. Замерли. Сомнений не было, там — люди. Кто они: свои или враги?

Гриценко достал из кобуры пистолет, чтобы в первый же удобный момент открыть огонь. Невыносимо долгими казались минуты. Он прижимался грудью к вспаханному полю, явственно слыша удары своего сердца. Вот снова зашуршала солома, и уже все ясно услышали слабый стон.

— Раненые... — прошептал капитан товарищам.

— А может, засада?

— Сейчас увидим. В случае чего прикройте огнем.

В несколько прыжков Гриценко преодолел расстояние до скирды. А через минуту позвал к себе спутников. Приблизившись, они увидели человека, лежащего на земле.

Уже рассвело, и нетрудно было рассмотреть, что раненый — еще совсем молодой парень в форме лейтенанта. Он лежал с закрытыми глазами. Свежий утренний ветерок ласково шевелил его пышные белокурые волосы. Юноша изредка стонал, и тогда темные тонкие брови надламывались.

Гриценко достал флягу с водой и напоил раненого.

— Кто вы? — прошептал тот.

— Свои, советские.

— Братья, выручайте... Ранен я... Силы последние покидают...

Голос у него был совсем слабый. В груди что-то хрипело и булькало.

— Кто тут у вас старший? Коммунисты есть? Должен передать большую тайну...

Чекисты склонились над ним и показали свои партбилеты. Юноша долго рассматривал красные книжечки с дорогим силуэтом Ильича, потом четко и совсем спокойно сказал:

— Умираю, друзья...

— Крепись, лейтенант. Скоро доберемся до своих, там тебя сразу на ноги поставят.

— Нет, не успокаивайте меня. Пока я не потерял сознания, должен открыть вам...

Усталость будто ветром сдуло с чекистов. Со скорбью и вместе с тем с гордостью смотрели они на лейтенанта. Некоторое время он лежал молча с широко раскрытыми глазами, потом, прерываясь, начал свой рассказ:

— Наша дивизия попала под Черногорском в котел. По приказу генерала Карпенко мы заняли круговую оборону. Три дня вели бои под селом Заполочи с фашистскими танками. Но силы оказались неравные... Перед смертью генерал Карпенко вручил мне свой планшет и приказал любой ценой передать его нашему командованию. Здесь очень важные документы... Передаю вам этот планшет — совесть и честь всей дивизии. Пронесите его, чего бы ни стоило, через все фронты и преграды и передайте командованию. Еще передайте моей матери в Киев...

Раздавшийся вдали сильный взрыв заглушил его голос. Он же вернул чекистов к действительности. Где-то в северо-восточном направлении послышалась стрельба, как будто там разгорался бой.

— Слышишь, друг, фронт близко! Это уже наши на-

ступают! — четверо подхватили раненого на руки и побежали к лесу. Там вырезали две осиновые жерди, прикрепили к ним плащ-палатку и, положив лейтенанта на самодельные носилки, зашагали на выстрелы. Шли напрямик, пересекая полевые тропинки и овраги, блуждая в некошеных хлебах. От усталости деревенели руки, свинцом наливались ноги, пот заливал глаза. Раненого несли по очереди. Сначала он глухо стонал, метался в беспамятстве, а потом вдруг затих, умолк.

Никто не знал, сколько километров преодолели люди капитана Гриценко. Остановились только в каком-то овраге, около криницы, под древними вербами. Положили носилки на землю, и в это время из-за горизонта выглянуло неяркое осеннее солнце. Его косые лучи упали па бледное, даже прозрачное лицо лейтенанта. Он открыл глаза и утомленно улыбнулся.

— Против солнца цветут розы — будут дни погожи... — прошептал он пересохшими губами.

Гриценко пошел к кринице набрать во флягу воды. Когда он вернулся, юноша был мертв.

Хоронили лейтенанта без салютов. Сняли фуражки, постояли несколько минут в молчании над могилой и, взяв планшет, как святыню, понесли его через вражеские тылы к своим. Никто не произнес ни единого слова, хотя каждому хотелось сказать: «Спи спокойно, наш юный товарищ. Мы выполним твой завет. А после войны поставим тебе памятник на века...»

И снова четверо людей упорно пробирались полями и перелесками. Стрельба понемногу утихла, а со временем и совсем прекратилась. Когда солнце уже поднялось высоко над деревьями, чекисты увидели село, над которым гигантским грибом висел черный дым. Кустарниками подошли к околице. В саду встретили какого-то седоголового старичка.

— Слушай, отец, где тут дорога к своим?

Старик с недоверием исподлобья оглядел их и крикнул:

— Гей, гей, хлопцы, а ну-ка покажите дорогу этим молодцам к генералу Горе.

Из хаты выбежали два красноармейца с автоматами на груди. Один из них подошел к чекистам:

— Чего задворками шляетесь? А ну, выкладывай оружие!

— Ты нам его вручал? — спросил Гриценко тоном, не терпящим возражений, и приказал: — Ведите к своему командиру.

— Оно и в самом деле так лучше будет, — заметил другой боец. — Командир во всем разберется.

Шли селом. Тихие, безлюдные улицы удивили Гриценко. Нигде ни души. И когда достигли просторного выгона *, заполненного народом, он понял, что все население собралось на митинг.

Еще издали чекисты увидели широкоплечего бородатого человека, выступающего перед толпой. Потом его сменил стройный красноармеец. Чекисты вместе со своими конвоирами подошли к толпе и остановились, чтобы послушать юного оратора, читающего стихотворение:

Огнем зари восток занялся,
Повел с конца в конец.
В края родные возвращался
С войны слепой боец.
Все дальше в путь дорога манит,
Курган стоит седой...
Ожил в предутреннем тумане
Мир новый, молодой.

Он читал негромко, но каждое его слово разносилось по всей площади. Мертвая тишина стояла вокруг, лишь изредка женщины нарушали ее всхлипыванием.

— Кто это? — обратился Гриценко к красноармейцу.

— Поэт наш, Андрей Коляда, — улыбаясь, ответил тот. И тут же лицо его стало серьезным, и он недовольно буркнул: — Молчите...

После митинга чекистов привели к командиру, который сидел около самодельной трибуны, разложив на коленях карту. Это был тот самый коренастый человек с черной бородой, который выступал здесь до Коляды. Заметив Гриценко и его товарищей, он прикрыл карту планшетом и строго оглядел их.

— Кто такие?

— По форме не видишь? Из окружения выходим.

— Форма сейчас ни о чем не говорит. Мало ли подозрительных типов в разных формах шатается? Документы есть?

---

* Выгон — сельская площадь, место для сбора крестьян.

Гриценко неторопливо подал свои документы. Неизвестный командир очень внимательно, даже с интересом, просмотрел их, потом сказал:

— Значит, из Купянска родом?

— Как видите, оттуда.

— Чекист? Смотри, и в комсомоле бывал?

— С двадцать второго года, до вступления в партию.

— А кто ж у вас в Купянске комсомолией заправлял?

Капитан прекрасно понимал, что бородатый командир ему не доверяет, и, чтобы рассеять его сомнения, ответил спокойно и обстоятельно:

— При мне нашим вожаком Горовой был. Человек боевой. Я, правда, мало его знал, так как он вскоре после моего вступления в комсомол выехал из Купянска на лечение. Помню, одно время в районе появилась банда Илька Пречистого. Никак чекисты не могли с ней справиться. Тогда Горовой организовал из молодежи отряд и целую неделю за этим бандитским батькой гонялся, пока в капкан не загнал. Но в последнем бою Панас был тяжело ранен в голову. Его отправили в госпиталь, а вскоре я уехал в Киев на учебу. Вот так и разлучились...

Бородач слушал, слушал, потом широко улыбнулся и сдернул с головы фуражку. И тут Гриценко заметил у него на лбу багровый рубец, знакомыми показались и вьющиеся пряди...

— Панас? Горовой?!

Они бросились друг другу в объятия. А вокруг все удивлялись такой неожиданной развязке разговора.

— Сегодня, оказывается, у меня двойной праздник, — первым заговорил Гриценко. — Да, кстати, помоги мне побыстрее добраться до командующего армией. У меня к нему чрезвычайно важное дело.

Горовой не торопился с ответом. Вытащил из кармана кисет, скрутил цигарку и только после глубокой затяжки проговорил:

— А я, друг, сам больше двух месяцев ищу дорогу к командующему. И никак найти не могу.

— Это как понять?

— А так, что мы — всего лишь истребительный батальон. В рейдах по вражеским тылам с середины июля. Ночью идем, а днем отдыхаем. Вот разузнали, что в этом селе гитлеровские каратели остановились, а на рассвете вместе со школой их в воздух и подняли. Видишь дым?..

А вечером снова в дорогу. Ты сейчас со своими хлопцами иди искупайся в пруду, пообедайте, потому что в полдень выступаем. А я тут командирам некоторые распоряжения отдам. По дороге поговорим... Рядовой Дердиященко, проводите товарищей, — приказал он одному из «конвоиров».

Только сейчас Гриценко почувствовал, как смертельная усталость сковала тело. Не хотелось ни есть, ни пить, ни умываться — только бы упасть на землю и заснуть. А за спиной слышался голос Горового:

— ...не только в селах, но и по хуторам. Возвращайтесь к девяти вечера. Ждать будем в лесу.

Уже давно ночной мрак раскинул над лесом свои темные шаты *, а разведка все не возвращалась. Бойцы истребительного батальона под холодным дождем устроили привал в перелеске, ожидая приказа о выступлении. Ждали и чекисты. Разведка возвратилась только около полуночи. Пробираясь сквозь колючие заросли терна, разведчики бережно несли кого-то на руках.

Разыскав командира батальона, они коротко доложили:

— В окрестных селах обнаружили многочисленные отряды полевой жандармерии. Дорогу нашли в обход, через хутора. Когда шли назад, напоролись на засаду. Андрей тяжело ранен.

— Андрей?! — не то выкрикнул, не то простонал кто-то в толпе.

Андрея Коляду бойцы горячо любили. Любили за щедрую душу, за меткое слово, за бесстрашное сердце. Никто не мог сравниться с ним в разведке. Не раз, бывало, пробирался он в самое фашистское гнездо и выведывал все, что нужно. Когда в разведку ходил Коляда, батальон ни разу не сбивался с маршрута. Сам он был родом из этих краев и местность знал хорошо.А теперь он лежал на руках товарищей слабый и бездыханный.

— Не стало у нас еще одного хорошего друга, — прошептал командир.

Два месяца действовал во вражеском тылу истребительный батальон Горового, громил вражеские гарнизоны, уничтожал мосты и железные дороги, и почти каждый день вырывал из рядов народных мстителей все новых и новых бойцов. С тяжелыми боями из житомирских лесов

---

* Шаты — богатая одежда.

через всю Киевщицу пробирались к своим смельчаки. Но фронт, как нарочно, отодвигался все дальше на восток. Больше трех недель прошло с того дня, как отряд потерял связь с Большой землей. Только по слухам, ползущим по селам, люди Горового знали, что Красная Армия оставила Киев и отступила за Днепр.

— Придется Андрея где-то на хуторе оставить — умрет в походе, — решил Горовой и отдал приказ выступать.

Вслед за разведчиками потянулись молчаливые бойцы и командиры. Заметая за собой следы, шли через яры, в обход больших сел, где разместились каратели. В первом же хуторе постучали в окошко крайней хаты. На стук отозвалась старушка:

— Кто там?

— Партизаны.

— Что хотите, сыночки?

— Просьба к тебе, мать. Сыны у тебя есть?

— На фронте оба.

— Вот у этого раненого тоже есть мать. Она ждет его... Возьми к себе хлопца, выходи. О твоих сыновьях тоже чья-нибудь мать позаботится.

Вытерла слезы старушка, захлопотала. А бойцы обняли на прощание своего почти бездыханного друга и снова выступили в далекую дорогу.

VI

— Ай!.. Ай!.. Ай! — послышались из хаты какие-то странные выкрики.

Марфа так и окаменела. Выпал из рук клубень картошки, коротко лязгнула о ведро лопата. «Что это там случилось? Когда на огород выходила, Трофим с приятелем своим, Петром Ивченко, сидел, дочка в хате прибирала. А может, пришли...»

Тревожные времена настали, ненадежные. Словно чума прошлась по городу — опустели когда-то шумные, солнечные улицы. Даже днем редко увидишь прохожего. Псы и те забились по глухим закоулкам и словно онемели. Видно, и животные почувствовали, что не люди, а сама смерть снует по селам в черных суконных мундирах с эмблемами черепа и костей на рукавах.

Несколько дней Марфа не выходила на улицу, не выпускала и свою двадцатилетнюю дочь. Но зима была уже не за горами — взяла Марфа ведро да лопату и пошла на огород рыть картошку. Не успела и десятка кустов выкопать, как из хаты вдруг раздался этот странный крик. «Не глумятся ли ироды над Оленкой?» От этой мысли тревожно заныло в груди...

Спотыкаясь о кусты, Марфа кинулась во двор. Вскочила в хату и застыла — перед зеркалом замер Трофим, грудь выпятил, нос задрал в потолок. Его правая рука вытянута вперед, а глаза отсвечивают в зеркале тусклым нехорошим блеском. Таким высокомерным и спесивым она никогда не видела своего мужа. Подошла, ласково спросила:

— Что случилось, голубь? Где Оленка?

Он даже глазом не моргнул. Столбом стоял посреди хаты, будто кол проглотил. Еще раз окликнула — молчит, как воды в рот набрал. «Господи, и что с ним творится? — подумала она. — Только три недели в тюрьме побыл, а теперь словно его там подменили. Говорить не говорит, ночами не спит, все о чем-то думает, смотрит на всех ненавистно».

Быстро метнулась в сени, намочила бураковым квасом полотенце и снова к мужу, приложила к лысине — говорят, всегда в память приводит.

— Прочь, нечистая сила! Дуреха! — завопил Трофим и с такой силой швырнул полотенце в красный угол, что оно прилипло к лику святого Николая чудотворца.

Муж посмотрел исподлобья на Марфу, сплюнул и сел на скамейку. Спина его ссутулилась, глаза дико уставились в глиняный пол. Дрожащими пальцами схватил рашпиль и с болезненной ненавистью стал шкрябать по тупому заржавленному лому. Железо, словно от боли, заскрипело, завизжало, а лицо Трофима скривилось в судорожную самодовольную улыбку.

— Трохимчик, да перестань ты хоть на минуту, Христа ради, — снова стала льнуть к нему Марфа. — Ну скажи, милый, что с тобой? Я же тебе всегда только добра хотела. Поделись, что твою душу гложет. Каким-то не таким ты стал. А может, болит что-нибудь? Да кончи же ты шкрябать рашпилем, зачем он тебе. — И она положила руку на лом.

— Отстань от меня! Ну и опостылела же ты мне, как гнилая редька, опостылела! Так и липнешь дегтем к душе!

Он резко встал со скамейки, холодно повел мутными глазами и потащился во двор. Женщина бессильно опустилась на пол, склонила голову на грудь и тихо зарыдала, без слез, обхватив голову руками. Вот дождалась благодарности за многодневные заботы!

Откуда только брались у Марфы силы и терпение, чтобы сносить все обиды и несправедливости, выпавшие на ее долю. Видно, в несчастную годину родилась она, потому что за свои сорок лет не слышала ни слова приветливого, ни ласки людской. С малых лет осталась она сиротой, росла в наймах среди чужих людей. Пасла чужой скот. Нет, не было у нее беззаботного детства. Когда же заглянула семнадцатая весна, пошла батрачить в экономию пана Мюллера. Все лето вязала без устали тугие пшеничные снопы. За старательность и сообразительность эконом взял ее на зиму к хозяйскому двору, для работы на коровнике. Не догадывалась тогда дивчина, какое лихо поджидало ее на панском дворе.

Осенней ночью, когда она возвращалась из коровника в людскую, встретил ее возле клуни * рыжий Ганс, сын Мюллера. Похолодело в душе у Марфы. Не раз она замечала, как Мюллер-младший бесстыдно следил за каждым ее движением, когда она наклонялась над снопами.

Бросилась в сторону, однако Ганс успел схватить ее за руку. От него несло винным перегаром, глаза похотливо жмурились. Даже месяц закрылся пологом туч, чтобы не видеть этих наглых глаз, оскаленных зубов, всклокоченных волос. Ганс прижал ее к себе и... Страшно даже вспомнить об этом.

Но, видно, суждено было и ей немножко счастья: в эту ночь молотильщики остались ночевать в клуне, чтобы на следующий день пораньше начать работу. Услышав приглушенный девичий крик, во двор выскочил Савва Латюк. И как только увидел барахтающегося Ганса, сразу все понял. Выдернул из плетня кол и шарахнул обидчика по голове. Ганс взвился ужом, зажал ладонью рассеченный лоб и, воя, кинулся наутек.

Савва подошел к дивчине. Высокий, широкоплечий, всегда улыбающийся, он стоял перед ней и не знал, что

* Клуня — гумно, овин, житница.

говорить. А лицо Марфы залил мучительный румянец, жег стыд. Всхлипнув, она припала к груди парня. В этот же миг ясным оком выглянул месяц. Хлопец нежно гладил ее плечи и смотрел, смотрел... Видно, пришлась ему по душе пышная девичья коса, а может, заворожили темные глубокие очи.

— Нелегко тебе одной придется... Давай вместе будем, — сказал Савва.

И они пошли по жизни вместе. Только очень коротким был их путь. Через несколько месяцев грянула революция. Савва пошел в Красную гвардию. Вместе с другими бедняками делил панскую землю в уезде. Однако не суждено было бывшим батракам собрать свой первый урожай: саранчой налетели из Киева гайдамаки. Привел их в Черногорск сын мюллеровского эконома Михась Деркач. Не справиться беднякам с такой силой, и подались они вместе с Саввой к Щорсу.

Много дней прошло с тех пор, как родилась у Марфы дочка Еленка. Давно уже хозяйничали в Черногорске комнезамы, а Савва все не возвращался с польской войны. Летними вечерами уходила Марфа с грудным ребенком на руках на киевский шлях и долго стояла, всматриваясь в даль. Нет, не видно Саввы на дороге, не спешит он к дочке.

А дни летели...

Однажды майским вечером 1922 года кто-то осторожно забарабанил пальцами в окно. Марфа подошла к окну, глянула и обомлела — во дворе стоял военный. Хотела вскрикнуть — речь отнялась, думала навстречу броситься — ноги будто не свои. С трудом открыла дверь.

В хату вошел высокий человек:

— Мир дому сему! Прими, Марфина, поклон земной от Саввы.

Только тогда женщина узнала пришельца: это был Трофим Трикоз, сын мюллеровского конюха Онисько. Его правая рука белела бинтами, шея тоже была забинтована. Сам худой, черный, только глаза блестят, как угли.

Хозяйка пригласила гостя сесть. Трофим снял буденовку, примостился у края стола.

— Не знаю, как и начинать, — наконец выдавил он из себя. — Одним словом, должен тебе, Марфа, сказать, чтобы не ждала ты своего Савву: погиб он.

Марфа не заплакала, не заломила руки. Ее словно парализовало. Сидела у камина и, будто сквозь сон, слушала Трикоза.

— Это случилось за Шепетовкой. Наш эскадрон был в боевом дозоре. Въехали мы на рысях в одно село, а там — белополяки. Ну и началось. Савва, командир наш, не из тех, кто отступает. Вихрем носился по улице. Я—следом за ним, чтобы в нужную минуту на помощь броситься: земляки же как-никак. И вот выскакиваем аж на кладбище, а там офицерня между крестами попряталась. Савва — на кладбище. Троих хорунжих зарубил, на четвертого замахнулся и... короче, выстрелил тот Савве в грудь. Ну, тут и мне досталось. Рубанул какой-то гад. Да так, что вот уже третий год никак не очухаюсь. Все кости в плече перерубил... Завещал мне Савва, если что с ним случится, передать тебе земной поклон.

С того вечера не всходило больше для Марфы солнце красное. Слонялась как в воду опущенная. Спасибо, хоть Трофим не забывал: наведывался вечерами, рассказывал про лютые сечи, играл с трехлетней Аленкой. Вскоре умер его отец, старый Онисько, и остался Трофим в доме один как перст. Нелегко ему приходилось — раны не заживали, а на руках хозяйство как-никак. Тогда и предложил он Марфе:

— Были мы с Саввой верными друзьями: одну жизнь строили, одной дорогой шагали. Не по пути ли нам с тобою, Марфа? Аленке отец нужен...

Подумала женщина, подумала и согласилась. Но не пришло с Трофимом счастье в ее хату. Жили они мирно, спокойно, и все же какая-то незримая стена всегда стояла между ними. Трофим был молчаливым, замкнутым. Марфа никогда не знала, что у него на душе, хотя изредка замечала в глазах мужа такую злобу, такую тоску, что потом его глаза и во сне преследовали ее. Она думала, что настроение такое у него от болезни. Потом зажили раны, а Трофим стал еще угрюмее и нелюдимее. Он сторонился людей, избегал разговоров, жил какой-то странной и непонятной жизнью, все больше отдалялся от семьи. Уже во время войны он попал в тюрьму за растрату государственных денег. Вернулся оттуда еще больше озлобленный. И теперь всю злобу вымещал на Марфе.

...У порога что-то затарахтело. В комнату вбежала доч-

ка. Марфа вытерла глаза, подняла голову — лицо у Елены бледное, губы дрожат:

— Мамочка, немцы... Они там с отцом!

— Прячься, дочка! Прячься немедленно!

Через сени они бросились в каморку. Елена опрометью вскочила в высокую кадушку, а мать накрыла ее кружком и разложила на нем несколько головок капусты. Потом опасливо вышла во двор. Никого. Выглянула на улицу — тоже никого. Вдруг из парка Мюллера послышались голоса. Марфа припала к плетню.

Недалеко от облупленного, с разбитыми стеклами за́мка Мюллера стоял высокий сухопарый немец в черном мундире. На груди у него висели какие-то блестящие металлические бляшки, видно награды, в руках хлыст. Позади него стояли два офицера и еще несколько солдат. А перед ними, потупив голову, — Трофим. В его фигуре было столько покорности и бессилия, что Марфа сразу забыла про оскорбление. Но как ему помочь?

— Ты должен знать, кто грабил имение! — гаркнул фашист. Голос показался женщине знакомым, она еще внимательнее присмотрелась к сухопарому немцу.

Длинное и худое лошадиное лицо фашиста было украшено золотым пенсне. Красной морковиной висел мясистый нос. Когда Марфа увидела рыжие космы, то почувствовала, как пот выступает у нее на лбу...

— Боже мой, боже мой! Неужто судьба так безжалостна ко мне?

— Какое счастье! Сегодня я вижу перед собой ясновельможного пана Ганса Мюллера! — слышался заискивающий голос из толпы фашистов. Она с трудом узнала голос Трофима...

VII

— Вижу, у пана майора сегодня не совсем хорошее настроение, — сказал Мюллер, отхлебнув из серебряной чашки горячего крепкого кофе со сливками.

Долговязый Отто Шмультке даже не шевельнулся. Он стоял спиной к полковнику и тупо смотрел в окно, словно считал пузыри на улице в мутных лужах дождя. Французская сигара в его зубах давно погасла, но Шмультке не замечал этого.

Полковник Мюллер догадывался, почему у коллеги плохое настроение: вчера Отто получил извещение о том,

что где-то в степях под Одессой погиб его старший сын Карл.

Что же, в таком случае даже офицер войск СС может немного погрустить. На пользу. Будет злее в работе, меньше будет жалости к тем, на кого давно пора надеть хорошие цепи. Допив кофе, Мюллер приложил салфетку ко рту и встал из-за стола. Застегивая китель, прошелся по кабинету. Придирчиво осмотрел вещи. На его длинном, худощавом лице с отвисшими губами появилась улыбка: гарнитур ему нравился.

На полу щедрыми красками горел персидский ковер, принесенный сюда из городского Дворца пионеров. У стены стоял старинный мягкий диван с зеркальной спинкой. Бархат, причудливые узоры, вышитые подушечки! Вот что значит умело провести у населения реквизицию «для нужд армии фюрера».

У другой стены тянулся ряд мягких стульев красного дерева. В углах возле окон на подставках возвышались вазы, сделанные несколько столетий назад умелыми руками венецианцев. Только массивный стол с большим чернильным прибором как-то неуклюже прижался к полу. Над столом, в проеме окон, висел портрет фюрера.

Мюллер долго и внимательно всматривался в выражение лица Гитлера, потом подбежал к зеркалу, отбросил назад рыжие пряди волос, пристукнул каблуками начищенных до блеска сапог, еще раз повернулся, осмотрелся вокруг. Нет, что ни говори, хоть он и рыжий, и осунулся немного за последнее время, есть у него что-то от фюрера. Полковник довольно улыбнулся, погладил ладонью хорошо выбритые щеки и сел за стол. Закурил сигару. Кольца дыма поплыли под потолком, но скоро его начала угнетать тишина. А болван Отто как тень все маячил перед глазами.

— Знаете, пан Шмультке, не так уж и плохо в этой России, черт побери, — начал Мюллер со своего стереотипного «знаете», выработавшегося у него на допросах.— Пусть русские дожди не нагоняют на вас скуку и отчаяние. Тучи идут с запада, ветер веет с фатерланда. Он несет запах родной земли, придает нам силы для борьбы. Знаете, фюрер оценит вашу большую потерю и...

Шмультке оглянулся, тупо сверкнул вытаращенными глазами и снова уставился в мутную лужу. Он, наверное, так и не разобрал, о чем говорил полковник.

«О, это уже никуда не годится, — подумал Мюллер. — С таким настроением лучше в петлю, чем идти в бой против большевиков... Прикрикнуть на него, что ли? Пусть придет в себя». Ганс Мюллер хорошо знает натуру Отто: только затронь — обидится и обязательно потом отомстит. Разве мало своих коллег отправил он на тот свет?

Мюллер подошел к Шмультке и положил руку ему на плечо.

— А знаете, мой покойный отец тоже сложил голову где-то на этой проклятой Украине. Вам, конечно, известно, что я рос близ Черногорска. Мы имели очень приличное имение. О, я любил щедрую солнцем и красками Украину, пока не побывал в родном фатерланде. Меня отдали в Иенский университет. Профессора, как видите, из меня не вышло, а вот немцем я стал. Настоящим немцем по духу, с такой, знаете, ницшеанской закваской. Когда в прошлую войну я вернулся на Украину, она представлялась мне неисчерпаемым сундуком с деньгами. И мы с отцом начали служить этой идее. Через агентов на всех базарах скупали на фальшивки ценности и золотые вещи. Скоро три сундука трещали от сокровищ. Но в это время созрел гнойник революции, и все полетело вверх тормашками. Землю моего отца разделили между собой местные красные бандиты. Правда, скоро имение снова стало нашим — в город пожаловал курень петлюровцев. А там не замедлили явиться и войска кайзера. Я немедленно поехал в фатерланд, чтобы решить с банками дело о принятии ценностей, и вдруг... В те дни в Берлине вспыхнула революция. А Черногорск захватили красные. Отца довез прямо до Польши наш кучер Онисько, но при переходе через границу отца убили. Кучер тоже скоро умер, а клады наши... Вне всякого сомнения, их захватили чекисты. Поэтому, как видите, у меня с этими варварами есть еще и личные счеты. Не горюйте, Отто, у всех нас были потери, но они окупятся сторицей.

— А я совсем не о сыне думаю, — спокойно отчеканил Шмультке трескучим неприятным голосом. — Меня другое волнует: в городе немало евреев, и мы все еще дышим с ними одним воздухом. Эту «санитарную» операцию нужно провести немедленно. За одну ночь, чтобы не поднимать такого шума, какой получился в Киеве. Вот тогда и окупятся наши потери.

Даже Мюллер был поражен словами майора: думать в такую минуту о золоте, о карьере... Но он только усмехнулся:

— Знаете, Отто, я всегда ценил вас как вдумчивого стратега и поражен, что вы ломаете голову над такими мелочами. Ведь в этом деле нам могут помочь местные антисемиты. О, я помню варфоломеевские ночи, которые устраивали молодчики из союза Михаила Архангела! Сейчас для этого нужен хороший организатор. У вас есть кандидатура?

— Да. Петро Ивченко. Доложили, что он — сын раскулаченного. Только что освобожден нами из большевистской тюрьмы...

— Знаю о таком, — прервал Мюллер. — А сколько ему лет?

— Кажется, двадцать.

— Так и знал, что вы не учитываете такого фактора, как опыт. Нужен опытный в делах человек. Можно ли доверять молокососу?

— Все это теоретически верно, но такого человека разве сразу найдешь, — сердито прохрипел Отто и зашелся кашлем.

— О, положитесь на меня. Я уже подумал обо всем. Скоро придет такой человек. Правда, его нужно еще будет хорошо обработать.

Шмультке сильнее захрипел, даже уши налились кровью. Ну и везет же хвастунишке Гансу. Недаром в свои сорок лет он уже успел получить погоны полковника. А он, Отто Шмультке, начавший служить еще тогда, когда Мюллер пешком под стол ходил, до сих пор сидит в майорах из-за таких вот выскочек...

Минут через сорок дежурный офицер доложил, что пришел русский и просит допустить его к полковнику.

— Ведите сюда!

В кабинет вошел высокий, сутулый человек. Он хмуро смотрел исподлобья. Придирчиво оглядев согнутую, кособлечую фигуру, Отто нашел его вполне подходящим для своего дела. Человек постоял с минуту, потом, что-то вспомнив, сделал шаг вперед и неестественно громко выкрикнул, оскалив гнилые зубы:

— Айл Гитлер!

Офицеры небрежно ответили:

— Садись!

Человек сел.

— Знаешь, для чего я тебя вызвал? — холодно произнес Мюллер, даже не взглянув на него.

— Знаю, герр оберст.

— Ты должен подробно объяснить немецкому командованию, как случилось, что ты оказался на службе у большевиков.

— Я по порядку, можно?

Оберст одобрительно кивнул головой и бросил многозначительный взгляд в сторону Отто, который сидел с каменным выражением лица. Лишь карандаш в его руках бегал по страницам записной книжки.

— Еще во время той войны я выполнял некоторые задания немецкого командования, которые передавал мне «Земляк». По его приказу я вступил в войско Петлюры, служил в Державной варте Скоропадского. Но эти правительства держались недолго, мне приходилось все время кочевать, и связи с немецкой разведкой усложнялись.

— Ближе к делу! — прикрикнул Мюллер.

— Мы отступали из Киева. В одном селе под Шепетовкой неожиданно напали буденновцы. Бой мы приняли, но пришлось отступать. Когда я с несколькими хорунжими бросился на сельское кладбище, на нас налетело двое верховых. Один из них был Савва Латюк — вы, наверно, помните его, пан Мюллер. Не так ли? Так вот, Савва узнал меня и замахнулся саблей. И хотя я успел выстрелить ему прямо в грудь, он, полумертвый, разрубил мне плечо... Опомнился я уже в госпитале. Думал, что расстреляют. К превеликому удивлению, меня приняли за красного. Я бредил и часто выкрикивал имя Саввы, а он, как потом я узнал, был у них заслуженным командиром. Когда я пришел в сознание, меня окружили комиссары и стали расспрашивать о смерти Латюка. И я рассказал... Так я стал «большевиком». Мне поверили. После госпиталя выдали документы, и я приехал в Черногорск. Долго не мог работать, потому что рана не заживала. Боялся, что меня разоблачат. Решил примазаться к жене убитого большевистского командира. Вот так судьба свела меня в одной постели с большевичкой. Я терпел все мужественно. Хотя бывали минуты, когда казалось...

— Твоя психика нас мало интересует. Мы хотим знать, почему наш агент Трикоз стал прислужником большевиков? — снова повысил голос оберст.

— У них все живут по принципу — кто не работает, тот не ест. Не работать я не мог. Вот и стал бухгалтером МТС. Исполнял свои скромные обязанности: тихо щелкал на счетах, своевременно сдавал финансовые отчеты и выплачивал работникам заработную плату. Нигде и никогда не выскакивал в передовики. Старался быть вежливым, никому не возражать. В МТС говорили обо мне как о честном труженике и...

— А почему перестал служить нам?

— Я потерял с вашей агентурой связи и законсервировался.

— Сразу же после прихода к власти фюрера мы специально, для восстановления связи прислали сюда «Земляка».

— Он был убит чекистами двадцать восьмого мая в саду вашего отца до того, как встретился со мной.

— Нам известно, кто приложил руку к этому делу...— многозначительно произнес Шмультке и ехидно усмехнулся.

Все время Трикоз вел себя спокойно. Стоило только в разговор вмешаться Шмультке, как он заерзал на стуле.

...О, если бы только могли узнать слуги фюрера, какие мысли роились в эту минуту в голове Трикоза! В его памяти всплыли события давно минувших дней. 1933 год... Грозовая майская ночь... Парк Мюллера, по которому идут двое... Взмах руки, и острый шкворень вонзается в спину человека, шедшего впереди. Отчаянный крик, тело глухо ударяется о землю... Убийцей был он, Трикоз. От этих воспоминаний на лбу у него появились мелкие капельки пота, которые сразу заметил Отто. Оскалив зубы, он прохрипел:

— Чем можешь опровергнуть?

— Чем угодно... Посудите, разве стал бы я рисковать в июне этого года, когда ко мне прибыл ваш агент? Для выполнения задания он требовал денег... Много денег. И я взял их в кассе. Восемьдесят тысяч взял и отдал ему. Потом ревизия, тюрьма... Именно в этом кабинете меня допрашивал чекист Гриценко. Я не сознался...

Шмультке схватывал на лету каждое слово и записывал в блокнот. Глаза его ожили, как у коршуна, увидевшего падаль. Он все время облизывал толстые влажные губы.

— Твой рассказ похож на выдуманную чекистами историю. — Мюллер встал, засунул руки в карманы галифе и подошел к Трикозу. — Неужели ты думаешь, что нас можно обмануть такой дешевкой? А если нам известно, что ты перекрашенный чекист?

Трикоз побледнел, у него мелко задрожали пальцы правой руки, лежавшей на коленях. Едва сдерживая волнение, он пролепетал:

— Докажу... Чем угодно докажу! В мире никто, кроме меня, не ведает, где ваш отец и его верный кучер Онисько спрятали сокровища. Если бы я был чекистом, если бы я хотел... Золотом меня озолоти, все равно не сказал бы...

Мюллер, как ошпаренный, подскочил к Трикозу. Глаза у него загорелись, словно у голодного волка.

— Тебе известно, где сокровища моего отца? И ты не выдал их? Говори!

И Трикоз рассказал. Потом схватился за голову руками и протяжно завыл, как пес, у которого отняли жирный кусок.

— О, это заслуживает внимания! — уже весело заговорил Мюллер, расстегнув китель. — Но пока слишком мало. Чтобы окончательно убедить нас в твоей преданности фюреру, надо доказать это делом.

— Что я должен еще делать?

Двое опытных слуг фюрера дали ему точные инструкции.

VIII

Своего приятеля Петро дома не застал. Жена Трикоза, Марфа, сказала, что муж отправился куда-то еще на рассвете, а когда вернется, она не знает. Парень потоптался смущенно на пороге и, попрощавшись с хозяйкой, вышел на улицу. Постоял немного у калитки, потом не спеша направился к центру города.

Война наложила на Черногорск свой зловещий отпечаток. Город стал каким-то молчаливым и настороженным. Закрылись магазины, почти совсем обезлюдели улицы, затихли всегда шумные школьные дворы. Петро шел по проспекту, такому уютному в прошлом, и не узнавал его. Половина деревьев вырублена, цветники растоптаны, всюду грязь и запустение. Увидел все это, а в душе такое

чувство, будто ему на открытую рану кинули горсть соли.

Почти в самом центре, на стыке улиц, он неожиданно столкнулся с Трикозом. Оба остановились и удивленно посмотрели друг на друга. Первым заговорил Трофим:

— Ты чего серый, как туча?

— Значит, нечему радоваться.

— Тетушка голову грызет, что ли?

Парень махнул рукой и отвернулся.

— Как живешь, что делать собираешься?

— Теткины молитвы за упокой большевиков каждый вечер слушаю. Уж так они мне надоели, что сил нет: хоть бы на неделю-другую к дяде в село отправиться.

Трикоз сморщился, будто ему под нос сунули тухлое яйцо.

— Не в Яновщину ли, случайно, собираешься?

— Ну да.

— Не советовал бы я тебе туда ходить: время не то.

Потом наклонился к самому уху Ивченко и зашептал:

— Великие дела намечаются, большим человеком можешь в городе сталь. Ворон только не лови.

— А мне-то чего ждать? Лучше, чем сейчас, не стану. А на могилу к матери пойду, какие бы там перемены ни намечались.

Трикоз заметил, как собеседник нахмурил брови, и поэтому возражать не стал. Еще в тюрьме он достаточно убедился, что Петра уговорами не возьмешь. Да и легко ли уговорить человека, чтобы он не шел на поклон к могиле родной матери? И к тому же Петро родом из Яновщины, а родные места всегда манят.

— Ну, раз решил, иди. — Трикоз положил руку на плечо юноши и вкрадчиво добавил: — Я и сам бы так сделал. Только вот что: поступай как знаешь, а в таких ветхих башмаках я тебя в дорогу не выпущу. До Яновщины, пожалуй, верст сорок наберется, а башмаки-то твои, посмотри, прямо никудышные. Возьмешь мои чеботы: свои люди — сочтемся! Подожди немного, я сейчас вернусь.

Петро стоял на раздорожье и никак не мог понять, почему это бывший бухгалтер так внимателен к нему. Не замышляет ли он чего-нибудь? Поведение Трикоза было слишком подозрительным. А может, он просто добрый человек. Разве ж мало на свете хороших, бескорыстных людей?..

Примерно через полчаса Трикоз вернулся. Протянул Петру какую-то небольшую коричневую книжечку:

— Удостоверение для тебя.

Петро глянул на картонную обложку и от удивления даже глаза вытаращил:

— Да какой же я полицай? Кто это придумал?

— Не будь дураком, — уже сердито зашипел Трофим. — Этот листик всюду перед тобой дорогу откроет. А без него, смотри, как бы тебе в первом же селе не надели на шею «конопляный галстук».

Парень молча повертел в руках кусочек картона и спрятал в карман.

— Вот так бы сразу. Ну, давай заглянем ко мне...

Поздно вечером Петро возвратился домой пьяный. На нем были добротные, домашней работы чеботы и еще совсем новая фуфайка. Грициха, как увидела принаряженного племянника, даже руками всплеснула:

— Откуда на тебе такое добро? Куда снарядился?

— В Яновщину...

— Какого беса ты там не видел? — вспыхнули в глазах ее зеленоватые огоньки и тотчас погасли. Потом тетка заговорила, усмехаясь: — А впрочем, почему бы не навестить дядечку? Когда будешь по селам проходить, расспроси о ценах на всякую всячину, приценись к соли, разузнай, что мужичкам нужно.

Еще долго она поучала Петра, что надо делать для успешной коммерции, парень же, как только улегся на лежанку, сразу уснул крепким молодецким сном.

На следующий день на рассвете Петро отправился в путь. Что сорок километров для молодых здоровых ног? Еще солнце и за небосклон не опустилось, как он уже был в Яновщине. Отыскал знакомую дядину хату и шагнул через порог.

Тетка хозяйничала у печки и не услышала, как скрипнули двери. Оглянулась — племянник стоит. Бросилась к юноше, склонила голову к нему на грудь и давай краем старенького фартука глаза вытирать. А тут и старый Федор вошел. В зубах самокрутка торчит, в руке казанок, — видно, свиньям в хлев корм носил. Поднял глаза на гостя и тоже оторопел.

— Гром меня побей, если не Петруху вижу, — обрадовался он и схватил хлопца в свои крепкие, заскорузлые руки. — Тебя каким же ветром занесло в отцовские края?

А мы о тебе такого понаслышались, что и говорить неохота. Рады, рады, что все враньем оказалось.

— Нет, наверно, не все. — И Петро опустил голову.

Дядя словно крапивой ужалил его. Не знал Петро, с какого конца и рассказывать безутешную правду. Взглянул на стариков, и еще сильнее защемило у него в груди. Темные, как спелый терн, выразительные глаза тетки готовы были смеяться от большой радости. У дяди тоже разгладились лучистые морщинки в уголках глаз. Так стоило ли омрачать печалью радостные минуты? Петро колебался.

— Правду говорили люди, — наконец произнес он. — Сидел бы и сейчас в тюрьме, если бы немцы не освободили...

В хате воцарилась тишина. Старик глубоко затянулся дымом цигарки. Потом бросил окурок под припечек и сказал:

— Что было, то прошло; что имеем, о том знаем; а что будет — увидим. Нехорошо получилось, да уж не переделаешь...

— Хорошо, что хоть живой-здоровый остался, — спохватилась тетя. — А вот от нашего Андрейки уже больше двух месяцев ни слуху ни духу.

Петро еще сызмальства глубоко уважал своего двоюродного брата. Хотя Андрей на несколько лет старше, это не мешало им быть неразлучными друзьями. Летом они целыми днями пропадали на пруду, бродили в лесных чащах, выслеживали гнезда перепелов. Когда у Петра умерла мать и тетка Грициха забрала его к себе в город, кончилась для мальчика золотая пора детства. С тех пор он редко бывал у дяди, а еще реже виделся с Андреем.

С детства двоюродный брат увлеченно писал стихи, а после школы поехал в столичный университет. Вскоре из Киева он прислал Петру открытку: «Я, сын потомственного нищего Федора Коляды, ныне студент советского университета...» И вот учебу на третьем курсе прервала война.

— Где-то он сейчас? — запричитала тетка, вытирая глаза. — Одно-одинешенькое письмо через неделю после начала войны прислал. Написал, что пошел добровольцем на фронт. Обещал еще написать и вот как в воду канул. Что с ним? И сны какие-то нехорошие мне снятся...

— Довольно, старуха, слезами горю не поможешь...

А как же там, в городе? — обратился дядя к племяннику. — Грициха торговлю еще не развернула?

— Как раз собирается. И мне наказывала, чтоб в селах цены на продукты узнавал.

— Не человек — червь ненасытный. И когда уж она барахлом насытится? В могилу, что ли, собирается свои лохмотья забрать? Ну да хватит перед обедом о Грицихе. Чтобы аппетита не портить. Стара, угощай гостя, чем богаты.

К ночи, видно, сорока на хвосте разнесла по селу весть о том, что приехал из города Ивченков сын. Когда с луга потянуло туманом и сыростью, ко двору Федора Коляды стали собираться соседи, родственники и просто знакомые. Всем хотелось послушать новости, забыли люди о газетах при новой власти.

Далеко от больших дорог затерялась среди лесов Яновщина. И хотя вокруг уже управляли старосты, здесь еще жила Советская власть. Люди, как и раньше, ходили в колхоз на работу и с тревогой ожидали завтрашнего дня. Фашистов видели здесь лишь тогда, когда проходил фронт, — больше новая власть сюда не показывалась. Носились разные слухи о новых порядках, и никто точно не ведал, где правда. Поэтому и собрались к Коляде послушать бывалого человека из города. А где у хороших людей обходится без чарки? Вот и выпили за здоровье гостя, за лучшие времена, за победу, а уж после и разговор пошел оживленнее.

Петр охотно отвечал на все вопросы, которыми засыпали его селяне: и о грабежах, и о вырубленных аллеях, и об убийствах, насилиях... Будто наяву видели хлеборобы все эти бесчинства. Об одном лишь умолчал Петро: о том, как очутилось в его кармане полицейское удостоверение.

С того вечера односельчане Коляды стали собираться к хате старого Федора, как на молитву. Говорили о партизанах генерала Горы, появившихся в окрестных селах, советовались, как бы переправить заступникам народа хлеб нового урожая и скот...

Проходили дни. От нечего делать дядя принялся бондарничать, а тетя трепать коноплю. Петро тоже не оставался без дела. Он или помогал старику гнуть обручи в пристройке, или ходил в лес за лещиной. Время от времени старики замечали, что племянник становится пе-

чальным и нелюдимым. Тогда они еще усерднее хлопотали возле него, пытаясь развеселить. Не догадывались, что в такие минуты он был далеко от них — в Черногорске, на Беевке, в небольшом домике Гриндюка.

Перед октябрьскими праздниками Петро решил возвращаться в город.

— Снова к Грицихе? — угрюмо спросил Коляда.

— А то куда же?

— Ой, Петро, послушай меня, старого, не ходи к ней больше, оставайся у нас. Ведь собьет тебя с пути праведного старая прорва, рублем собьет. Ты ее еще не знаешь. Чует мое сердце, что к делу с тюрьмой она тоже руку приложила. Весь ее род испокон веков нечистый. Только добра тебе желаю, поэтому расскажу, что они за люди. Мы ведь когда-то соседями с ними были, потом породнились, так что я их хорошо узнал. Не люди, а волки настоящие, о наживе и барыше только и мечтали. Все хитрили, все обманывали людей и на этом богатели. Жила Грициха со своим братом Кириллом, пока не вышла замуж за какого-то вдовца из Черногорска, державшего магазин. А отец твой тут один остался. Попутала же нечистая сила мою младшую сестрицу Ольгу с ним связаться. Наверно, дольше прожила бы, да он ее живьем в могилу согнал. Мы, вишь, бедняки, еще деды-прадеды в долгах у Ивченков были. Не зря же нас и Колядами прозвали. А бедного всякий обидит, кому не лень. Кирилл Ивченко никогда не ленился. Как только не глумился он над твоей матерью: и мокрыми вожжами ее бил, и из хаты на мороз нагую выгонял, и за косы по улице таскал... Мы уж и просили, и уговаривали его, да где там! А власть наша тогда слабенькая была, не у кого защиты просить. Скоро, правда, и на Кирилла погибель нашлась. В двадцать девятом стали создавать колхозы. Вот тогда и решил он кулацкий бунт поднять. Но его свои же селяне связали и передали уполномоченному по области Герасиму Гриндюку... Казалось бы, для Ольги солнце взошло... Взойти-то оно взошло, да только ненадолго. То ли отбил что-то Кирилл у нее в груди, то ли в тело изувеченное хвороба вселилась, только стала Ольга кровавым кашлем задыхаться и как свеча таять. Видели все, что смерть у нее уже за плечами стоит. Не успела она и глаз сомкнуть, как черной вороной прилетела из города Грициха. Все барахло заграбастала — не пропадать же, мол, братниному добру.

А чтобы глаза всем замылить, тебя забрала. Хотел я возражать, да сельсовет за Грициху горой встал — ребенка, мол, бездетной надо отдать. Вот так ты и очутился в Черногорске. Давно уже я собирался тебе об этом рассказать, все случая удобного не было. Да и побаивался: поймешь ли ты меня. А теперь ты взрослый, понимай как знаешь...

О многом узнал в тот вечер Петро. Когда легли спать, сон долго не шел к хлопцу. Он лежал с широко раскрытыми глазами и думал. Отца Петро не помнил. Поэтому никак не хотелось верить, что он был таким жестоким извергом. Видно, все-таки дядина правда. Неужели отец был похож на Грициху? Тетку Петро никогда не любил, даром что она пыталась иногда выказать ему сочувствие. Да, люди давно уже поговаривали, что не из сердобольности взяла она его к себе, а из-за прискринков, набитых золотом и серебром. Думал Петро обо всем этом и не знал окончательно, кто же все-таки прав: Грициха или дядя Федор.

Вдруг голос во дворе:

— Федор, открывай! Гости прибыли!

Старики засуетились. Дядя выбежал в сени, загремел засовом и через несколько минут вернулся в хату с двумя пожилыми мужчинами, которые несли кого-то на самодельных носилках.

— Не узнаете? — послышался знакомый голос.

Петро склонился над носилками и остолбенел — перед ним лежал Андрей. Черный, худой, небритый, он совсем не был похож на того жизнерадостного, розовощекого парня, который так счастливо улыбался с портрета на стене. Только большие, выразительные, как у матери, глаза по-прежнему светились добротой и умом.

Тетя упала перед незнакомцами на колени:

— Как же вас и благодарить, люди добрые? Ой, горюшко ты мое!

— За что благодарить? Это священное дело — подлечить партизана и помочь к родителям добраться. Наши сыновья тоже с иродами воюют. Может, в лихую годину и им кто-то поможет.

В ту ночь в хате Коляды допоздна светились окна. Как ни утомила раненого Андрея многокилометровая дорога на арбе с сеном, до третьих петухов рассказывал он родным о своем боевом пути. А путь тот, как и всех его

ровесников, был тернистым и крутым. Он начался уже на второй день войны, когда вместе с однокурсниками филолог Коляда подал в партийный комитет заявление с просьбой послать его на фронт. Просьбу удовлетворили, и через несколько дней из добровольцев был сформирован батальон. Одетые в серые солдатские шинели, юноши прямо из университетских аудиторий разошлись по путаным дорогам войны. Печально смотрел им вслед Тарас с гранитного постамента, смотрел и благословлял на великое ратное дело.

Укомплектованный кадровыми командирами, батальон отправился на учения в сосновые леса, за Дарницу. Нелегко приходилось вчерашним студентам овладевать наукой ненависти. Но в самые тяжелые минуты среди них всегда появлялся комиссар Горовой. Простой, чуткий, смелый, он умел подбадривать комсомолию. Недаром же полюбили его бойцы.

В середине июля коммунистический истребительный батальон был отправлен на передовую. Темной дождливой ночью под прикрытием огня наших артиллеристов добровольцы перешли линию фронта. С того момента и начался тяжкий рейд батальона по вражеским тылам.

Бойцы взрывали мосты и железные дороги, выводили из строя коммуникации, уничтожали вражеские гарнизоны в селах, поднимали народ на борьбу с фашистами. Каждую неделю аэропланы с красными звездами на крыльях в условленных местах сбрасывали на парашютах для смельчаков медикаменты, оружие, газеты. Так прошел месяц. И вдруг в первых числах августа связь с Большой землей оборвалась. Напрасно ждали самолетов неделю, вторую — ни один больше не появлялся. Выполнив боевое задание, командир батальона решил прорываться назад, к фронту. Только где фронт? Никто не знал. Глухими дорогами пробирался отряд на восток. Чем дальше шли, тем тяжелее становился их путь. В сентябре начались холодные обложные дожди, а бойцы были одеты в поношенную летнюю одежду и почти все разуты. К тому же давал себя чувствовать голод. Давно уже опустели солдатские карманы, были вытряхнуты последние крохи хлеба, последние щепотки табаку. Питаться часто приходилось лишь сырыми бураками да початками кукурузы. С каждым днем люди все больше слабели. Вот тогда и пригодился писательский талант Андрея.

Упадут, бывало, на привале бойцы как мертвые. Кажется, нет на свете силы, которая могла бы поднять их на ноги. А Коляда прислонится к дереву и начнет читать свои незамысловатые стихи. Сначала друзья слушают его молча, а там, глядишь, приподнимется кто-нибудь — и к поэту:

— Ты бы немного громче, Андрейка.

Читал юноша о своих ясных мечтах, и, наверное, видели в те минуты бойцы и луга в весеннем цветении, и дивчину с тугими, как перевясла *, косами, и сгорбленную мать, что каждый вечер выходит за ворота высматривать на дороге сына. И так растревожит Андрей небалованные солдатские души, что проясняются улыбками суровые, небритые лица, а в глазах появляются стальные отблески. Без команды встают бойцы, без команды идут в новые походы, чтобы схватиться с фашистами. В одном из боев погиб командир батальона. После боя комиссар Горовой, принявший командование, собрал в перелеске всех бойцов и сказал:

— Больше месяца смотрите вы, хлопцы, в глаза смерти. И не вам ее бояться. Но, как коммунист, я должен сказать: не пробиться нашему маленькому отряду через вражеские заслоны. А вот если объединить нам вокруг себя тех людей, которые сейчас в одиночку и группами пробираются к фронту, тогда не страшны нам никакие преграды, пройдем вражескими тылами, как нож сквозь масло.

С той поры в истребительный батальон стали вливаться десятки новых бойцов. Были среди них солдаты и командиры, попавшие в окружение, местные советские и партийные работники и рядовые честные труженики. Многим приходилось добывать себе оружие прямо в бою.

Группа Горового, хотя и медленно, продвигалась на восток.

— Сколько горя выпало на долю наших людей, ничем не измерить, — продолжал Андрей свой рассказ, и старики, принесшие его в родную хату, качали в знак согласия головами. — Всюду по нашей земле только смерть, кровь, слезы... Скорей бы мне на ноги подняться! Но большевики, и будучи прикованы к постели, должны вести борьбу.

---

* Перевясло — соломенный жгут для вязки снопов.

Не так ли говорил наш земляк Николай Островский, вспомни.

Вскоре хлопцы всерьез начали готовиться к борьбе. Андрей, лежа с закрытыми глазами, диктовал стихи, а Петро старательно записывал их.

Голый ветер тужит на руинах,
Край, врагом истерзанный, лежит.
Мать мертва, но все сжимает сына,
Кровь ее из раны не бежит.
Средь пожарищ, черных после боя,
Тишина скупые слезы льет.
Страшный вихрь войны унес с собою
Жизнь людей, их радость и жилье.

Под стихотворением приписали: «Товарищ! Если тебе дорога свобода, если тебе ненавистны гитлеровские убийцы, перепиши эту листовку в трех экземплярах и передай своим знакомым. Этим ты приблизишь победу над врагом».

Потом Петро по просьбе Андрея, которому ни в чем не мог отказать, разносил листовки по селам, и разлетались они по Украине сотнями и тысячами.

Возможно, Ивченко так и остался бы жить у дяди, но внезапно у Андрея началось воспаление легких. Он тяжело кашлял, слабел, таял с каждым днем как воск. Вот тогда-то и пришло в голову Петру: немедленно пойти в город к известному врачу Копылову и попросить, чтобы он помог двоюродному брату.

IX

Он выбрался из лесистого оврага, вытер красной, как столовый бурак, ладонью пот, выступивший над круто взломленными бровями, и медленно зашагал через поле. Вокруг, до самого леса, раскинулось серое, однообразное плесо нескошенных хлебов. Едва не цепляясь за телеграфные столбы, катились мохнатые тучи.

Парень всматривался в даль, протирая глаза задубевшими кулаками, но города так и не видно на горизонте. Перед глазами как-то пугливо дрожали, вытанцовывая диковинный танец, желто-горячие круги, потом они быстро катились прочь и исчезали неизвестно куда. А с горы спускались новые, еще более красочные: зеленые, красные, фиолетовые — и закрывали небосклон. Прерыви-

стое, неспокойное дыхание. Жилы будто ртутью налиты, ни рук, ни ног не поднять. Хоть бы на минуту присесть у дороги, отдохнуть. Однако он упорно шагал по набрякшей земле.

— Что это со мной творится? — спрашивал сам себя и не узнавал собственного голоса. — Не заболел ли, часом?

Заболел... Ведь предупреждал и дядя Федор утром. А откуда он знал? Будто сквозь седую пелену, видел перед собой худое, смуглое от жестоких ветров и летнего солнцепека, похожее на зарумяненный в печке ржаной каравай, лицо дяди. Глаза у него серые, ласковые, так и улыбаются людям. Когда говорит, как-то странно шевелятся его рыжие прокуренные усы.

А что он говорил?

Вслушивается Петро в немую полевую тишину, вспоминает предупреждение старого Коляды.

— Не ходил бы ты, Петро, сегодня в город, — слышится дядин голос. — Погода каверзная, а вид у тебя что-то неважный. Да и кашель твой, прямо скажу, не нравится мне. День-другой переждешь, а там, смотри, и земля подмерзнет, дороги наладятся. Ну, тогда и с богом от порога.

Петро будто и не слышал тех слов. Молча обернул ноги теплыми полотняными портянками, обул сапоги. Разминаясь, прошелся к печке, где хозяйничала тетя.

— Ты, Петро, послушал бы старого: он дело говорит. А для Андрейки мы и тут фельдшера найдем. В соседнем селе, говорят, очень хороший есть. Выходим, не впервые...

Усмехнулся Петро в ответ, не сказал ни слова, потому что догадывался, куда клонят старики. По округе, с Кирпичных Ям, где гитлеровцы держали под открытым небом несколько тысяч советских военнопленных, разнеслась эпидемия тифа. Больше тифа беспокоила стариков весть о карательных экспедициях эсэсовцев, бродивших по селам. Люди гутарили, что где-то за Чепелевкой партизаны генерала Горы пустили под откос пассажирский эшелон с начальниками фашистского штаба. С тех пор почти ежедневно из леса доносился гул канонады. Никто точно не знал, что там творится, только догадывались, что эсэсовцы прочесывают вековые сосновые боры. А еще гутарили, что будто бы к Черногорску теперь ни пройти, ни проехать: на всех дорогах немцы устроили засады и каждого расстреливают на месте, не спрашивая даже, кто он

и откуда. Петру же нужно было идти в город именно через Чепелевку. Вот старики и беспокоились за племянника.

Все это понимал парень и, чтобы развеять тревогу сердечных родственников, сказал:

— Да вы за меня не беспокойтесь. Я к такой погоде привык. Бывало, с Андреем по снегу босиком гоняли, в прорубях на любом морозе купались, а видите, не взяла никакая хворь. И сейчас не возьмет.

Взвалил на плечи котомку с харчами и подарками, обнял на прощание двоюродного брата и шагнул за порог. Хозяин ему вслед:

— Ну, пусть будет счастливой твоя дорога. А старой передай: с барахлом на тот свет никого не пускают, пусть жадничает поменьше.

На дворе уже рассвело. Где-то на другом конце села захлебывался от злости пес. Порывистый ветер разносил по улице запах жареного лука и паленых кизяков. Петро простился с родственниками и ушел в туман...

Перевалило за полдень, когда он минул Чепелевку. Где-то позади, в глубине векового леса, слышалась канонада. До города оставалось уже не так и далеко. Надвигался вечер.

Шагал парень широко, неторопливо. Хрустела под сапогами тоненькая ледовая корка, давила спину обледенелая котомка. Дорога извивалась среди порыжевших полей и убегала в мутную даль.

Из-за туч на минуту выглянуло солнце, посмотрело кровавым оком на разоренный, опустевший край, заиграло красноватыми отблесками на лужах, покрытых тонкой скорлупой льда, и снова скрылось. Вдали показались крыши домов. Это был город. До первых хат, если идти напрямик, рукой подать — километров пять-шесть осталось.

Петро свернул с полевой дороги и поплелся напрямик. Солнце уже совсем спряталось в пепельно-серую пелену туч, и колючий северный ветер быстро погнал по земле густые сумерки.

Медленно спускался Петро в долину, еще дольше взбирался на косогор. А взобрался — остолбенел: мираж или заблудился? Еще месяц назад, когда он отправлялся в Яновщину, тут темной пропастью зияло глубокое глинище. Вся Зачепелевка — предместье Черногорска — брала

здесь глину для обмазывания хат, а теперь от ямы и следа не осталось.

Он обошел глинище вокруг. На промерзлом грунте заметил следы автомобильных колес. Их было много. И все они вели в город.

Вдруг Петру показалось, будто под ногами у него зашевелилась земля. Он испуганно отскочил в сторону. И тут до него донесся протяжный, глухой стон, исходивший откуда-то из глубины, словно сама планета стонала от нестерпимых мук.

От ужаса пот выступил на лбу хлопца. Стон усилился, а земля зашевелилась еще сильнее. Теперь Петро был уверен, что это не бред, не фантазия, а ужасная, потрясающая действительность. С перепугу он вскрикнул и бросился бежать к городу.

— Стой, поганец! — вырос перед ним неожиданно высоченный мужчина в чумарке *, подвязанный шерстяным красным поясом. В руках он держал винтовку.

Этого человека Петро не раз видел до войны. Он служил ездовым в ремстройконторе. По-уличному его называли Спотыкачом, потому что когда он ходил, то припадал на левую ногу. Петро удивленно взглянул на него и пошел дальше.

— Кому говорю: стой! Стрелять буду! — И Спотыкач щелкнул затвором.

— Да что с вами, дядько?

— Пес тебе дядька! Пошли со мной!

— Я же не злодей! — закричал Петро.

— А об этом в полиции расскажешь. Ну, иди, иди же, а то так огрею прикладом по казанку, что пойдешь к чертям камыш косить.

Ничего не оставалось делать, как исполнять приказание. Под конвоем Спотыкача брел Ивченко по улицам Черногорска. Хорошо еще, что безлюдно было вокруг, а то хоть у серого глаза одалживай. И все же усталость победила волнение. Ныло все тело, хотелось поскорее упасть на землю, и казалось, ему было все равно, куда поведет Спотыкач. Только в ушах все стоял загадочный, приглушенный стон из-под земли.

Добрались до центра. Было уже совсем темно. Даже с первого взгляда Петро заметил, как неузнаваемо изме-

* Чумарка — вид верхней мужской одежды.

нился перекресток. На здании универмага висело огромнейшее полотнище с паукообразным черным знаком. Возле дома, в окнах которого горел свет, выстукивая железными подковами, ходил с автоматом на груди немецкий часовой. Раньше здесь был горком партии.

Спотыкач повел Петра дальше, к зданию бывшей тюрьмы.

— Заходи! — И охранник толкнул Петра дулом в спину.

Поднялись по ступенькам на второй этаж. Долго петляли полуосвещенными коридорами, пока не вошли в просторный кабинет.

Два дивана, шкаф, стол. На стене портрет какого-то человека в казацкой папахе, с длинными усами, а под ним фашистское знамя. Сидящий в кресле человек низко склонился над бумагами.

— Пан начальник, — проговорил из-за спины Петра Спотыкач. — Вот этот злодюга на ночь глядя пробирался с торбой в город. Я сразу понял, что за птица. Хотел от меня удрать, так я догнал — и к вам....

Тот, кого назвали паном, не спеша поднял голову. И Петро сразу же узнал Трофима Трикоза, с которым встречался в этом же кабинете у капитана Гриценко. Теперь у Трофима была горделивая поза и пренебрежительный взгляд.

— Откуда тебя, Ивченко, нечистая сила принесла?

— Откуда же, как не из села.

— В родных местах, значит, побывал. К земле небось приглянулся? И какой же ты дурила, Спотыкач! Лучшего моего знакомого не рассмотрел. Иди прочь с очей моих ясных, чучело! — крикнул Трикоз на полицая.

Тот мигом вылетел за дверь.

— А мы тут с ног сбились, тебя разыскивая. Дело хорошее для тебя было. Жаль, опоздал! Не печалься, ты еще сможешь побывать на «красном банкете».

Петро стоял молча. Его охватило какое-то безразличие ко всему. Он слушал Трикоза, смотрел на его обрюзгшее лицо и не понимал, чего от него хотят. В ушах еще отдавался страшный стон из-под земли.

Скрипя хромовыми сапогами, Трикоз вышел на середину комнаты. Он был весь затянут в блестящую кожу и напоминал черного ворона.

— Да ты, я вижу, почему-то не рад встрече, — подошел он к Ивченко. — А помнишь, как нас в эту конуру вшивый энкаведист вызывал? Еще в тот вечер я твердил тебе, что и на нашей улице ударят в бубны. И как видишь, судьба улыбнулась нам. Теперь не Гриценко, а я решаю в этом кабинете — жить или не жить сообщникам большевиков, — хвастался Трикоз. — Пусть же еще звонче загремят бубны! Слышишь их звуки?

Действительно, где-то за стеной надрывалась гармонь и утомленно бухали бубны.

— У меня голова кружится, — сказал в ответ Петро.

— Да ты, наверно, голодный? Сейчас я тебя сведу в нашу харчевню.

Трикоз схватил Ивченко за рукав и потянул в коридор.

Спускались в темноте по каким-то крутым ступенькам. Зашли в просторную, с низким потолком комнату, до отказа набитую разношерстным людом. Одни сидели на скамейках за длинным столом и горланили «Попереду Сагайдачный» *, другие притопывали возле гармошки, размахивая руками. В подвале было так накурено, что на стенах еле светили керосиновые лампы. Воняло подгорелым самогоном и квашеной капустой.

Как только Трикоз вошел в этот балаган, гармонь и бубен утихли. Пьяная орава встретила его угрюмо, без особенного энтузиазма. Он что-то прокричал им и уселся в красном углу. Петра усадили между небритыми мужчинами с синими распухшими лицами.

Парень исподлобья окинул всех взглядом. Сколько их? Откуда они взялись? Внимательнее присмотревшись, он стал узнавать среди них то сторожа с разодранной ноздрей из третьей Черногорской школы, то мельника городской паровой мельницы, то учителя Савченко... Вдруг он увидел и Охримчука, примостившегося на самом краю скамейки, жалкого, раскрасневшегося. «Эх, сволота, посчитать бы тебе сейчас ребра, — даже заскрипел зубами Петро. — Вот где себе гнездо нашел».

Кто-то прогорланил тост. Загремели кружки, забулькала в глотках сивуха. Потом раздалось нудное чавканье. Петро и сам опорожнил кружку самогона. По телу сразу

* «Попереду Сагайдачный» — название старинной украинской песни.

поплыла приятная теплота. Рядом кто-то из компании взревел:

— Вот это нашего куреня парубок: хлещет сивуху, как конь!

Лили еще, и он пил со зла, под дикий рев ватаги. Пил, пока не расплылось все перед глазами и пока не нырнул в зияющую пустоту.

Сколько пролежал под столом, он не помнил. Проснулся от удара чем-то тупым в нос. Потом кто-то наступил ему на пальцы руки. От боли Петро открыл глаза. В комнате слышался невообразимый шум, метались какие-то красноватые тени, что-то громыхало и охало.

— Больше захотел, гад?

— Поровну между всеми делить, поровну!

Снова, будто колом по мешку с песком, лупили кого-то.

Внезапно все стихло. На середине комнаты появились хромовые сапоги со скрипом.

— А ну за стол, вражьи дети!

Петро узнал голос Трикоза.

— Не для того меня новая власть районным начальником полиции сделала, чтобы беспорядки происходили. Из-за чего завелись, окаянные, из-за барахла? Да я из вас... Да я вам всем глотки позатыкаю тряпками, только фюреру верно служите. Кто на ногах устоит, пойдем сейчас со мной к колченогому Гриндюку.

Хищно засопела ватага. У Петра хмель как ветром сдуло. Неужели Трикоз в самом деле пойдет творить расправу? Неужели и Анюту смерть ожидает?

— За нашего шефа! — заверещал одинокий голос.

Петро вылез из-под стола. Умышленно закрыв рот ладонью, шатаясь, кинулся во двор. Вдогонку ему гоготали:

— Феклу пошел целовать? Ф-е-е-клу!..

Окольными путями пробирался парень на Беевку. Бежал долго, пока не перехватило дыхание. Наконец — знакомый перелаз. Хотел перешагнуть — упал. Все равно надо спешить. Приподнялся, дополз до окна. А как постучать? Нащупал рукой какую-то палку и начал стучать в стену.

Вышел, прихрамывая, Гриндюк, склонился над ним.

— Дядьку, бегите! — прохрипел Петро. — Полицаи сегодня убить вас собираются... Берегите Анюту, пусть не забывает!

Немного погодя от хаты Гриндюка мелькнули огородами две тени. На следующий день между соседями поползли слухи, что сапожник с дочкой будто бы пошли менять вещи по селам. Другие говорили, что забрали их среди ночи гестаповцы и в глинище закопали, а иные лишь многозначительно кивали головами. Только Петро, хотя и знал обо всем, молчал, как сырая земля: его свалил сыпной тиф.

X

Почти целый час пришлось ждать шефу полиции около дверей кабинета Мюллера. Наконец вызвали. Не успел он переступить порог, как Мюллер рявкнул:

— Не вижу старой закваски, пан Трикоз. Неужели у вас такая короткая память, что забыли о кровавых ночах Богдановского куреня в Киеве, на Подоле?

Мюллер, выхоленный, напомаженный, вышел из-за стола. Он был без кителя, в одной нижней сорочке. Пестрые подтяжки с темными бляхами глубоко врезались в гладкое тело, словно в тесто. В правой руке он крутил нагайку. Жалобно посвистывая, она извивалась причудливыми петлями. В минуты спокойствия Мюллер всегда любил забавляться нагайкой. Сплел ее адъютант Бухрс из кожи варшавской коммунистки Ядвиги Обжецкой. Правда, одноглазого Бухрса поляки потом повесили за ноги на одной из окраин Варшавы, но нагайка сохранилась как память об операции «33», за которую Мюллер получил звание оберста и железный крест из рук самого Франка.

— Операцией по «профилактике» населения я не доволен, — остановился он напротив оторопевшего Трикоза. — Твоя орава полицаев не стоит одного моего солдата. Дикари!

На лице новоиспеченного шефа полиции сразу появились багровые пятна. Он неподвижно замер посреди комнаты, только мелко дрожал кадык над воротником вышитой сорочки.

— Служим вам верой и правдой.

— Для нас, немцев, самая убедительная характеристика — то, что вы делаете для укрепления нового порядка. Фюрер приказывал нам: «Мертвые не бывают свидетелями». Поэтому во время этаких дел у вас не должно быть свидетелей...

— Пан оберст, пан Мюллер, — заикаясь, пролепетал Трикоз. — В городе вы не найдете ни единого христопродавца...

— Не вы же их расстреляли, — оборвал его Мюллер и впился в полицая своими бесцветными глазами. На его выхоленном лице появилась многозначительная холодная улыбка. — Если бы не мои рыцари, они бы у вас поразбегались, как крысы.

— Сам бог тому свидетель... у меня ствол парабеллума покраснел. Я старался, я даже руку себе обжег... Вот посмотрите.

Мюллер вернулся к столу и погрузился в мягкое кресло. Взглянул исподлобья на крайне взволнованного холуя, захохотал, громко, почти безумно, и откинул голову на спинку кресла.

Трикоз стоял перед ним и не знал, смеяться ему или плакать. Только глазами моргал и ждал.

— А все-таки слабый у тебя очкур *, Трохим... — произнес наконец фашист. — Мне доложили, как ты глинище сравнивал. По-нашему, скажу... Знай, фюрер щедро награждает своих верных слуг.

Трофим топтался на месте, вытирая шапкой вспотевшее лицо. С перепугу он никак не мог прийти в себя. Ну и хитер же этот Мюллер: начинает за здравие, а кончает за упокой. Что за дурная привычка?

А тем временем оберст вытащил из папки лист бумаги, на котором хищно распростер крылья орел, и сунул его Трикозу. Тот боязливо, словно это был раскаленный лист железа, дотронулся пальцами. Глаза испуганно забегали по строчкам: «Немецкое командование в награду за содействие войскам фюрера при наведении порядка в городе Черногорске передает в пользование пану Трикозу флигель в поместье графа Мюллера с тем, чтобы...»

У шефа полиции от радости перехватило дыхание. Только не шутит ли снова Мюллер? Оберст же утвердительно кивал головой.

— Да, это не шутка. Вы действительно заслужили награду. Только помните, она вас ко многому обязывает. Это — аванс!

— Я понимаю, понимаю...

---

* Очкур — пояс для шаровар.

— Особняк имеешь, пора бы подумать и о молодой, красивой женушке, — не пряча желтых, конских зубов, сказал Мюллер и жестом пригласил Трикоза сесть. — Думаю, пан Трикоз, довольно вам возиться с пархатыми. — Лицо его сразу сделалось холодным, словно вылепленным из гипса. — Впереди вас ожидают более серьезные и более важные дела. Я получил сведения, что в окрестных лесах появились партизаны. Сколько их, как они вооружены — нам неизвестно. Бесспорно одно: с Черногорском они держат связь и вполне возможно... Короче, большевики оставили в городе своих агентов. Вы должны помочь моим солдатам уничтожить всех подозрительных.

Долго сидели они за столом, обсуждая план новой операции против мирных людей. Потом оберст поднялся, надел китель, давая этим понять, что разговор закончен. Трикоз вскочил и потрусил к двери, низко кланяясь.

— А разрешение на флигель?

— Ох, забыл грешным делом, от радости забыл.

Гулко гремела земля под ногами полицая. Трикоз все еще мял в руках шапку. На душе у него саднило.

Правда, встречи с Мюллером всегда были не особенно приятными, и все же их можно было терпеть. Но такую, как сегодня... Что-то слишком щедрым был оберст. Может, хочет отблагодарить за сундуки с кладом? Почему же сам не живет на окраине города, в имении? Не партизан ли боится?.. Ну что ж, служба службой. Далеко идут лишь те, кто мало спрашивает и мало думает. Сказало начальство: бери награду — надо выполнять приказ.

...Поздно ночью, когда город забылся в тяжелой напряженной тишине, ватага полицаев вывалилась из главной управы, несколькими небольшими группами разбрелась по улицам.

Сам шеф полиции, зло обкусывая на пальцах ногти, отправился с тремя неуклюжими здоровилами на Крохмалевскую. После дневного разговора с Мюллером он был в плохом настроении. Об этом знали сподручные и плелись в стороне, словно боялись, как бы шеф полиции не наградил тумаками.

Шли молча. Под ногами жалобно скрипел первый снежок да в разных концах города слышались приглушенные крики — начали кровавое дело эсэсовцы. Когда приблизились к одноэтажному кирпичному домику, стоявшему против колодезного сруба, остановились.

— Ну, помоги бог! — выдохнул Трикоз и перекрестился. — Операцию надо провести так, чтобы пан оберст были довольны.

Те трое тоже перекрестились.

Пропищали и стихли заржавевшие петли калитки — полицаи очутились на небольшом дворе.

Тихо, жутко. Даже пес, наверное почувствовав запах пороха, забился в будку и не подавал голоса. Окна дома были плотно закрыты ставнями.

Трикоз подошел к окну, постучал:

— Открой, Копылов!

Ждали недолго. Через несколько минут за дверью загромыхал засов, и желтоватая кромка слабого света выскользнула из сеней во двор, выхватив из темноты ссутулившуюся фигуру.

— Трикоз? — не то от удивления, не то от страха негромко вскрикнул в сенях хозяин. — Что привело вас в такую пору? Заходите...

И он отступил в глубь сеней, давая дорогу поздним гостям.

Бухая по полу намазанными дегтем сапогами, трое направились в хату, а четвертый остался возле дверей, на страже.

Копылов, по-старчески сложив на груди руки, оторопело остановился посреди комнаты. Что-то недоброе чувствовало его сердце, и даже при слабом свете керосиновой лампы было видно, как побледнело изборожденное морщинами лицо, а на большой лысине заблестели мелкие капли пота.

Все жители Черногорска знали Копылова — добродушного и приветливого старика. До войны он работал стоматологом в городской больнице и, хотя был уже немолод, всегда принимал участие во всевозможных общественных комиссиях по обследованию и содействию. Когда началась война, стал работать в военном госпитале. Эвакуироваться на восток он не успел, так же как и многие работники других учреждений. По правде говоря, Копылов даже и не думал куда-нибудь выезжать, поскольку оккупацию считал временной. На всякий случай с женой Домной Ефремовной они приняли некоторые меры предосторожности: пересмотрели домашнюю библиотеку, выбрали всю политическую литературу и вместе с семейными фотографиями закопали на огороде; все письма, бумаги и

даже подшивка местной газеты «Черногорская коммуна» были сожжены. Казалось бы, никаких «компрометирующих» материалов не осталось, но супруги с первого же дня оккупации жили в тревоге, в ожидании чего-то страшного и неимоверного. И вот это неимоверное пришло.

— Чем могу быть полезен? Может, снова у вас... — с трудом выдавил из себя врач: до войны он не раз лечил бухгалтеру гнилые зубы.

Трикоз стоял между полицаями немой и грозный. Руки заложены за спину, папаха надвинута на самые брови.

— Сегодня я буду лечить твои зубы, старый опенок... Где сын?

Даже голосом он пытался подражать Мюллеру.

— А откуда же мне знать?

— Не прикидывайся дураком!.. Нам известно, что большевики оставили в городе твоего выродка. Кто с ним еще? Где они?

— Не знаю.

— Ты у меня припомнишь... Давай-ка свои щипцы, которыми у людей зубы рвал. Я тоже поучусь этой профессии на твоих зубах. Думаю, тогда ты вспомнишь, где скрываются большевики.

Старик, как пьяный, подошел к столу, вынул из сумки козью ножку. Коршуном накинулись на него полицаи...

На крик из соседней комнаты выскочила в ночной рубашке Домна Ефремовна. Ничего не понимая, она остановилась на пороге. Полицаи отступили от Копылова.

— А ну, обыщите красное гнездо! — рявкнул Трикоз.

Обыск в квартире продолжался около часа. Уже были опрокинуты столы и кровати, разбита посуда, развороченa печка, разорваны подушки, а шеф полиции все копался в книгах на этажерке.

— А, вот он, депутатик народный! — злорадно выкрикнул Трикоз, хватая газету, которой была застлана полка этажерки. С ее пожелтевшей страницы улыбался Сергей Копылов — единственный сын врача. Жирным шрифтом была напечатана его биография.

— «Голосуйте за верного сына партии большевиков! — начал читать Трикоз. — Верного сына...» Видишь, как Советы орали о твоем вылупке. За какие же это заслуги, разрешите вас спросить? А?

Копылов с окровавленным лицом стоял у стены и даже не пошевелил губами.

— Так где же все-таки скрывается верный сын Советов? Где его приспешники?

Врач молчал.

— Ах так! Ты у меня соловьем защебечешь, собака!

Со всего размаху Трикоз ударил старика в лицо. Копылов покачнулся и рухнул на пол. К нему бросилась жена.

«Вот если бы сейчас подвернулся пан Мюллер. Наверно, был бы доволен моей работой», — думал полицай.

Копылов открыл глаза, над ним склонилась жена.

— Вот такая благодарность... — произнес он. — Не убивайся, Домна, пришел мой час. Жил я честно, щедро служил людям, желал им только добра и напоследок тоже подлости не сделаю. Ничего не добьются от меня бандиты. Дурни, хотели, чтобы я им сына выдал. Не ждите! Слышите?!

Он криво усмехнулся и закрыл глаза. Тоненькая струйка крови побежала по подбородку. Жена всплеснула руками, заголосила.

— Брешешь, ты у меня все скажешь! На горячую жаровню посажу, а говорить заставлю! — заорал шеф полиции.

Как львица бросилась Домна Ефремовна на Трикоза и вцепилась ему в горло. Тот захрипел, покачнулся, но подоспели полицаи.

— Повесить ведьму, сейчас же повесить на срубе над колодцем... Пусть все видят!

...Всю ночь лютовали эсэсовцы со своими приспешниками. Утром взошло солнце, оно испуганно заглянуло в мертвые глаза десятков людей, качающихся на ветру по улицам города. Это были кровавые следы гитлеровских порядков.

XI

Морозная ночь раскинула свои темные крылья и задремала над обледеневшей землей, окутанной белым пушистым покрывалом. Уснул и город глухим, тревожным сном пленного. Ни огонька вокруг, ни голоса людского. А чтобы кто-нибудь случайно не нарушил покой, дежурит на окраине Черногорска пеший объездчик управы Охрим-

чук. Закутавшись в долгополый кожух, он топчется на дороге, ведущей к сосновому бору.

Неспокойно на душе у Охримчука, видно, мало надеется он на свою винтовку, потому что все время оглядывается вокруг, прислушивается, как вдали трещит лед на речке.

Долго тянется время в декабрьские ночи, страх как долго. Холод острыми колючками пронизывает насквозь кожух, валенки и больно впивается в тело. Чтобы как-нибудь скоротать невыносимые часы, Охримчук задирает голову и начинает считать звезды, но и они мигают холодно и неприветно.

Присел полицай под тыном, вытащил из кармана кисет с самосадом. Не слушаются задубевшие пальцы. Наконец свернул толстенную цигарку, чиркнул спичкой. Когда огонек погас, стало еще темнее. Потом вроде затрепыхали пугливые тени — идет кто-то или кажется?

— Фу ты, напасть! — выругался Охримчук и закрыл глаза.

Когда снова оглянулся, как будто немного рассвело. Он встал и потихоньку побрел по улице. Вдруг раздались чьи-то шаги. Под рубашкой у Охримчука словно сотня червяков зашевелилась. Сбросил с плеча винтовку, щелкнул затвором.

— Кто идет? — Хотел крикнуть властно, но голос прозвучал робко.

— Сейчас я тебе покажу, сволочь, кто, — послышалось в ответ.

С первого же слова Охримчук узнал своего шефа. «И чего это его нечистая сила по городу носит в такой мороз?»

— Так-то ты, паскуда, караул несешь? — грозно зарычал Трикоз, подходя к своему подчиненному. — Кто разрешал на посту огонь зажигать?

— Да я же только... Одну затяжку...

— Холоп лопоухий! За версту же видно, где ты слоняешься! Или, может, в Германию захотел? Так я быстро это дело оформлю.

Наругавшись вволю, Трикоз исчез так же внезапно, как и появился, а у Охримчука словно камень на душу лег. Не чувствовал он уже ни холода, ни страха. Стоял как пень посреди дороги. А грудь распирала странная, холодная пустота.

«Что ж, Трикоз все может. Ему в Германию на каторгу человека запроторить все равно что раз плюнуть. Сколько крови людям пустил за эти месяцы, вола утопить можно. Подумать только: даже жена с дочерью его бросили, убежали куда-то на село. Нет, от такого чего хочешь ожидать можно...»

От одной мысли, что ему придется покинуть родную хату, любимую Настуню и ехать в далекую и страшную Германию, Охримчук вздрогнул. И для чего все творится на свете белом? Никак не мог он этого понять, потому что никогда не интересовался политикой. В политике нужно было о чем-то спорить, а Охримчук на слова был нещедрый, ему вполне хватало тех, которые еще в люльке поведала мать. Круг интересов у него не выходил за пределы собственного хозяйства.

Еще задолго до войны выбился Охримчук в люди. Столько приходилось бедствовать на кулацких полях до коллективизации, что артель показалась ему, сироте-калеке, родным домом: она ему хлеб дала, а самое главное — человеком сделала. Даже Настуня Бабич — красавица на весь округ — не побрезговала им. А мог ли он мечтать о таком счастье во времена кулачества?

Поэтому держался Охримчук колхоза, старательно ухаживал за скотом. Около него на ферме трудилась дояркой и жена. Вместе они вырабатывали немало трудодней, так что зерно получали не пудами, а центнерами. Да и в своем хозяйстве всегда имели и поросенка и коровенку. Об ином житье Охримчук и мечтать не мог.

Бывало, на общем собрании примостится где-нибудь в углу, зачадит самокруткой и потихонечку дремлет. За столом оратор рассказывает о прибылях колхоза, о повышении материального благосостояния колхозников, о плане на будущее... Кондрата Охримчука же не легко всколыхнуть. Сидит он, терпеливо ожидая, когда собрание кончится. Одно лишь горе не покидало семью Охримчуков — не было у них детей.

На фронт Кондрата, конечно, не взяли, потому что от рождения хромал он на правую ногу, а вот скотину колхозную поручили гнать куда-то на восток. Случилось так, что покинуть дом ему не пришлось.

Проходили последние августовские дни. Поздними ночами с запада уже доносилось сердитое бормотание канонады, но никто из черногорцев и во сне не предпола-

гал, что в город могут прийти немцы. В учреждениях, на предприятиях, в колхозах все шло своим чередом, каждый был занят своей обычной работой.

Не сидел без дела и Охримчук. Как и раньше, он до восхода солнца приходил на ферму, чистил, кормил, присматривал за скотиной. Как-то после дождя решил он вскопать у себя на участке делянку под пшеницу. Запряг пароконку, бросил на воз плуг, борону, да и подался кривыми переулками к своей нивке.

Недалеко от дома Охримчука догнала автомашина, такая запыленная, что казалась седой. Из кабины высунулся военный в командирской фуражке:

— Где тут самый ближний колхоз?

— Тут, недалечко. Направо как свернете, так по Лисовке хат с двадцать проедете, потом на Беевку влево возьмете, а после...

— Ты сам-то себя понимаешь? — спросил военный, вытирая ладонью черный пот со лба. — Куда едешь?

— Озимь...

— Озимь? На вокзале вон беженцев полно, дети голодные, а ты... сеять. А ну, марш перевозить их в колхоз. Накормить нужно!

— А я разве что? Я ж ничего. Вот только плуг...

Через минуту Охримчук с военным перебросили через тын Ивченчихи, прямо в лапчатые подсолнухи, плуг и борону, и пустая подвода загромыхала на выбоинах к вокзалу.

С того времени прошла неделя, а может, и больше. Охримчук, конечно, забыл и про борону и плуг, лежащие в чужих подсолнухах. Напомнил о них страшный случай.

В одну из ночей кто-то обокрал колхозный амбар. Увезено было несколько мешков крупчатки, сахару, много мяса. Немедленно созвали собрание артели, которое постановило предавать военному суду каждого, кто осмелится присвоить себе хоть на копейку колхозного имущества. Вот после этого собрания и обнаружили в усадьбе Ивченко колхозные плуг и борону.

Говорили разное, только старый Онанченко — сосед Петра, видевший, каким образом очутился в подсолнухах колхозный инвентарь, недовольно качал головой. Наверное, он и рассказал об этом Петру.

Вечером, когда Охримчук возвращался с работы, его встретил Ивченко с засученными по локоть рукавами.

— Ты что ж, подлюка, в Сибирь меня задумал сослать? — без обиняков обратился он к Кондрату Охримчуку. — Только не пройдет это тебе безнаказанно, тихоня вражья! Получай заработанное!

И он со всего размаху ударил Охримчука чем-то тяжелым по голове.

Неизвестно, чем бы кончилась вся эта история, если бы не подоспели люди. Кондрата отлили водой и отправили к врачу, а Петра отвели в городскую тюрьму.

Болел Охримчук до самого прихода оккупантов. А когда выздоровел, то сидел дома, не показываясь людям. Днем и ночью преследовало его какое-то непонятное чувство страха. Со временем оно рассеялось, и Охримчука уже можно было видеть и на улице, и на дворе бывшего колхоза, куда он начал наведываться от скуки. Вскоре наступили суровые времена: немцы объявили набор рабочей силы в Германию. Получил повестку на комиссию и Охримчук. «Бросить семью, бросить родной край и ехать в Германию? — волновался он. — Ни за что! Пусть хоть повесят, не поеду! Нечего мне там делать». Думал и удивлялся своим мыслям: как же это он смог так отчаянно думать.

Перед тем как идти на комиссию, он, по совету родственников жены, долго и терпеливо курил шелковые лоскутки (говорили, от этого начинается туберкулез), пил крепкие настои липового цвета с дубовой корой, но обмануть немцев ему так и не удалось. Мордастый лекарь в круглых больших очках с черной роговой оправой разборчиво написал: «Годится для работы». А это значило: не видать больше Охримчуку ни дома, ни жены.

И такая на него тоска напала, что согласен был в тот миг хоть сквозь землю провалиться. Сколько ни думал, а выхода никакого найти не мог.

Нежданно-негаданно спасение пришло само собой. Как-то встретил он на улице бухгалтера Трофима Трикоза.

— Кондрат, ты чем опечален? — спросил тот.

— А чего радоваться? В Германию вот посылают...

— Вижу, неохота тебе от подола жены отрываться.

— Что и говорить. Поедет ли порядочный человек по доброй воле в какую-то Германию? Известное дело, не хочется. Только что придумать, ума не приложу.

— Хочешь, помогу? — И Трикоз криво усмехнулся,

показав ряд съеденных гнилых зубов. Кондрата обдало трупным запахом, он не выдержал и отвернулся.

— О боже, неужели это возможно, — наконец недоверчиво вымолвил он. — Всю жизнь благодарить буду. А как это сделать?

— Очень просто. Нужно только стать охранником порядка в городе. Я вижу, ты за большевиками не особенно убиваешься, а обязанности у тебя будут пустяковые — улицу ночью караулить или на базаре порядок наводить, ну и тому подобное...

— Да хоть сейчас за дело!

— Ну, смотри мне, Кондрат, только раки назад ползают. А теперь давай-ка свои документы.

Так Кондрат Охримчук, никогда не интересовавшийся политикой, стал охранником нового порядка. Ежедневно он должен был приходить на сбор в управу, а потом отправляться «на патруль» или на облаву. Уже с первых дней не пришлась ему по сердцу такая работа, да что поделаешь — в Германию тоже не хотелось. А чем дальше, тем тяжелее становились для него обязанности полицая, тем нестерпимее хотелось порвать с дикой ватагой Трикоза, потому что люди стали считать его хуже зверя.

— Будь проклят тот час, когда я тебя встретил, ирод, — шептал Охримчук, плетясь по улице. А тяжелые мысли роем кружились в голове: не отмахнуться от них, не отделаться.

«И какого беса я тут мерзну? От кого и что стерегу? Порядочного человека все равно нечего бояться, а такой изверг, как Трикоз, разве меня послушает? Нет, нехорошее что-то затевают в управе!»

Когда повернуло далеко за полночь и прокричали первые петухи, Охримчук вышел на окраину города, потоптался немного и побрел к стожку соломы за чьим-то тыном. Разрыл свежий, душистый ворох и сел. Мороз инеем оседал на ресницах, веки смыкались...

Проснулся Кондрат от треска. Взглянул и глазам своим не поверил — несколько согнутых фигур, оглядываясь, пробирались мимо него. Хотел было крикнуть — горло будто кто веревкой затянул. Дышать стало тяжело, и сердце из груди вот-вот вырвется. Что за люди? Куда они идут?

Кондрат всмотрелся — вроде автоматы у них на груди.

Так и просидел Охримчук до утра под тыном, боясь

вылезти из соломы, чтобы не встретиться с таинственными автоматчиками. А когда уже совсем рассвело, издерганный и утомленный, он поплелся домой.

Перешагнув порог, Охримчук почувствовал приятный запах жареного сала и лука: возле печки уже хлопотала жена. Она взглянула испуганными увлажненными глазами на белого от инея мужа и ничего не сказала.

Кондрат поставил между ухватами свою промерзшую винтовку, стянул валенки и улегся в постель. От ночных тревог не осталось и следа. Улыбнувшись, он спросил Настю:

— Спала спокойно? Маленький ножками не барабанил?

Настя выпрямилась, задумалась. Из печки на ее лицо падал отсвет пламени, и от этого в ее больших карих глазах то загорались, то гасли дрожащие искринки. Жена порывисто всхлипнула и закрыла лицо краем серого клетчатого платка.

— Тебе нездоровится? — вскочил с постели Кондрат. Босиком подошел к ней, ласково обнял за плечи. — Ну что с тобой? Что, миленькая?

— Душа у меня болит, — простонала жена сквозь слезы. — Люди меня чуждаются... Я же для них полицайка, и только. А с ребенком как же будет?

Охримчук ничего не ответил. Присел на охапку дров возле припечка, посадил на колени Настю. Темно у обоих на душе, зябко, хотя в устье печи полыхает горячее пламя, разрисовывая стены багряными коврами.

— Что же делать будем? Ничем я людей не обидел, а видишь...

Он хотел еще сказать, но на крыльце что-то застучало, а через миг двери порывисто распахнулись, и вместе с клубами пара в хату вкатился Нагиба — посыльный управы. Тяжело дыша, он выпалил:

— Пан Трикоз... вызывает всех. Партизаны в город пробрались. Их за прудом в ольшанике окружили... Собирайся быстро.

Охримчук вяло, неохотно поднялся. Заглянул жене в глаза, шепнул:

— Ну, не горюй. Тебе нельзя горевать — еще маленького растревожишь.

Уже на улице он услышал стрельбу. Беспорядочно

трещали винтовки, изредка короткими очередями в ответ огрызался автомат.

Кондрат повернулся к Нагибе:

— Сколько же их, тех партизан?

— Говорят, человек с двадцать, а может, и того больше. Лиморенко на Беевке их застукал, поднял тревогу. А там немецкий патруль подоспел. И заварилась каша...

Они выбежали на выгон, где стояла автомашина и толпилось несколько человек с полицейскими повязками.

— Какая разиня их проворонила? — злобно шипел Трикоз, так что даже пена летела у него изо рта. — Всех перевешаю, если живыми не возьмете! Слышите?

Угрюмо стояли полицаи. Трикоз еще о чем-то распоряжался, а потом повел ватагу к пруду. Поскольку Охримчук угнаться за ними не мог, его оставили в засаде за тыном, возле речки, чтобы задерживал всех, кто попытается выбраться из города.

Кондрат перелез через тын, присел на куче запорошенной снегом картофельной ботвы, поставил между ног винтовку.

...Солнце поднималось все выше, было уже около полудня, а бой все не утихал. Охримчук все сидел за тыном над застывшим ручейком, уставив глаза в землю. Зловеще завывал ветер, холодно смотрело солнце, поминутно затягиваясь мягким покровом туч. Тоскливо, мучительно было на сердце у Кондрата, что-то сосало под ложечкой, тяжесть в груди неимоверная. Ну и жизнь!

Выстрелы утихли после полудня. «Неужели всех перебили?» — подумал Кондрат и вылез из своего укрытия. Взглянул на ольшаник и окаменел: по заснеженному лугу, под вербами, куда спускались огороды, шли трое оборванных людей.

Молодой белокурый парень, без шапки, в одной сорочке, вяло переставлял ноги, прижимая к груди окровавленную руку. Второй был с длинными рыжими усами и бородой. Держался на ногах крепко, только время от времени прикладывал ко лбу горсть снега. Между ними шла девушка, почти совершенно раздетая. Нижняя сорочка, облегавшая ее стройную фигуру, на спине и на животе была разрисована кровавыми георгинами. Обняв раненых, она гордо шла навстречу смерти.

Полицаи не стреляли. Как рассвирепевшие борзые, перебегали они от дерева к дереву, приближаясь к партизанам.

— Ну, стреляйте! — раздался над лугом звонкий девичий голос.

Он показался очень знакомым Охримчуку, однако узнать, чей голос, Кондрат не мог. «Да не она ли, часом, мимо меня ночью в город проходила?» — мгновенно пронеслось в сознании.

А девушка все продолжала:

— Что ж боитесь? В плен мы не сдадимся, все равно нас повесите...

— Не повесим! — прокричал кто-то из-за вербы.

— Если гарантируете нам жизнь, — это говорил уже тот рыжеусый, прикладывающий ко лбу снег, — мы отдадим вам очень ценное донесение. Пусть только придет самый старший немецкий офицер.

Он остановился, вытащил из-за пазухи какой-то пакет и поднял его над головой. Из-за деревьев робко выглядывали полицаи.

— Офицер сейчас будет! — снова закричали за вербами.

Ждать в самом деле пришлось недолго. Послышался гул мотора, и вскоре на поляну выкатилась гусеничная бронемашина. Сделав крутой разворот, она затормозила. Открылись дверцы, и из стальной черепахи вьюном выскользнул эсэсовец с офицерскими погонами на плечах.

— Мы гарантируй жисть, если вы сдавайт сразу, — проскрипел он на ломаном русском языке. — Ежели ценный донесение давайт, вы будете жить. Этой слова оберста Мюллера.

— Согласны, пан офицер, — ответила девушка.

— Взять пакет! — скомандовал эсэсовец солдатам.

— Нет, нет, пан офицер, только вам лично, — старый партизан протянул сверток.

Фашист сделал несколько шагов и только хотел взяться за сверток, как девушка кошкой вцепилась ему в горло. Солдаты, стоявшие возле бронемашины, бросились на выручку. Началась свалка. Вдруг расцвел черный букет дыма, и весь город всколыхнулся от глухого мощного взрыва. Охримчук издали увидел, как полетели в воздух какие-то клочья. Когда дым рассеялся, на месте, где стоя-

ли окруженные фашистами партизаны, чернела земля и валялись обугленные лохмотья.

В груди у Кондрата словно что-то оборвалось. Его руки обмякли, винтовка стала такой тяжелой, будто к ней привязали стопудовую гирю. Хотелось провалиться сквозь землю, погибнуть, развеяться дымом, лишь бы не ощущать позорящего стыда, выжигающего грудь. Он обхватил лицо руками, рухнул на землю и глухо зарыдал.

XII

Глухо стонет сосновый бор в непогоду. Рассвирепевшим зверем бросается он вдогонку студеному ветру. Трещат от натуги деревья, хлещут ветвями темноту, но узловатые корни крепко привязали стволы к земле. Отпыхтевшись, лес в исступлении шарахается назад, чтобы набрать разгон, и снова бросается в погоню за ветром. И гудит, гудит... А между стволами в безумном танце носится растрепанная вьюга, высвистывая тягучую, никогда не оканчивающуюся мелодию. Что-то тревожное и грозное слышится в глухом стоне.

Гриценко еще с детства нравилась лесная вьюга, величественная, таинственная. Он лежит на сосновых ветках, возле раскаленной добела бочки, служащей печкой, и вслушивается в завывания метели. В землянке тепло, уютно, пахнет хвоей и свежеиспеченной картошкой. Сейчас Гриценко не до еды. После тридцатикилометрового перехода ноют ноги, горит все тело. Далеко, далеко за ветром бегут мысли, не хочется ни двигаться, ни говорить. Единственное желание — спать. Только въедливая, неотвязная мысль о боевом товарище гонит сон.

— Как ты думаешь, Таращенко, что могло случиться с группой Горового? — спрашивает он у человека в полушубке, неподвижно лежащего рядом.

Тот долго молчит: то ли обдумывает ответ, то ли дремлет. Но вот он зашевелился, и в землянке раздался грубый, охрипший голос:

— Сам не пойму. Наверно, метель — помеха, а может...

Знает Гриценко, что означает это «может». Погода здесь явно ни при чем, хотя зима 1941 года и в самом деле выдалась суровой. С сентября всю осень шли обложные холодные дожди. Насыщенная водой земля уже не вбирала влагу. Ударили морозы. Лютые, сорокаградусные.

А перед Новым годом и снег повалил. С тех пор и начались тяжелые времена для партизан. Все дороги и тропинки были завалены снегами, а на базе не осталось ни картошки, ни муки, ни мяса.

Помогла идея Горового — снарядить «армию нищих» по окрестным селам. Горовой в отряде Таращенко воевал еще с осени. Сформировав во вражеском тылу боевую группу из бойцов и офицеров, попавших в окружение, он пробивался с боями на восток, однако наткнулся на прочный заслон карательных экспедиций фашистов. Прорываться не решился, потому что боеприпасы почти кончились, а люди смертельно устали. Горовой пошел в леса и там встретился с местными партизанами во главе с Таращенко. После переговоров отряд влился в партизанскую бригаду, в которой Горовой стал комиссаром.

Человеком он был спокойным, сообразительным, хорошим товарищем. Вырос Горовой в шахтерской семье где-то в Донбассе. С шестнадцати лет пошел по проторенной отцом тропинке — за обушок и под землю. Воевал с бандитами, организовывал комсомолию, работал, а вечерами учился. Одаренность хлопца скоро заметили и на профсоюзном собрании решили послать его на курсы инженерно-технического состава.

С этих курсов он возвратился на свою «мышеловку» незадолго до 1941 года и вскоре стал начальником. Война спутала жизненные дороги людей — очутился потомственный шахтер Горовой в черногорских лесах на границе с Белоруссией. Сколько дорог было исхожено темными ночами, сколько отправлено на тот свет фашистов!

Недели две назад пошел он с шестью партизанами в Черногорск, чтобы наладить связи с подпольщиками. Все сроки возвращения прошли, а Горовой все еще не подавал о себе вестей. Поэтому-то и не спалось Гриценко.

— О комиссаре не печалься, — снова зашевелил усами Таращенко, переворачиваясь на бок и натягивая кожух на плечи. — Вот увидишь, придет: такие, как он, и в огне не горят, и в воде не тонут.

«Не горят, не горят... Такие, как он, и в огне не горят...» Фраза звучит в ушах Гриценко и отдается глухим звоном во всем теле. А чьи это слова?

Он пытается вспомнить, вьюга мешает. Ощущение такое, словно в глаза кто-то песку насыпал. Да чьи же все-таки это слова?

...Из фиолетового тумана выплывает лицо генерала. Он усмехается. Гриценко узнает Стоколоса. Генерал встает из-за стола и не спеша идет к нему навстречу.

— Как чувствуете себя, товарищ капитан? Поправились?

— Спасибо, на здоровье не жалуюсь.

— Ну и чудесно. Здоровье еще нам ой как понадобится. Мы сейчас и в огне гореть не должны. Понимаете? — А у самого под глазами синие мешки и на лбу густая сетка морщин.

Сели за стол. Лицо у Стоколоса сразу же стало суровее:

— Так вот, капитан. Вызвал я вас по очень серьезному делу. По данным разведки, в районе Черногорска появилось несколько партизанских отрядов. Действуют они разрозненно и несогласованно, а фашисты у них под носом пытаются наладить производство взрывчатки. Понимаете? Командование решило направить вас в район Черногорска для того, чтобы вы скоординировали действия партизанских отрядов и сорвали фашистам производство. Детальные инструкции будут переданы вам уже за линией фронта... Думаю, задание вам под силу. Если уж вы сумели вынести из окружения и доставить командованию такие ценные документы, то это поручение тоже выполните. Все остальное в инструкциях.

Беседа продолжалась около часа. На прощание Стоколос пожал Гриценко руку, пожелал успеха.

— Помните, капитан: от того, насколько успешно вы выполните свое задание, зависит жизнь тысяч людей.

В ту же ночь с небольшого прифронтового аэродрома поднялся самолет и взял курс на запад. Пассажир был один — еще молодой человек, сидящий на узлах. Вскоре в кабине что-то ослепительно вспыхнуло, земля огрызалась зенитным огнем.

— Нащупали, подлюги! — выругался человек, сидящий на узлах, и припал к окошечку. Почти возле самых крыльев вспыхивали розовые шарики, рассыпая красные брызги.

— Товарищ капитан, машина под обстрелом. Держитесь за поручни — иду на снижение, — передал пилот.

Потом какая-то невидимая сила так резко дернула самолет, что Гриценко даже повалился на бок. Почему-то стало душно, хотелось расстегнуть ворот сорочки. Он по-

чувствовал, как распирает грудь, а на лице выступает пот. Закрыл глаза.

Сколько времени продолжался этот адский полет, Гриценко сказать не мог, только показался он ему целой вечностью. Наконец пилот подал знак:

— Приготовиться!

Самолет пошел плавнее. Стало сразу прохладно. Дышалось легко, как после тяжелой работы. Вот уже и люк открыт. Далеко внизу, в беспросветной мгле, виднеются три слабых огонька. Это — партизанский знак.

Сброшены грузы. Самолет сделал еще один разворот, и на земле снова замигали три звездочки.

— Желаю успеха! — махнул рукой пилот. И капитан опрометью бросился в темную пасть ночи. Холодный воздух перехватил дыхание. Не понять, где земля, где небо. Резкий рывок в плечах — и над головой зашуршал купол парашюта. Огоньки неудержимо неслись навстречу.

Как приземлился, Гриценко тоже плохо помнил. Почувствовал лишь, что лежит на земле, в лицо пышет горячий воздух и страшно ноют ноги. Невдалеке слышался какой-то галдеж — разговаривали неизвестные люди. Присмотрелся внимательнее — ни души, а голоса все громче, громче...

— Где же я? — закричал Гриценко и проснулся.

Протер глаза — угли в бочке едва тлеют, тускло коптит каганец. На месте, где был Таращенко, лишь кожух остался.

Поднялся Гриценко на ноги, бросился за перегородку, откуда неслись взволнованные голоса.

Никто из партизан не спал. Тесным кольцом обступили они занесенного снегом человека, ничком лежавшего на сосновых ветках. Дед Онисько, бывший колхозный сторож, нацедил в кружку кипятку из чайника и по одной ложке вливал неизвестному в рот.

— Смотри, губы ему ошпаришь.

— До свадьбы заживут, — бурчит в ответ старик. — А разбудить его только кипятком и можно. Вишь, как медведь, в спячку упал.

Гриценко подошел к командиру отряда, который, опершись плечом о стену, покусывал зеленую хвою. Спросил, откуда взялся спящий молодец.

— Да Ничипор Сук в балке возле Жиденцов его нашел. В табор, говорит, пробирался... Попробовал вести его

Ничипор, а он с ног валится, до того из сил выбился. Ну, положил на лошадь, а, пока до табора довез, он и дуба, кажется, дал.

— А что за человек?

Таращенко пожал плечами.

Капитан присмотрелся к неизвестному. Продолговатое лицо было до того худое, что казалось зеленоватым. Длинный острый нос, рассеченный квадратный подбородок... Что-то знакомое было в этом лице. Будто видел он где-то этот рассеченный подбородок и черные непокорные волосы. Где? Или спросонья ему показалось? Гриценко начал скручивать цигарку.

— Не зашли бы в балку жиденецкую, каюк бы парню пришел, — послышался неторопливый голос Ничипора.

— Видно, беда погнала его в лес в такую вьюгу.

— Ну, этот крещение прошел что надо...

Все говорили наперебой, только Антон Климпотюк сидел в углу землянки, словно воды в рот набрал. Правда, он и раньше не отличался особенной разговорчивостью. Поэтому, наверное, и остался холостяком до тридцати с лишним лет, хотя, работая до войны в ремстройбригаде, считался лучшим бондарем в городе.

— Где я? — вдруг раскрыл глаза чернобровый парень.

— А ты кто такой?

— Я из Черногорска... Шел, чтобы рассказать партизанам... Все они погибли... И Анютка тоже. — Парень снова закрыл мутные глаза.

Вдруг из угла порывисто поднялся Антон, высоченный, могучий — потолок для него низок, землянка мала. Он зло выплюнул окурок.

— Кому ты брешешь, прихвостень фашистский! Тебя же к нам подослали! Я вашу милость своими собственными глазами в балагане Трикоза видел. Сочувствующим хочешь прикинуться! Не выйдет! Слышишь? Не верю!..

Антон так и не договорил, отвернулся к стене. Знали партизаны, какой огонь разожгла в его сердце Анюта-пулеметчица в лютые морозы 1941 года, знали, что значат для него страшные слова обмороженного приблуды.

Весть о гибели Анюты словно ветер разнеслась по всему партизанскому лагерю. Еще могущественнее и

грознее застонал бор, еще свирепее завыл ветер от этой вести. А в землянку все сходились ночные хозяева своей земли. Молчаливые, хмурые, грозные.

— Кто ты такой и кем сюда послан?

Это уже спросил парня Таращенко, сурово сдвинув на переносице брови.

— Раз моим словам не верите, говорить не буду.

— А нам и не нужно, чтобы ты говорил, — ревет из угла Климпотюк. — Мы тебя как облупленного знаем. Сынок кулацкий! Буян! Богачом задумал при немцах стать?

— Чтоб ты подавился своей брехней!

— Брехней? А в тюрьме за что сидел? За грабеж. А с Трикозом чего компанию водил? Кто знает, может, ты сам и расстреливал...

— Да я два месяца в тифу валялся, — как-то спокойно и совсем безразлично, будто между прочим, проговорил вдруг парень. Видать, понимал, что словам его все равно не поверят. Потом обвел долгим и тоскливым взглядом суровые лица партизан и на какой-то миг задержался на Гриценко.

В это мгновение капитан вспомнил и кровавые отблески пламени на стене, и дребезжание стекла от взрывов, и двух арестованных, выпущенных им на волю. Вспомнил и слова лейтенанта: «А все-таки зря выпустили того, черноволосого...» Неужели Ивченко действительно стал предателем? А что, если правду говорит Климпотюк? И терпко стало на душе у Гриценко.

— Ну что ж, расстреливайте, раз не верите. Жизнь мне теперь ни к чему! — шепотом сказал Ивченко и отвернулся от людей.

О чем думал он в те минуты, никто не ведает. Только лицо его стало еще зеленее и под глазами еще сильнее сгустились тени.

Вдруг за дверью послышались чьи-то шаги, и в землянку ввалился почти раздетый человек. Он бросился к Ивченко, обнял его и с опаской, дрожащим голосом спросил:

— Петрик, неужели все правда? Она же шла к тебе, больному, на свидание. Не может быть...

Петро ничего не ответил, только закрыл лицо ладонями, и его плечи судорожно задрожали. Глухо зарыдал и старый Гриндюк.

— Повесить негодяя, — зловеще прошептал кто-то в толпе. — Повесить!

— Не каркали бы дурное. — Гриндюк поднялся на ноги. Голова опущена, не хотел, видно, чтобы люди видели слезы. — Петро мне с дочкой жизнь спас... Любили они с Анютой друг друга... За что ж тут вешать?

Поплелся к двери, и через мгновение его поглотила темная ревущая ночь.

Утром Петро сидел перед Таращенко, Гриценко и двоюродным братом Андреем Колядой. Андрей после выздоровления снова вернулся в отряд. Петро рассказал подробности гибели группы Горового.

— ...Теткина хата как раз над прудом, около ольшаника стоит, — начал он. — Утром услышал я выстрелы и бросился к окну. Смотрю, в отроге, возле зарослей, толпа полицаев и эсэсовцев, человек с пятьдесят. Вокруг стрельба, а к полудню все стихло... Смотрю и глазам не верю: из ольшаника Анюта, почти совсем раздетая, с двумя партизанами выходит. Все без оружия, в крови. Шли они лугом, над ручейком, а вокруг, как змеи, увивались эсэсовцы. Я видел, как партизаны остановились, о чем-то шептались, потом подъехала машина. Хотел я на помощь броситься, выбежал в сени, а тут — как ахнет взрыв... Вышел во двор, а на том месте, где Анюта с партизанами стояла, воронка чернеет...

Слушал Гриценко рассказ, а в памяти всплывало: «Такие и в огне не горят...» Вот тебе и не горят!

XIII

Мюллер разговаривал с шефом полиции, сидя на столе спиной к двери, холодно и сухо. Майор Шмультке тоже ни разу не взглянул на вытянувшегося в струнку Трикоза. Он жевал конфету, глядя в окно тупыми бесцветными глазами. В тишине комнаты слова оберста падали как капли холодной воды:

— Я хотел бы, чтобы ваши охранники были такими же боеспособными, как те шестеро партизан. Не быть нам победителями, если мы будем так дорого платить за каждую большевистскую голову. Запомните это!

Да, шеф полиции и без того знал, какой беспомощной оказалась разношерстная ватага полицаев, собранная им с таким огромным трудом. В первой же стычке

семеро партизан (хотя Мюллеру он доложил, что их было всего шестеро) уничтожили семнадцать эсэсовцев и полицаев. Четырнадцать ранили. Хорошо, что среди потерпевших была почти половина эсэсовцев, а то бы никак не оправдаться.

В разговоре оберст изложил свой план «боевой подготовки охраны». Предлагалось устроить однодневный сбор полицаев округа, перед которыми эсэсовцы смогли бы продемонстрировать, как нужно расправляться с противниками фюрера. Местом сбора был назначен хутор Вильховой, куда, по доносам, нередко наведывались партизаны.

На сретение спозаранку, когда в только что открытой церкви ударили в колокол, Трикоз на автомашине выехал из города. Он сидел рядом с шофером-немцем и повторял про себя заготовленную речь. На заднем сиденье дремали двое автоматчиков.

Полевая дорога ужом петляла между пригорками. И хотя на дворе еще дули февральские ветры, снег начал заметно оседать. Видно, приближалась оттепель. Трикоз смотрел через переднее стекло кабины на гребень темного леса вдали, где притаились невидимки-партизаны, и неприятный холодок пробегал по спине.

Часа через полтора новенький «оппель-капитан» облегченно вздохнул, остановился возле кирпичного дома в самом центре хутора Вильхового. Вокруг стояли десятки подвод. Привязанные к коновязи рысаки лениво пережевывали овес. Площадь перед домом напоминала чем-то ярмарку старых времен. Было людно, шумно. Только люди, слоняющиеся между санями, были с винтовками.

Шеф полиции вышел из автомашины и огляделся. Суета на площади постепенно улеглась. Полицаи ожидали приказаний.

— Всем в хату! — бросил Трикоз и в сопровождении немцев направился к дому.

За ним беспорядочно последовала вся ватага. Скоро в помещении клуба до тошноты смердело конским потом, дешевым табаком с самогонным перегаром. Будто на молебне, молча и хмуро стояли седовласые старики и молодежь: глухие, хромоногие, подслеповатые.

«Ну и вояки... — подумал Трикоз. — Вами бы только болото гатить. Ни на что другое не годитесь».

Он влез на табуретку, поднял руку.

Стало тише.

— Слушайте, панове! Мы собрались сюда, чтобы поучиться у рыцарей нашего дорогого фюрера, как воевать с большевистскими бандами партизан...

Говорил, а сам думал, какими словами раскачать ему эту инертную массу. Среди полицаев большинство были заклятыми врагами Советской власти, но немало встречалось и совсем случайных людей. И теперь этих «панов» надо было научить убивать, вешать, насильничать. Иначе не оправдать ему высокого доверия, купленного у освободителей за сундук награбленных еще в гражданскую войну ценностей. Шеф решил повлиять на полицаев пламенной речью. Он долго кричал, размахивая руками, об опасности «большевистской пропаганды», упрекал их в мягкосердечии к сочувствующим Советам, требовал беспощадной расправы над всеми подозрительными. Закончил Трикоз свое выступление словами:

— Всегда помните призыв нашего отца, нашего освободителя, нашего великого фюрера: «Убивайте каждого, кто против нас, убивайте, убивайте, не вы несете ответственность за это, а я, поэтому убивайте!..»

Речь его, по-видимому, не особенно повлияла на разношерстную толпу. Один бородач, стоявший напротив, озабоченно ковырял в носу, из угла доносился громкий храп.

Решили перейти к «делу». По команде немецкого офицера полицаи высыпали на площадь и начали выстраиваться возле коновязи. Все как на подбор — кривоногие, пузатые, низкорослые, кособокие. Кучка эсэсовцев-инструкторов привычно рассыпалась цепочкой, не спеша окружила ближайшую хату, факельщики подожгли ее и тут же деловито расстреляли детей и женщин, пытавшихся вырваться из огня.

— А теперь и мы покажем, как усвоили урок рыцарей великой Германии. В этом хуторе еще до войны осел цыганский табор. А цыгане — испокон веков агенты большевиков. Так докажем же, что мы верные слуги фюрера! — Трикоз выхватил из кармана пистолет и бросился к первой хате.

— До-ка-жем! — недружно прокатилось по рядам, и ватага полицаев, как стая коршунов, рассыпалась по хутору.

...О «практической боевой подготовке охраны» Мюллер узнал от своих солдат на другое утро. И не замедлил поздравить Трикоза. Через своего адъютанта он послал в управу записку: «Учебой охраны доволен. Это событие можно было бы отметить не только поздравлением. Мюллер».

Трикоз долго соображал, на что намекает оберст, но так и не догадался, пока ему не дала надлежащего совета переводчица. С этого дня Трофим зажил как в угаре. В своем особняке он распорядился навести порядок, послал в села «охрану» реквизировать для армии фюрера свежего сала, крупчатки, самогонки. Дел теперь у него было больше, чем нужно.

И вот настало воскресенье. Трикоз проснулся рано. Встал, надел недавно сшитый костюм, обул начищенные до блеска сапоги, затянулся ремнем и прошелся по комнате. Новые сапоги приятно поскрипывали. Он остановился перед зеркалом, придирчиво осмотрел себя. Наверное, не понравился сам себе, потому что, вытащив флакон одеколона, смочил голову и начал причесывать остатки волос так, чтобы хоть немного прикрыть лысину. Пошел еще раз проверить, как приготовлены комнаты для желанных гостей. Добротная мебель, ковры, зеркала... Все, что было лучшего в городском краеведческом музее, очутилось в подаренном оберстом особняке. В небольшом зале стоял сервированный стол. Соседняя комната была оборудована под салон: рояль, радиоприемник, мягкие кресла.

Трикоз усмехнулся. Сколько лет он мечтал о такой роскоши, сколько дум передумал — и вот наконец сбылось. Жалко, правда, что драгоценности пришлось возвратить Мюллеру, но все равно ему хватит и того, что успел приобрести за месяцы новой власти. А приобрел он немало! От удовольствия Трикоз повернулся на одной ноге, включил радиоприемник, чтобы послушать музыку. Но из репродуктора раздался знакомый голос московского диктора.

В передаче рассказывалось, что Красная Армия пополнилась людьми и техникой, получила в помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда на главных участках огромнейшего фронта она смогла перейти в наступление, за короткий срок нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары под Ростовом-на-Дону и Тихвином, под Москвой и в Крыму. В ожесточен-

ных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие советской столице окружением. Красная Армия отбросила врага от Москвы и продолжает теснить его на запад. От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом. Теперь у немцев уже нет того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны...

Трикоз тяжело опустился в кресло. Хорошее настроение как рукой сняло, солнечный день сразу потускнел. Что-то жгучее и неприятное зашевелилось под ложечкой. А из репродуктора доносился все тот же голос.

От злобы Трикоз так рванул проволоку антенны, что приемник чуть не свалился на пол. О, с каким наслаждением вцепился бы он когтями в глотку диктору! Репродуктор молчал, а в душе Трикоза росла тревога. Что, если фашистам и в самом деле придет каюк? Что тогда делать? Где искать спасения? У Трикоза даже пот выступил на лысине. И тут же он хитро усмехнулся: ничего, он, Трикоз, сумеет устроиться при всякой власти.

Когда пробило десять часов, за окном раздалась сирена автомобиля. Хозяин бросился во двор встречать гостей. Из брюхастого «хоря» вылезли оберст Мюллер, майор Шмультке и еще несколько офицеров.

— Рад видеть в своем доме дорогих гостей, — согнулся перед ними Трикоз. — Прошу вас в светелку.

Вошли в салон.

— О, вы совсем неплохо украсили дворец моего отца, — восхищенно воскликнул Мюллер. — Вижу, у вас хороший вкус.

Трикоз угодливо усмехнулся:

— Не зря же с деда-прадеда прислуживали вашему роду. От вас перенял науку.

— А догадываешься ли, какую новость я для тебя приготовил?

Полицай пожал плечами. Не знал, улыбаться ему или делать серьезный вид.

— Ахтунг! — выкрикнул Мюллер, и все офицеры вытянулись. — Объявляю, что по моему ходатайству за заслуги в наведении нового порядка приказом немецкого командования присвоено герру Трикозу звание лейтенанта армии великого фюрера!

Офицеры взяли под козырек, а Трикоз как-то странно затоптался на месте и даже потянулся кулаком к глазам.

— Вы что, не рады новости? — обратился после минутной паузы Мюллер.

— Ясно, взволнован, страшно взволнован... Двадцать лет я прозябал, страдал, ожидал счастливых дней и наконец господь смилостивился. Чем я могу... Ну разве же я мог даже подумать?

— Фюрер ценит своих верных слуг.

Трикоз покорно выдавил из себя улыбку, хотя мундир офицера немецкой армии не много доставил ему радости. В ушах еще звучали слова, услышанные из репродуктора...

XIV

Петро одним махом перепрыгнул через забор и присел под кустом. Ветка распустившейся сирени хлестнула его по лицу и запуталась в черных волосах. Парень прислушался. Тихо, словно вымерло все вокруг. Окутанный седой мглой, Черногорск спал каким-то немым и настороженным сном. В ночной тишине раздавался только шелест листвы, которая неумолчно шептала что-то свое, непонятное людям.

Ивченко встал, на цыпочках подошел к хате Охримчука и словно прилип к ставне. Сквозь щель он увидел жену полицая — Настю. Она лежала на кровати в одной сорочке, закинув руки за голову. Толстая черная коса, сбегая из-под головы, обвивалась вокруг шеи и по груди скользила под одеяло. Настя, наверное, что-то говорила, потому что ее губы слегка шевелились, но сквозь стекло нельзя было разобрать ни единого слова.

На кровати, в ногах у жены, сидел сгорбленный Охримчук. За зиму он страшно постарел, лицо пожелтело. При тусклом освещении оно казалось вылепленным из воска. Охримчук виновато, исподлобья смотрел на Настю.

Петро никак не мог догадаться, о чем они вели разговор, пока Охримчук не припал ухом к выпуклому животу жены. Вмиг на лице Кондрата заиграла счастливая и радостная улыбка, что совершенно не подходило к его сгорбленной фигуре. Невольно Петро и сам улыбнулся и тут же сурово сжал губы и прошептал:

— Выродка ожидаешь, гад полосатый! А сколько чужих детей на тот свет отправил?

Парень сплюнул, зло скрипнул зубами, и в горле у него пересохло. И было из-за чего озлиться Петру.

Всю зиму отряд Таращенко скитался в лесах вблизи Черногорска, готовясь к выполнению сложного и тяжелого задания. По данным разведки, фашисты объявили деревообделочную фабрику, ранее ничем не примечательную, объектом первой важности, и она усиленно охранялась эсэсовцами. Не зря, видно, в народе говорят: ко всякому замку — свой ключ. Через несколько месяцев партизаны сумели подобрать ключ к немецкой охране, и тогда там, за колючей проволокой, появились свои люди. А уже в конце марта капитан Гриценко рапортовал в Москву: «Сегодня утром партизаны взорвали фабрику».

Сразу же после этого знаменательного для партизан события в отряде стало известно, что немцы готовят большую карательную экспедицию. Гитлеровцы вызвали воинские части из Киева и Полтавы, надеясь взять партизан в клещи.

Однако каратели задерживались с выходом: сначала из-за глубоких снежных сугробов, а потом из-за весенней распутицы. Когда же журавлиными кликами огласились окрестности, двинулись в наступление эсэсовцы.

Лес, в котором находился отряд Таращенко, был окружен сплошным вражеским кольцом, и партизаны не могли теперь выходить на боевые задания малыми группами. Вскоре из Москвы был получен приказ пробиваться всем отрядом на север, в Брянские леса, для соединения с партизанами Сабурова, Ковпака, Кошелева. В тот день, когда в отряде узнали о распоряжении собираться в дорогу, в землянку к Таращенко и Гриценко пришел Петро Ивченко. Он просил отпустить его на несколько дней в город, чтобы на память о себе оставить пулю в груди Трикоза. Обсудив предложение, Гриценко сказал:

— Идея хорошая... Только не проберешься один в Черногорск.

— Так я же не один.

— А с кем?

— С Андреем Колядой, братом моим...

Авторитет Андрея как разведчика был в отряде непоколебимым, поэтому командиры возражать не стали.

Хлопцы направились в Черногорск, преисполненные больших надежд. В город добрались незамеченными, проникли ночью в спальню шефа полиции, но там его не застали. Позже они узнали, что за несколько дней до их появления в городе Трикоз по каким-то срочным делам выехал в Киев. Два дня они ожидали ката * на чердаке, во флигеле, а он так и не появился. Между тем приближался срок возвращения в отряд.

На третью ночь, голодные и злые, партизаны вылезли из своего укрытия и решили покончить хотя бы с одним предателем — Охримчуком. Садами пробрались к его усадьбе. Осторожно начали готовиться к делу.

Петро некоторое время смотрел в щель, чтобы узнать, что происходит в хате, а потом подошел к забору и шепотом предупредил:

— Можно!

Андрей тенью проскользнул под белой стеной и остановился возле пристройки.

— Через окно? — спросил он Петра.

— С чердака будет лучше.

Хлопцы нашли во дворе колышек, бечевку и бесшумно завязали двери сеней. Затем Петро кошкой взобрался на берест, росший у хаты, по ветке спустился на соломенную крышу. За ним поднялся и Андрей. Легли рядом и начали расшивать свясла **. Под трубой с каждой минутой вырастала куча снопков, а в кровле, будто черная латка, увеличивалась дыра.

Прислушались разведчики — ничто не шелохнется. Тихо, тепло. Над головой чистое глубокое небо, мелкими глазками отчужденно подмигивают звезды.

Петро вытащил из кармана финку, зажал ее в зубах и нырнул в дыру на чердак. Немного подержался на руках, а когда внизу под ногами зашуршало сено, отпустил слегу. Окунувшись в сухую траву, почувствовал под собой что-то похожее на мешок. «Что-то» зашевелилось, послышался слабый стон. Петро отскочил в сторону, к трубе, и зажал в руке финку.

Некоторое время было тихо, как в гробу, а потом возле борова *** снова что-то зашуршало. Юноша затаил

---

* Кат — палач.

** Свясла — соломенные жгуты.

*** Боров — горизонтальная часть дымохода, ведущая от печи к дымовой трубе.

дыхание. Вдруг четко послышался стон, глухой, прерывистый. Так немощно мог стонать только больной человек. Кто? Как попал на чердак к полицаю?

Пока Петро прислушивался, влез и Андрей. И тоже застыл в нерешительности. А шорох усиливался: кто-то ворошил сено. Тогда Петро вытащил из-за пазухи фонарь и нажал кнопку. Луч яркого света ударил в самый отдаленный угол, из темноты выхватил худое, заросшее щетиной лицо неизвестного. Голова у него была забинтована, на щеке виднелся свежий шрам. Нет, враг не стал бы залечивать свои раны на темном, запыленном чердаке. Кто же это?

— Или ошибаюсь, или в самом деле вижу комиссара Горового, — нерешительно произнес Коляда, определенно не веря своим глазам.

— Кто вы такие? — в свою очередь спросил неизвестный все тем же глухим, слабым голосом.

Вместо ответа Андрей негромко продекламировал давний стих-пароль:

В лесах любимой Украины
Горит огонь борьбы святой.
И каждый куст и ветвь рябины
Кричат врагу: убийца, стой!

Будто пружиной подбросило раненого человека.

— Неужели Андрей? Что за встреча! Ну думалось ли, чтобы вот так... Откуда? А где наши?

Два боевых друга крепко обнялись. Петро тоже вышел из-за трубы, присел возле раненого, а в горле будто галушка застряла. Сколько легенд слышал он от партизан о бесстрашном комиссаре!

— Как же вы здесь очутились?

— Удивляетесь? Я сам долго удивлялся. Как видите, полицай полицаю — большая разница. Жена Охримчука спасла. Меня в голову возле криницы ранили. Я лежал без сознания. Наверное, женщина меня тогда и подобрала. Как перенесли в хату, не помню. Когда пришел в себя, вижу, на печке в тряпье лежу...

Петро слушал комиссара и чувствовал, как прерывисто стучит сердце.

— А я ж убить Охримчука хотел... — промолвил он.

— Придется изменить намерение. Он — человек хороший.

Горовой трижды постучал по борову. Вскоре на чердак влез сам Охримчук, и все спустились в хату.

Говорили долго. Хотя комиссар чувствовал себя еще неважно, все же хлопцы решили немедленно отправить его в партизанский отряд. Разработали план. А когда пропели третьи петухи и во дворе начал брезжить рассвет, хозяин, накрыв Горового, Андрея и Петра на чердаке сеном, сказал:

— Отдыхайте. Я пойду крышу латать...

Целый день пролежали они в тревоге. Только под вечер заскрипела ляда * и послышался знакомый голос:

— Пора в дорогу.

Когда они вышли во двор, там уже стояла арба.

Партизаны легли на сено. Охримчук укрыл их сверху рядном, притрусил сеном, и арба покатилась по улице. Дружно бежала пароконка по укатанной дороге. Повозка так подскакивала на выбоинах, что даже в глазах рябило.

— К мосту подъезжаем! — послышался голос Охримчука.

Кто не знает, как охраняли мост фашисты, да еще весной, во время половодья! Рука Петра судорожно сжимала рукоятку пистолета. Только бы проскочить. А там сам нечистый поможет, ведь лес недалеко...

Застучала под колесами мостовая, кони перешли на размеренный шаг. «Сейчас часовой загородит дорогу», — подумал Ивченко.

— Пферде, хальт! — послышался окрик.

— Дрова, понимаешь, по дрова еду... для управы... для пана Трикоза, — доносились обрывки речи Охримчука.

И вот уже арба катится по деревянному настилу — опасность, однако, еще не миновала.

Наконец въехали в лес. Охримчук распряг лошадей.

— Ну что ж, хлопцы, счастливой вам дороги!

Он произнес это печально, с тоской. Петру сразу стало жалко пожилого Охримчука, которого он долгое время так презирал.

— Может, еще встретимся когда-нибудь, а если нет, то не поминайте лихом. Отправился бы и я с вами, да не могу — жена вот-вот родить должна. Как же ее одну бросить? И радость и горе мне с ней.

---

* Ляда — дверца в потолке на чердак.

На том и распрощались.

Солнце уже село за густые верхушки деревьев, когда трое направились по глухой просеке в глубину леса. Четвертый повернул к городу.

— Ничего не понимаю, — отозвался Ивченко. — Полицай и...

— А что тут понимать? Охримчук — человек наш, только слишком ограниченный и безвольный. В полицию случайно попал, так сказать, угодил в сети, расставленные Трикозом.

«Святая правда, Трикоз не одному Охримчуку силки готовил», — отметил Петро про себя.

Их разговор прервали несколько выстрелов, прогремевших где-то возле речки. Партизаны переглянулись и поехали дальше. Им и в голову не приходило, что в ту минуту угасала жизнь человека, о котором они только что говорили...

С тех пор как Коляда и Ивченко привезли в партизанский лагерь раненого комиссара, прошло много дней. Немало событий произошло в жизни таращенковцев. Успешно проскользнув сквозь вражеские заслоны, отряд уже давно перебазировался в Брянские леса и влился в одно из крупных соединений. На огромнейших пространствах партизаны были полновластными хозяевами, и фашисты не осмеливались появляться в их владениях.

Осенью 1942 года командование Советских Вооруженных Сил возложило на народных мстителей серьезную и важную миссию. Партизанские соединения в полном боевом порядке должны были оставить леса, форсировать Десну, Днепр, Припять, выйти на Правобережную Украину и продвигаться к Карпатам.

Чтобы отвлечь внимание фашистов, командование соединения решило провести несколько ложных рейдов небольшими отрядами в других направлениях. Выбор пал на группу Таращенко. Ему поставили задачу разгромить вражеский гарнизон в районе Черногорска.

Теплым вечером отправлялись таращенковцы в поход. Отряд продвигался форсированным маршем, уничтожая на своем пути вражеские опорные пункты, коммуникации, гарнизоны. Уже через неделю он был под Черногорском. Прямо с марша партизаны ударили по врагу.

Натиск был настолько неожиданным и сильным, что фашисты в панике покинули город.

Командир отряда разместился на выгоне, возле беевского колодца с журавлем.

Еще слышалась на окраинах стрельба, а к командиру уже поступали радостные вести:

— Взята управа!

— Партизаны овладели гестапо!

— Захватили в плен двух немецких офицеров!

От командира во все концы города неслись конные гонцы с приказом:

— Живым или мертвым разыскать начальника черногорской полиции Трикоза.

Проходили часы. Бой утихал. Однако партизанам так и не удалось напасть на след кровавого фашистского прихвостня. Его не было ни во флигеле помещичьей усадьбы, ни в саду, ни в управе, ни в полиции, будто он сквозь землю провалился.

Стали допытываться у соседей: не видели ли случайно, куда спрятался бандюга.

— Видела я его, видела сучьего сына, как в садик без шапки, босиком удирал, — сообщила какая-то старенькая бабуся. — А куда он там девался, не скажу. Не заприметила — ведь глаза уже не те, что в молодости.

Так и ушли народные мстители из Черногорска, не найдя подлого предателя.

От людей они узнали о последнем преступлении Трикоза. После того как партизаны покинули дом Охримчука, туда и явился шеф полиции. Увидев заделанную наспех дыру на соломенной кровле хаты, он взобрался на чердак и нашел в сене окровавленные бинты и несколько патронов. Позеленев от злости, он бросился со своими бандитами в лес, вдогонку за Кондратом. Охримчук, простившись с партизанами, в это время уже возвращался в город. Как раз на мосту он и встретил своего начальника.

На следующий день черногорцы нашли труп Кондрата на берегу реки. А еще через несколько дней на центральной улице повесили Настю Охримчук с дощечкой на груди: «Она прятала большевиков».

Вскоре партизаны отправились в новые походы и больше никогда не возвращались к Черногорску. По-разному сложились их судьбы. Многие пали в боях смертью

героев, другие дождались прихода Красной Армии, воевали на фронтах. Но никто не ведал о судьбе Трикоза, лютого палача Черногорска. А невыдуманная история кончилась просто...

XV

Когда «Бородача» привели на очередной допрос, Гриценко коротко пересказал ему содержание событий, записанных им для себя по памяти.

Не дослушав до конца, арестованный закричал:

— Хватит с меня! Слышите? Хватит!

Он вскочил на ноги и ударил кулаком по столу. Теперь он нисколько не напоминал того спокойного и благообразного старичка, который еще вчера так непринужденно перешагнул порог кабинета Гриценко. От недавнего безразличия не осталось и следа. Будто параличом скривило ему рот, лысина зарябила темно-красными пятнами. Всегда прикрытые хмурыми бровями глаза выкатились из глубоких впадин, и казалось, вот-вот выскочат из орбит.

— Знаю, чем должна окончиться эта невыдуманная история, — прохрипел он. — После того как партизаны оставили город, шеф полиции Трикоз вылез из своего укрытия в бывшем помещичьем парке, он прятался в склепе, под могильной плитой. Там долгое время хранились клады Мюллера. Да, да, именно там! Вылез и задумался: что ожидает его в будущем. И он решил покинуть Черногорск, пока еще не поздно. Трикоз был слишком хитрым и практичным человеком, чтобы не понимать, что корыто Гитлера уже треснуло и вот-вот развалится. Поэтому содрал он с себя форму немецкого офицера, натянул плохонькую одежду и, прихватив документы на имя своего земляка Ивана Задирача, которого собственноручно застрелил незадолго до налета партизан за отказ ехать на работу в Германию, побрел на восток. В Черногорске же все были уверены, что Трикоза уничтожили партизаны. О нем скоро забыли. А через какие-нибудь полгода вернулась на Украину Советская власть. Трикоз «добровольно» поехал в Донбасс, на восстановление шахт. Со временем заслужил уважение тех, кого так ненавидел и кого боялся всю жизнь пуще огня. Вот так и жил, пока не...

— Вот так и жили! Да только просчитались, — перебил его полковник. — Не мог я так закончить свою невыдуманную историю, потому что в самом деле не знал, как удалось спастись от народной мести выродку Трикозу, не знал, как он перекрасился в честного труженика. Тут я рассчитывал на вашу память и, как видите, не ошибся.

Старик молчал. Уставившись в пол, он о чем-то напряженно думал. Жилы на его висках налились кровью, посинели. Наконец он поднял глаза.

— Слушайте, уважаемый гражданин следователь, — лицо его расплылось в постной улыбке, а голос снова стал спокойным и безразличным. — Спасибо вам, очень интересную быль рассказали мне. Ничего не скажу, волнующая. Однако невыдуманная история существует лишь тогда, когда она подкрепляется документами. Без них она превращается в искусную выдумку, сплетню, если хотите.

— Ну, кто-кто, а вы безусловно не сомневаетесь в том, что в рассказанном мною нет ни капли выдумки. А чтобы убедить в этом других, не сомневайтесь, найдутся документы. Взгляните, вам это ни о чем не говорит? — И Гриценко показал толстую папку в ледериновой обложке с немного обгорелыми краями. На первой пожелтевшей странице каллиграфическим почерком было выведено: «Дело об убийстве неизвестного гражданина в ночь на 28 мая 1933 года в усадьбе бывшего помещика Мюллера».

— Оно не закрыто, его нужно закончить, — заметил старик.

— Можете быть уверены — закончим. У нас теперь имеются все доказательства, что «Земляка» убили вы. А вот эту вещь узнаете?

Полковник положил на стол толстый блокнот. На обложке, обтянутой коричневой кожей, виднелись золотом тисненные немецкие слова.

— Мы нашли его в сейфе вашего мецената-гестаповца. Он имел неосторожность перечислить тут все «заслуги» пана Трикоза перед фюрером, чтобы выхлопотать ему офицерский чин. Ну и еще некоторые довольно интересные документы найдутся...

— Безголовый пень!

— Ну а этот почерк вы, наверное, сразу признаете? Перед глазами старика появились протоколы определения личности с тремя фотокарточками.

— Написаны они Петром Ивченко. Помните такого? Хорошую жизненную школу прошел этот человек. И не без вашей помощи. Тюрьма, полиция, партизаны, Советская Армия. А ныне он наш работник и сможет кое в чем мне помочь. Да и бывшая жена Трикоза, Марфа, не откажется рассказать о злодеяниях мужа. Она с дочкой и внучкой недалеко отсюда живет...

Старик тяжело вздохнул и опустил голову. Полковник продолжал:

— А вот эта забавная штучка найдена в вашей квартире во время обыска. Выводы экспертов удостоверяют, что в ней не хватает одного патрона. К сожалению, мы нашли его уже разряженным.

И полковник положил на стол парабеллум с отстрелянной гильзой и пулей.

— Боже, вам и это известно? — как-то совершенно бессильно вымолвил преступник и еще ниже опустил плечи.

— Как видите, известно, Трикоз-Задирач.

— Тогда что же вам от меня еще нужно?

— О вас-то мы все знаем, но нам хотелось бы понять, как рождается и живет на свете вот такая гадость. Видно, пора начинать откровенный разговор.

— Я грамотный. Давайте бумагу. Про все напишу сам.

— Что же, разумно.

Полковник подал ему несколько листов бумаги и карандаш.

Через неделю Гриценко вместе с капитаном Борисько и майором Ивченко, по дороге на Кавказ заехавшим на несколько дней погостить в Донбасс, читали записку Трикоза. Она была крайне циничной и наглой. Начиналась так:

«Писать мне, собственно, нечего. Вам уже все известно и без моих объяснений. И то, что вы знаете, — правда...

Каяться в своих грехах я не собираюсь. Я — ваш враг и почти полстолетия боролся с вами, как умел. Но вас миллионы, у вас сила, а что я мог противопоставить?! Разве что ненависть. Да и мог ли кто-нибудь на моем месте поступить иначе?

Мой отец прислуживал богатеям, выбиваясь в люди. «Терпи и молчи, — учил он меня, — только этим можно купить себе силу и уважение». И я приготовился терпеть и молчать.

Верно, сама судьба отметила меня и ласково мне улыбнулась. Благодаря счастливому случаю я сделался неимоверным богатеем, миллионером. В моих руках оказались клады, собранные династией Мюллеров. За них я мог купить себе славу и любовь, власть и красоту, но вы отобрали эту улыбку судьбы у меня из рук.

Я имел миллионы, а был ничтожным, простым работником, «товарищем».

Я ненавидел вас. Рад был служить всем, кто только был против вас. Вы называете это изменой Родине, преступлением. Для меня же такая судьба была надеждой на будущее.

Всегда я пытался вредить вам. Женившись на большевичке и удочерив большевистского выродка, я завоевал авторитет среди бедноты. Был образцовым бухгалтером, и это принесло мне доверие. Но и авторитет и доверие я использовал очень умело. Писал анонимные письма в высокие инстанции, обвиняя в измене тех, кто были настоящими моими идейными врагами.

И не раз я достигал цели... Это была своего рода кровная месть.

Пришла война. Мне казалось, что я дождался своего солнца, однако это солнце очень быстро затуманилось, даже по-настоящему не согрев меня. И вот я снова сделался «товарищем», снова стал улыбаться тем, кого ненавидел. Да, годы были уже не те, не стало у меня больше ни надежды, ни утешения. И умирать не хотелось...

Всю жизнь я прожил по принципу: опасность не страшна, страшна случайность. Остерегался всех случайностей и не уберегся. Именно случайность меня и погубила. В конце декабря к нам на шахту назначили нового начальника. Как-то, обходя склады, я встретился с ним с глазу на глаз и чуть не упал с перепугу.

В новом начальнике я сразу узнал бывшего комиссара партизанского отряда, чье лицо хорошо запомнилось мне по плакатам, которые мы вывешивали в Черногорске и в окрестных селах, обещая за его голову 50 тысяч марок.

Горовой долго смотрел на меня, потом как-то неестественно крепко пожал мне руку. Я подумал, что он тоже меня узнал.

С тех пор я потерял покой.

Передо мной стала дилемма: удирать в неведомый край или же убить Горового. Я решился на последнее, ибо в мои годы бежать уже некуда.

Долго выбирал удобный момент и наконец выбрал.

Это меня и погубило.

Что же, радуйтесь!

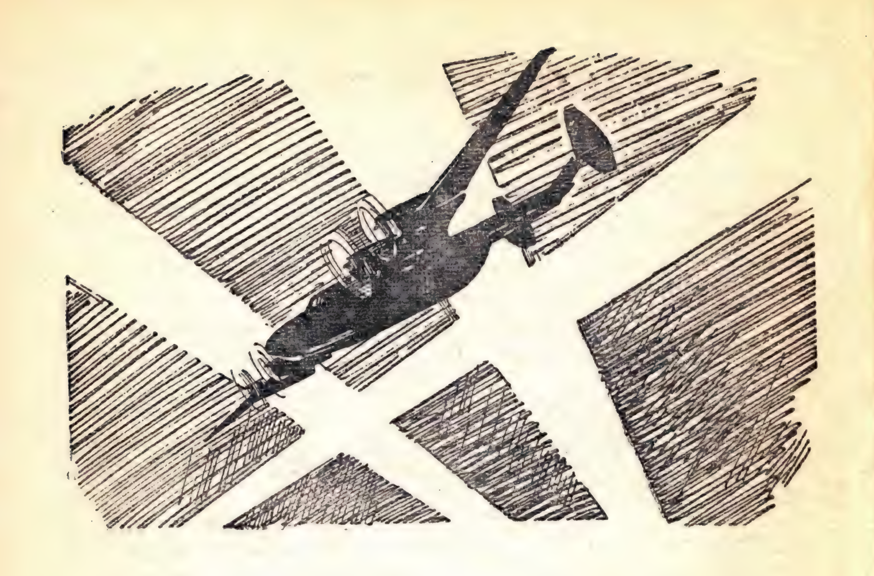
Мой час пробил. Не раз скрещивались наши стежки и снова расходились. На этот раз они так скрестились, что одному из нас не место под солнцем. Третья встреча с вами для меня стала роковой».

Был уже вечер, когда дочитали каракули палача. На темном ковре неба мигали стыдливые звезды, тянуло прохладой. За окнами шуршали молодыми листьями юные тополя, словно переговариваясь между собой о чем-то таинственном и интересном.

Полковник поднялся из-за стола, взял папку в дерматиновой обложке и написал размашисто: «Дело закончено».

— Слушайте, друзья! У меня же событие! Чуть не забыл пригласить вас на серебряную свадьбу. Да, да, не удивляйтесь. Справляем с Еленой Петровной серебряную свадьбу. От всей души прошу ко мне.

Три человека вышли на улицу.



А. БЕЛЯЕВ,
Б. СЫРОМЯТНИКОВ,
В. УГРИНОВИЧ

ПРОВАЛ АКЦИИ „ЦЕППЕЛИН"

Это документальный рассказ о том, как в годы Великой Отечественной войны наши военные контрразведчики раскрыли и предотвратили террористическую операцию, организованную фашистским разведывательным органом «Цеппелин», направленную против Верховного командования Советской Армии.

1

Кабинет начальника восточного отдела 6-го управления главного имперского управления безопасности Германии оберштурмбанфюрера СС Грефе размещался на четвертом этаже небольшого особняка. Шум большого города сюда почти не проникал, и потому Грефе очень часто работал с открытыми окнами. В свободные от дел минуты он любил наблюдать за жизнью этой улицы и

с удовольствием вдыхал медовый запах лип, доносившийся вместе с легким ветерком.

Но сегодня Грефе было не до лип и не до свежего ветра. Расхаживая по кабинету широкими, тяжелыми шагами, он старался снова и снова восстановить в памяти все подробности беседы с начальником управления. Впрочем, это была даже не беседа, а инструктаж, закончившийся очередным заданием отделу и ему, Грефе, старому специалисту по России.

Начальник управления был необычно сух и краток. И все-таки, несмотря на это, он успел наговорить много неприятного.

Германская армия потерпела на восточном фронте очередное очень крупное поражение. Под Курском перемолоты лучшие танковые дивизии рейха. Надежды фюрера на удачу летней кампании рухнули. Это в корне меняло многие стратегические планы вообще и планы разведки, в частности. Обрисовав обстановку, начальник управления приказал Грефе разработать план диверсионной операции по уничтожению руководителей Ставки Советского Верховного Командования.

Грефе успел сделать уже многое.

План операции, хотя и вчерне, был уже готов, рассчитано техническое оснащение и даже подобрана кандидатура исполнителя. Прибытия его и ожидал сейчас Грефе с минуты на минуту.

Основные биографические данные будущего диверсанта Грефе знал уже хорошо. Однако перед самой встречей решил заслушать по этому вопросу своего адъютанта еще раз.

Он подошел к столу и нажал кнопку звонка. Дверь кабинета бесшумно отворилась, на пороге появился молоденький зондерфюрер СС и замер в ожидании.

— Прочитайте мне еще раз дело Политова, — попросил Грефе.

Адъютант быстро вышел, но через минуту снова появился в кабинете с объемистой папкой в руках. Он проворно открыл нужную страницу и начал доклад:

— «Политов. В период с тысяча девятьсот тридцать третьего по сороковой год проживал на Украине, в Ташкенте, в Башкирии под фамилиями Шило, Гаврин и Серков. Перед войной, используя положение заведующего нефтескладом на станции Аягуз Туркестано-Сибирской

железной дороги, прихватил крупную денежную сумму и, скрывшись от уголовного преследования, по фиктивным документам устроился следователем в Воронежскую прокуратуру...»

Грефе в знак одобрения кивнул головой, подумав про себя: «К сожалению, сейчас русские уже перестали быть такими доверчивыми».

— «В ноябре сорок первого года, — продолжал читать адъютант, — призван в армию, где сначала назначается командиром взвода, а затем командиром роты. В мае сорок второго года переходит на сторону немецкой армии. Во время допросов добровольно сообщил немецкому командованию ряд сведений, имеющих важное военное и политическое значение. В деле имеется письменное заявление Политова, в котором он обязуется служить немецкому командованию верой и правдой и просит назначить его на должность бургомистра одного из оккупированных советских городов. В сорок третьем году Политов был послан в Австрию в школу по подготовке агентов германской разведки. Одновременно с этим он начинает сотрудничать с гестапо. В период обучения помог сотрудникам политической полиции обезвредить группу заговорщиков. В деле имеется также донесение Политова, в котором он указывает имена руководителей группы, а также лиц, подвергшихся их обработке. Положительными качествами Политова, которые могут быть использованы в перспективе, следует считать: находчивость, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, ненависть к советскому строю, боязнь наказания за совершенные перед Советским государством преступления. Отрицательными качествами являются: алчность, карьеризм, полная беспринципность».

При этих словах Грефе снова кивнул головой и снова подумал: «Для нас сейчас это тоже скорее положительные качества».

Ровно в девятнадцать часов по берлинскому времени Грефе доложили, что Политов ждет его приема. Оберштурмбанфюрер разрешил ему войти. Политов появился в кабинете и вытянулся возле двери. Это понравилось Грефе. Он любил дисциплинированных людей.

Некоторое время Грефе молча рассматривал Политова, потом прошел за стол, сел в кресло и указал вошедшему место напротив себя. Предисловий к разговору не

было. Политов был обо всем осведомлен уже заранее. Оставалось уточнить лишь некоторые детали.

— Нам было бы желательно знать, господин Политов, — начал Грефе, — в какой области разведки вы хотели бы получить задание: в экономической, военной или политической. Вопрос серьезный, и вы можете не торопиться с ответом.

— Господин оберштурмбанфюрер, я предполагал, что вас это будет интересовать, — ответил Политов. — Я уже все обдумал и потому просил бы дать мне задание в области политической разведки.

Грефе согласно кивнул головой:

— В таком случае, я хотел бы знать, что вы понимаете под политической разведкой?

— Сбор сведений политического характера, изучение настроений населения, политических ситуаций, — начал перечислять Политов.

Грефе поднял руку.

— Нет, господин Политов. Все гораздо конкретнее и труднее, — не дослушав своего собеседника, проговорил он. — Для нас сегодня политическая разведка означает физическое уничтожение военных и политических руководителей противника. В этом отношении, господин Политов, нам особенно приятно было узнать, что вы имеете связи с некоторыми лицами, занятыми обслуживанием Ставки Советского Верховного Главнокомандования.

— Так точно. Имею, герр оберштурмбанфюрер, — подтвердил Политов.

Грефе изобразил на своем лице что-то вроде улыбки.

— Мы всецело доверяем вам, господин Политов, и возлагаем на вас большие надежды, — продолжал Грефе. — У нас с вами одна цель — борьба с коммунизмом. И в эту борьбу вам предоставляется возможность внести свой достойный вклад. В соответствии с планом намечаемой операции вы будете переброшены по воздуху в район Подмосковья. Снимите там для себя квартиру, пропишитесь, изучите маршруты движения машин руководителей Ставки Верховного Командования, а затем... сами понимаете, что затем...

Сказав это, Грефе пристально посмотрел в глаза собеседнику.

Политов молчал.

— Конечно, это только общий план. Он состоит из тысячи деталей, — пояснил Грефе. — Подготовка и отработка их будет проводиться со всей тщательностью. Вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Вас снабдят всем необходимым: документами, деньгами, средствами связи, самым совершенным, новым, особо секретным оружием. Но в конечном итоге все сведется к выстрелу. Вы способны его произвести? — продолжая смотреть в глаза Политову, спросил Грефе.

— Да. Способен, — ответил Политов, выдерживая взгляд эсэсовца.

— В таком случае, для конкретной подготовки мы направим вас в специальную команду разведоргана «Цеппелин». Для этого вам придется отправиться в город Псков. Желаю удачи, господин Политов, — закончил беседу Грефе. — Через некоторое время мы снова встретимся с вами.

2

Новый шеф Политова — матерый разведчик, штурмбанфюрер СС Краусс — сразу же перевел его на легальное положение. Политов был прикомандирован в качестве инженера на один из заводов и как частное лицо снял квартиру в городе. Однако на заводе Политов появлялся редко. Все свое время он, как правило, проводил в обществе Краусса. Штурмбанфюрер получил от Грефе специальную программу по подготовке Политова и систематически, изо дня в день занимался с ним.

Подготовка велась в нескольких направлениях: стрельба из личного оружия, вождение мотоцикла и автомобиля. Одновременно Краусс не выпускал из-под своего наблюдения и такой важный аспект в подготовке Политова, как его личная жизнь.

— Не надо быть таким мрачным, господин Политов, — как-то сказал он ему. — Все идет хорошо. В Берлине довольны вами. Вольнее располагайте своим досугом.

На этот раз Политов не сразу понял, чего от него хотят.

— Человек не должен быть одинок. Это противоестественно, — философствовал Краусс. — Почему бы, например, вам не обзавестись семьей?

«До этого ли тут?» — хотел было ответить шефу Поли-

тов, но, зная по опыту, что с ним ни о чем не говорят зря, угодливо согласился:

— В брак вступлю охотно. С кем прикажете?

— Но зачем же так? — изобразил обиженную мину Краусс. — Выберите сами себе подругу сердца. Мы постараемся лишь помочь вам обеспечить будущую жену.

Политов немедленно начал подыскивать себе невесту и очень скоро познакомился с сотрудницей швейной мастерской, обслуживавшей штаб немецких оккупационных войск, Шиловой. О своем выборе он тут же доложил Крауссу. Штурмбанфюрер остался доволен невестой. Дочь осужденного за антисоветскую деятельность вполне устраивала сотрудников «Цеппелина».

— У вас есть вкус. Это очень хорошо, — сказал Краусс. — Надеюсь, вы не станете возражать, если ваша будущая супруга освоит специальность радистки?

В начале ноября Политов оформил с Шиловой брак, а несколько позднее руководство главного управления имперской безопасности вызвало его вместе с Крауссом в Берлин.

3

За это время в особняке на улице под кленами произошли некоторые изменения. Так, например, начальником восточного отдела был назначен вместо Грефе Хенгельхаупт. Новый шеф был гораздо общительнее Грефе. Во время первой же встречи он пригласил Политова в ресторан, где и провел с ним в отдельном кабинете весь вечер. Беседа между ними носила непринужденный характер, хотя и имела довольно конкретное направление. Хенгельхаупт всячески старался внушить Политову мысль, что временные неуспехи армии на советско-германском фронте в конечном итоге ни о чем еще не говорят. Что рейх далеко еще не исчерпал свои ресурсы и что не сегодня-завтра в действие вступит новое, невиданное доселе по своей мощности оружие, которое не только уравняет силы воюющих сторон, но и остановит наступление русских.

Новый шеф восточного отдела во что бы то ни стало лично хотел убедиться в преданности Политова третьему рейху. На протяжении всего вечера Хенгельхаупт всячески прощупывал Политова. Без конца подливая ему

в рюмку то коньяк, то русскую водку, он настойчиво вызывал Политова на откровенность, задавал ему вопросы, вновь и вновь заставлял рассказывать о своем прошлом.

В итоге он остался доволен и Политовым и его настроением.

Уже поздно вечером, когда на десерт к столу были поданы шампанское и фрукты, Хенгельхаупт познакомил Политова с программой его пребывания в Берлине.

— Вас ожидает здесь много интересного, — сказал он. — Вы ознакомитесь с оружием, специально изготовленным для вас, а также встретитесь с одним из самых выдающихся людей рейха.

Политов чувствовал, что немцы доверяют ему. Но у него еще не было случая убедиться в том, что его персоной так заинтересованы в главном управлении безопасности.

— Обещаю вам также, — продолжал Хенгельхаупт, — что в самом скором времени мы пригласим сюда и вашу жену. Надеюсь, что совместное пребывание в Берлине оставит в вашей памяти приятное воспоминание.

Политов и это заявление принял как еще одно доказательство того, что в нем, а еще больше — в задании, которое ему поручалось, немцы заинтересованы самым серьезным образом.

На следующий день вместе с Крауссом и другими работниками отдела, которых Политов уже знал, он выехал на полигон, расположенный в пригороде Берлина. Бетонная лента дороги долго ныряла под мосты и путепроводы, пока не скрылась в густых зарослях акации. На всем пути следования машину ни разу не остановили, хотя Политов неоднократно замечал в придорожных кустах патрули и сторожевые посты эсэсовцев.

На полигоне прибывших встретил высокий, с мясистым носом майор, одетый в форму технических войск. Он проводил их в длинное одноэтажное здание с окнами, заделанными кирпичом. Здесь Политову сначала на схемах, а затем и в подлиннике показали то, что, по мнению руководителей главного управления, должно было наилучшим образом обеспечить выполнение задания.

— «Панцеркнакке», — назвал майор это небольшое приспособление, состоящее из короткой трубы диаметром миллиметров шестьдесят, ременных пристежек, проводов и кнопочного включателя.

— Безотказное оружие. Стрельба ведется реактивным снарядом кумулятивного действия. Имеет достаточный радиус полета снаряда и пробивную способность на уровне сорокапятимиллиметровой брони. Выстрел производится бесшумно из рукава пальто стреляющего, — объяснял майор.

— Это будет очень надежно, — подтвердил Краусс и любовно погладил рукой небольшие черные, похожие на бутылки, снаряды «Панцеркнакке».

— Когда можно испытать его в действии? — спросил Политов.

— Очень скоро, — заверил майор, — мы работаем по плану. Все будет сделано в срок.

Вечером Политова снова принимал Хенгельхаупт, но на этот раз уже у себя на квартире. Уютная, оформленная в охотничьем стиле «берлога» шефа произвела на Политова потрясающее впечатление. Шеф показал Политову коллекцию имеющихся у него ружей и недвусмысленно намекнул на то, что после выполнения задания и возвращения в Берлин Политов вполне может рассчитывать на такие же апартаменты.

Через три дня в Берлин прибыла Шилова. И так как Политов в это время был в отъезде, ее поместили в пансионате на Курфюрстендам, 55. Политов же тогда находился на авиационном заводе, где конструкторы вносили последние доделки в специально сконструированный для предстоящей операции самолет «Арадо 332».

По заданию руководства главного управления это должен был быть уникальный десантный моноплан, обладающий высокой скоростью и большим потолком. Самолет был оснащен новейшими навигационными приборами, что позволяло ему свободно летать как днем, так и ночью, а также совершать посадки в непогоду и на неподготовленную площадку ограниченных размеров. Последнее достигалось специальной конструкцией вездеходного шасси, смонтированного из двадцати гуттаперчевых колес. Самолет практически был уже готов. Но в самый последний момент Политов вдруг заявил руководству, что ему нужен еще мотоцикл, для того чтобы после приземления самолета он мог быстро покинуть район посадки. Поэтому конструкторы вынуждены были сконструировать для самолета специальный, убирающийся в фюзеляж трап, по которому Политов и его спутница могли бы лег-

ко выехать из самолета прямо на мотоцикле, едва самолет совершит посадку.

Политов остался доволен осмотром «Арадо». Руководство «Цеппелина» — тоже.

Прошло еще немного дней, и Хенгельхаупт сообщил Политову, что ему дает аудиенцию одно очень высокопоставленное лицо.

После осмотра самолета Политов окончательно убедился в том, что его акции поднялись очень высоко. Но сейчас он терялся в догадках: кто из влиятельных лиц рейха мог пожелать встретиться с ним? Как бы тесно ни было сотрудничество немцев с лицами, перешедшими на их сторону, оно всегда имело предел, за черту которого Политов и ему подобные просто не допускались. Это проявлялось во многом. В том числе и в особой чопорности старших. В конце концов Политов решил, что его примет кто-нибудь из руководителей абвера. Но действительность превзошла все его ожидания. В кабинете по Потсдамменштрассе, 28, его встретил доверенный самого фюрера штурмбанфюрер СС Отто Скорцени. С тех пор как этот опытный и наглый диверсант похитил у англичан Муссолини, его имя не сходило со страниц газет и журналов. К нему благоволил фюрер. Он был героем дня номер один. И этот-то человек пожелал встретиться с Политовым.

Разговор получился довольно живым. Скорцени охотно делился с Политовым своим опытом, объяснял, какими личными качествами должен обладать, с его точки зрения, террорист и как ему следует психологически готовить себя к совершению террористического акта. При этом он все время подчеркивал ту мысль, что, если Политов хочет остаться живым, он должен будет действовать исключительно решительно и смело и не бояться смерти, так как малейшее колебание и трусость наверняка погубят его. И Скорцени рассказал случай из собственной практики.

Во время похищения Муссолини Скорцени перепрыгнул через ограду замка и очутился в двух шагах от стоявшего на посту карабинера.

— Если бы я тогда замешкался хоть на секунду, — вспоминал Скорцени, — то погиб бы. Но я без колебания прикончил карабинера. И, как видите, выполнил задание и остался жив.

На этом первая часть беседы закончилась. Во второй части Скорцени больше спрашивал, чем рассказывал. Его интересовало, что знает Политов о Москве, об образе жизни советских руководителей, какие конкретно связи у него налажены с работниками, обслуживающими Ставку, как Политов собирается использовать свое оружие, какую роль отводит он в предстоящей операции Шиловой. Закончил беседу Скорцени неожиданным вопросом:

— Как вы считаете, господин Политов, возможно в СССР проведение такой операции, которую я так блестяще осуществил в Италии?

Нагловатый, самоуверенный тон, которым вел этот разговор Скорцени, не понравился Политову. Рядом с этим матерым бандитом Политов выглядел просто щенком. И чтобы хоть как-нибудь поднять свой престиж в глазах присутствующих на беседе руководителей главного управления, Политов решил сдерзить.

— СССР — это не Италия, господин штурмбанфюрер, — не очень громко, но достаточно твердо ответил он, — и делать там то, что вы делали в Италии, значительно труднее.

Десятого января руководство 6-го управления приняло решение о том, что продолжение подготовки Политова целесообразнее перенести из Пскова в Ригу. В соответствии с этим Политов 12 января покинул Псков. Сопровождавший Политова офицер СС устроил его в Риге в лучшем номере гостиницы «Эксельсиор». Кроме того, Политову была предоставлена квартира в дачных местах Риги.

Шилова еще некоторое время находилась в Берлине, где обучалась зашифровке и расшифровке документов, составлению кодовых таблиц, донесений и схем. По окончании обучения ей было разрешено переехать в Ригу и поселиться вместе с Политовым.

4

Почти сразу же после прибытия в Ригу Краусс представил Политова двум новым инструкторам, которые отныне должны были заниматься с ним ежедневно. Первый из них, Палбицын, как две капли воды был похож на Политова. В прошлом крупный уголовник, имевший на

своем счету изнасилования и убийства, он добровольно перешел на сторону немцев и, подвизаясь в органах разведки, очень быстро сделал карьеру. Палбицын получил звание капитана СД и был назначен на должность начальника отдела 6-ф северной команды разведоргана «Цеппелин».

Палбицын в основном специализировался на изготовлении фальшивых документов, печатей, штампов, а также на экипировке и снаряжении агентов, засылаемых в Советский Союз.

Второй — Павел Петрович Делле, он же Ланге, — попал на службу к немцам несколько иным путем. Это был типичный отпрыск старого дворянского рода, выметенного из России революцией, убежденный монархист и лютый антисоветчик. Делле имел чин оберштурмфюрера СС и руководил гатчинской группой безопасности СД.

Как Палбицын, так и Делле с первого же дня приняли самое активное участие в подготовке Политова. К этому времени был уже окончательно утвержден план заброски Политова и Шиловой в советский тыл. Было решено, что Политов будет действовать под видом майора Советской Армии, получившего отпуск после тяжелого ранения. Учитывая это, новые наставники так разделили между собой обязанности при подготовке Политова: Палбицын занялся с ним стрельбой и изготовлением документов, удостоверяющих личность Политова, а Делле детально разработал легенду о пребывании Политова на фронте, его ранении и лечении в госпитале.

В конце января Политова вызвал к себе Краусс.

— В вашей подготовке не должно быть ни малейших упущений, — сказал он. — Вам придется лечь в госпиталь и сделать пластическую операцию.

Политов ответил, что он готов.

— Нам не хотелось бы, чтобы кто-нибудь об этом знал, — предупредил Краусс. — Даже вашу жену не стоит посвящать в эту историю. Что, если мы распространим слух о вашем срочном выезде на фронт?

— Думаю, что это ни у кого не вызовет никаких подозрений, — ответил Политов и в тот же вечер сообщил Шиловой о своей командировке в действующую армию.

Утром следующего дня к гостинице «Эксельсиор» была подана машина, которая якобы должна была отвезти Политова на вокзал. Политов попрощался с женой

и отправился в путь. Но вместо вокзала очутился в немецком военном госпитале. Здесь под наркозом ему была сделана сложная операция на животе и руках. А спустя два дня в номер к Шиловой явился Краусс и сообщил ей о том, что Политов попал под бомбежку, получил ранения, но вовремя был доставлен в госпиталь и сейчас находится вне опасности. Об этом же были поставлены в известность и некоторые другие лица, имевшие контакты с Политовым. Эту версию подтвердил и сам Политов, вернувшийся из госпиталя.

Пока Политов находился в госпитале, его шефы продолжали работать. Палбицын, посоветовавшись с Крауссом, решил, что Золотая Звезда Героя Советского Союза повысит шансы новоиспеченного майора Советской Армии, и сделал соответствующий запрос в Берлин. Вскоре оттуда были получены орден Ленина и Золотая Звезда, принадлежавшие генерал-майору Советской Армии Ивану Михайловичу Шепетову, отличившемуся в боях 1941 года и замученному впоследствии в фашистских застенках. Орден Красного Знамени, орден Александра Невского, два ордена Красной Звезды и две медали «За отвагу» Краусс и Палбицын без особого труда нашли на месте. На право ношения всех этих наград были изготовлены соответствующие документы. А сам Политов отныне превратился в Таврина.

Десятого февраля в Ригу из Берлина прибыл уже знакомый Политову майор в форме технических войск. Он привез свое дьявольское оружие. С этого дня Политов начал тренироваться в стрельбе из «Панцеркнакке». Привычную стрельбу из пистолетов заменило змеиное шипение реактивных снарядов. «Панцеркнакке» действовало безотказно. Снаряды сравнительно легко попадали в цель и прожигали броню в сорок пять миллиметров.

Увидев это, Политов несколько воспрянул духом. Ибо, как ни храбрился он перед своими хозяевами, сколько ни внушали они ему, что в общем-то все должно обойтись хорошо, по ночам на душе у него скребли кошки. Уж кто-кто, а он-то отлично понимал, что одно дело — работать на оккупированной территории, другое — в советском тылу. Но если Политов боялся предстоящей операции, то в Берлине, напротив, уверовали в успех своей акции. На самом последнем этапе подготовки задание Политову было расширено.

Все тот же майор с полигона, совершив еще одну поездку в Берлин, привез оттуда какой-то ящик. Внутри него оказалась мощная магнитная мина с радиовзрывателем, позволявшим произвести взрыв по радиосигналу с расстояния в несколько километров.

— Это тоже очень хорошая вещь. На нее мы возлагаем свои главные надежды, — показывая мину Политову, сказал Краусс. — Как герой своего народа, вы должны побывать на одном из торжественных собраний, где будут присутствовать руководители, и принести туда эту мину. Потом вы выйдете из зала и тем самым обезопасите себя. А все остальное сделает ваша супруга. В назначенное время она подаст радиосигнал, и торжественное собрание превратится в торжественные похороны, — захохотал Краусс.

— Все будет сделано, — заверил Политов, хотя и почувствовал, что вариант с миной еще более неосуществим для него, чем с «Панцеркнакке».

На этом подготовка Политова фактически заканчивалась. Доделать оставалось очень немного, а именно: сшить Политову и Шиловой форму, дать им возможность в течение нескольких дней обносить ее, спрятать в мотоцикле радиостанцию, оружие, деньги, запасные документы и всевозможные печати и подготовить мотоцикл к надежной эксплуатации.

Но тут Палбицыну пришла в голову еще одна идея. Он раздобыл по экземпляру газет «Правда» и «Известия» и перепечатал их с одним лишь небольшим изменением. В сфабрикованный номер «Правды» он впечатал очерк о подвиге, совершенном майором Тавриным, и тиснул его портрет. А в номере «Известий» подпечатал в Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о присвоении звания Героя Советского Союза рядовому, сержантскому и офицерскому составу Советской Армии фамилию, имя и отчество новоиспеченного майора. По мнению Палбицына, это должно было оградить Политова от всяких подозрений надежнее любых документов.

И еще одно мероприятие осуществил в эти дни Палбицын. Улучив момент, он по заданию Краусса в последний раз прощупал Политова. Оставшись как-то после занятий с Политовым один на один, Палбицын разоткровенничался:

— Похоже на то, что немцам придется отсюда удирать.

На это Политов ответил неопределенно:

— Нам-то что? Уйдем вместе с ними. Европа большая, места всем хватит.

— Не скажи, — гнул свое Палбицын и зашептал Политову на ухо: — Подумай лучше, не пора ли нам менять хозяев?

Политов понял цель этого разговора и сразу же пресек его.

— А по-моему, особых оснований для беспокойства нет, — отрезал он. — Неудачи на фронте — дело временное. Слышал, что Геббельс говорит о новом оружии? Немцы себя еще покажут.

— Дай бог! — ретировался Палбицын и пожелал Политову успешно выполнить задание.

5

Против фронта видимого всегда стоит видимый фронт. Против фронта невидимого — невидимый фронт. И хотя гитлеровцы самым тщательным образом скрывали работу своих разведывательных органов, советские чекисты имели о них достаточную информацию. Совершенно ясно, что Рига, в которой было сосредоточено немало тайных сил противника, ни на минуту не выпадала из поля зрения советских разведчиков.

Политов так и не узнал, почему его перевели из Пскова в Ригу. Ему тогда лишь сказали, что в данных условиях это будет целесообразнее. Но что скрывается за этой туманной фразой, чем действительно вызван перевод, объяснять не стали. Хотя оснований для перевода у руководства «Цеппелина» было более чем достаточно.

В новогоднюю ночь 1944 года советскими чекистами был похищен вместе с очень важными документами помощник начальника разведывательно-диверсионной школы обершарфюрер СС изменник Родины Лашков-Гурьянов. Эту необычно дерзкую по своему замыслу операцию блестяще осуществили чекисты, возглавляемые старшим лейтенантом Георгием Пяткиным.

Задолго до самой операции они установили, что в окрестностях Пскова, в деревне Печки, находится гнездо разведоргана «Цеппелин» — школа по подготовке шпионов и диверсантов, засылаемых в советский тыл. Установили и взяли его под наблюдение. Вначале сведения о

школе собирались в основном с помощью советских патриотов — жителей деревни и ее окрестностей. Позднее чекистам удалось направить в школу своего человека — лейтенанта Александра Лазарева, который вошел в доверие к немцам и устроился охранником.

Тринадцатого декабря сорок третьего года он переправил Пяткину записку:

«Намеченной цели достиг, ваше задание выполнено полностью, прилагаю схему постов «Ш», а также фамилии и их установочные данные. Жду ваших указаний на дальнейшие действия».

Из записки чекисты также узнали, что начальник школы офицер СС Хорват и его помощник Лашков-Гурьянов живут в отдельных коттеджах, расположенных на расстоянии 300 метров друг от друга, охраны особой возле коттеджей нет, посты охраны территории школы были обозначены.

Пяткин поставил перед Лазаревым ряд новых задач и вскоре получил от него записку следующего содержания:

«Прилагаю декадный пароль, список руководящих лиц школы и др. В настоящий период вхожу в авторитет у командования, назначен командиром взвода охраны школы, имею обильные знакомства. Во мне прошу не сомневаться. С приветом, ваш Л.».

Выполняя план операции, Пяткин подготовил в помощь Лазареву трех «гестаповцев». Ими были партизаны — латыш Вицбул и два эстонца Виллем и Иохани.

В канун Нового года все трое выехали в Печки.

По первоначальному замыслу пленен должен был быть Хорват. Но его неожиданно вызвали в Берлин. Поэтому чекисты переориентировались на Лашкова-Гурьянова.

Лазарев лично встретил «гестаповцев» у ворот школы и по их требованию препроводил всех троих в коттедж Лашкова-Гурьянова. Ровно в четыре часа утра «гестаповцы» вместе с Лашковым-Гурьяновым и чемоданами, туго набитыми документами, покинули школу. Командир взвода охраны Лазарев опять лично проводил их до шоссе. В школу он, разумеется, больше не вернулся.

В результате этой операции советские чекисты получили в свои руки исключительно ценные данные о подготовке гитлеровских разведчиков. А штурмбанфюрер СС

Краусс был вызван в Берлин и схлопотал такую нахлобучку, от которой долго не мог опомниться!

Не менее активно работали советские чекисты в Риге. В середине марта в одну из пошивочных мастерских, обслуживающих офицеров оккупационных войск Риги, прибыл эсэсовец. Он потребовал директора. Тот незамедлительно явился. Эсэсовец передал ему большой сверток отлично выделанных хромовых кож и вручил записку. В ней было сказано, что из этих кож надлежит срочно сшить мужское пальто. И что фасон пальто и все мерки через день директору передадут дополнительно. Директор заверил эсэсовца, что все будет сделано самым наилучшим образом, и после его ухода еще раз перечитал записку. Текст ее не вызвал у него никаких подозрений. Но подпись «штурмбанфюрер Краусс» заставила насторожиться.

Через день в мастерскую действительно явился высокий, круглолицый мужчина и попросил снять с него мерку для пальто. Директор сделал это лично и, любезно разложив перед ним журналы новейших европейских мод, предложил выбрать фасон. Но пришедший даже не взглянул на журналы.

— Сшейте мне по русскому образцу, — попросил он.

Директор не стал возражать. Он сказал, что через два дня пальто будет готово. Он только попросил господина указать свой адрес, по которому можно будет доставить пальто на дом. Однако господин от этой услуги отказался и пообещал прийти за пальто лично. Точно в назначенный срок он снова явился в мастерскую и, примерив уже готовую вещь, неожиданно попросил несколько удлинить правый рукав и на левой стороне пальто сделать два кармана.

Все это немедленно было выполнено, и посетитель, получив заказ, ушел. Следом за ним из мастерской вышел мальчик-разносчик. Через час он уже знал, что новый клиент живет в «Эксельсиоре». Это также показалось любопытным. В названной гостинице останавливались только высшие немецкие офицеры.

С этого дня за Политовым наблюдала советская разведка, действовавшая в оккупированной Риге. Вскоре был точно установлен круг людей, с которыми он общался, места, где он бывал.

Несколько позднее, уже в июне, армейским чекистам из других источников стало известно, что на территорию СССР немцами направляется агентурная группа Л. с задачей — подобрать площадку для посадки специального десантного самолета. Военные контрразведчики дали возможность группе Л. благополучно высадиться в лесах Смоленщины, а когда она радировала в Берлин о том, что площадка для самолета подобрана, и указала ее координаты, чекисты обезвредили группу и устроили в районе площадки засаду.

Тогда, конечно, еще было не ясно, что пальто с удлиненным рукавом, группа Л. и другие отрывочные данные, поступающие из Риги, — звенья одной цепи. Но так или иначе к приему нежданных посетителей все было готово.

6

Поздно вечером 5 сентября 1944 года на военный аэродром Риги приземлился самолет «Арадо 332». В него по специальному трапу закатили мотоцикл марки М-72 и закрепили в фюзеляже с помощью особого устройства. К самолету подошли Политов и Шилова. Их провожали Краусс, Палбицын и Делле. Отлетающие были одеты в форму советских офицеров. На плечах у Политова красовались погоны майора. Шилова довольствовалась погонами младшего лейтенанта медицинской службы. Палбицын в последний раз осмотрел своих подопечных, поправил на груди у Политова ордена.

Краусс отвел на минуту Политова в сторону и передал ему ампулу с ядом.

— Это на случай, если для вас и для вашей жены создастся безвыходное положение. Вы не должны попасть живыми в руки чека...

Политов болезненно поморщился, но уже в следующий момент решительно сунул ампулу в карман.

Как только дверь фюзеляжа закрылась за агентами и «Арадо» вырулил на взлетную полосу, Делле мрачно заметил:

— Два года назад эта операция имела гораздо больше шансов на успех.

Краусс кивнул головой:

— Я с вами согласен. Но мы сделали все возможное для ее подготовки. По самым скромным подсчетам, эта затея нам уже стоила четыре миллиона марок.

Моторы заработали на полную мощность, «Арадо» взлетел и взял курс на восток.

Линию фронта самолет пересек в полной темноте.

Вдруг темную толщу неба, словно меч, рассек искрящийся луч прожектора. Справа и слева от него желтым пламенем полыхнули разрывы зенитных снарядов. Пилот сразу же увеличил обороты винтов и повел машину вверх. Очередная серия разрывов легла в стороне. Но сверкающее щупальце прожектора подбиралось к самолету все ближе и ближе. Самолет резко изменил курс. Однако и это не помогло. Вспыхнул второй луч прожектора, затем третий. «Арадо» взяли в клещи. Кабину самолета залило ослепительным светом. Она вся вдруг словно вспыхнула. Шилова, никогда не бывавшая в подобных передрягах, побледнела. Политов тоже почувствовал, как по спине у него побежали мурашки.

— Опустите жалюзи на окнах! — услышал он голос командира корабля.

Политов немедленно повиновался, в самолете стало темно. А зенитные снаряды продолжали рваться и справа, и слева, и спереди, и сзади, и внизу, и вверху...

— Придется садиться на запасную площадку, — передал Политову командир корабля.

— Делайте что хотите, — мрачно ответил Политов, — но постарайтесь сохранить нас и мотоцикл.

В три часа ночи самолет благополучно приземлился в Смоленской области. Политов немедленно спустил по трапу мотоцикл и, наскоро попрощавшись с экипажем, вместе с Шиловой скрылся в лесу.

7

Засада военных контрразведчиков, организованная у места предполагаемой посадки самолета, была готова к приему ночных гостей. Но время шло, а самолет не появлялся. Старший засады сообщил об этом по радио в свой штаб. Работники штаба немедленно связались с командным пунктом противовоздушной обороны. Картина быстро прояснилась. Но теперь забеспокоился уже командный пункт.

— Что делать с нарушителем? — запрашивали с командного пункта.

Чекисты ответили, что желательно захватить самолет при посадке, и попросили командный пункт не выпускать нарушителя из-под наблюдения. Около трех часов ночи с командного пункта сообщили, что самолет пошел на снижение в районе Карманово, Смоленской области. Чекисты немедленно поставили об этом в известность начальника Кармановского районного отдела НКВД. Последний, подняв по тревоге группу оперативных работников, устремился на перехват.

Однако как ни спешила кармановская оперативная группа, поймать диверсантов на месте приземления она не смогла. На месте приземления она обнаружила лишь разбитый «Арадо» и группу бойцов поста ПВО, возглавляемых старшим сержантом Н. Мартыновым.

— К сожалению, мы тоже пришли поздно. Ни в самолете, ни возле него никого уже не было, — сообщил Мартынов. — Но мы обнаружили следы мотоцикла. А от местных ребят узнали, что на мотоцикле ехали двое военных: мужчина и женщина. Все эти сведения мы передали на КП своей роты. Меры там уже приняли. Район оцеплен.

Чекисты осмотрели самолет. «Арадо» ударился о сосну и повредил крыло. Один из четырех его моторов от удара сорвался с места и отлетел метров на тридцать. Люк самолета был открыт. Возле него стоял трап.

Тогда у чекистов не было времени детально разглядывать самолет, но даже и беглого осмотра хватило на то, чтобы заметить некоторые весьма интересные конструкторские особенности этой машины. Это был моноплан с высоко расположенным крылом. Его фюзеляж был похож на летающий вагон типа вертолета с двумя балками, на конце которых было по килю и один общий стабилизатор. Под фюзеляжем с каждой стороны монтировалось по двенадцать пар катков, напоминающих катки танка. Это позволяло самолету садиться на мелкий кустарник и заболоченную, неровную местность. Кроме этих катков у самолета были еще два огромных колеса. Они обеспечивали «Арадо» посадку на твердый грунт. Крылья у самолета были раздвижные. Он имел девять пулеметов.

След, обнаруженный бойцами ПВО, уводил в сторону деревни Большие Триселы.

Оценив обстановку, чекисты быстро разбились на несколько поисковых групп и заняли места по дорогам. На рассвете на магистрали, идущей к Ржеву, одна из групп заметила мотоцикл с коляской, на котором ехали двое военных: мужчина и женщина. Это совпадало с показанием ребят, которые видели точно такую же пару на мотоцикле в районе посадки «Арадо». Один из оперативных работников остановил мотоцикл и попросил ехавших на нем предъявить документы. Сидевший за рулем мотоцикла майор с Золотой Звездой Героя Советского Союза предъявил удостоверение личности и отпускной билет. У младшего лейтенанта медицинской службы также все оказалось в порядке.

— Откуда едете? — спросил чекист. Майор назвал пункт. От места встречи он находился километров в двести.

«Значит, ехали часа четыре. Всю ночь шел дождь. А они сухие. Странно!» — подумал чекист и теперь уже точно заподозрил неладное.

— Вы выезжаете из прифронтового района. Вам необходимо отметиться в райвоенкомате, — потребовал он.

Политов, ничего не подозревая, свернул в поселок.

Через час все было кончено. При обыске у террористов обнаружили семь пистолетов (разрывные пули для одного из них были начинены ядом, вызывающим мгновенную смерть), радиостанцию, «Панцеркнакке» и снаряды к нему, специальную мину, ручные гранаты, 428 тысяч рублей советских денег, 116 подлинных и поддельных печатей и штампов, десятки различных бланков, обеспечивающих изготовление многих документов, действовавших в СССР.

Так бесславно закончилась эта тщательно подготовлявшаяся фашистской разведкой акция.

Благодаря умелой работе советской военной контрразведки Политов и Шилова были обезврежены. Они получили по заслугам. А руководство главного управления имперской безопасности Германии и разведорган «Цеппелин» еще долго получали по политовской рации информацию о том, что подготовка к выполнению задания идет успешно...

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Юлиан Семенов

Петровка, 38 5

Иван Головченко

Третья встреча 162

Александр Беляев

Борис Сыромятников

Владимир Угринович

Провал акции „Цеппелин“ 256

ПЕТРОВКА, 38

Повести

Редактор *М. И. Ильин*

Художественный редактор *Г. В. Гречихо*

Рисунки художника *Л. М. Гольдберга*

Технический редактор *Е. Н. Слепцова*

Корректор *Л. В. Челак*

Г-80350. Подписано к печати 7.4.71 г.

Формат 84×108 1/32. Печ. л. 8 5/8. (Усл. печ. л. 14,49)

Уч.-изд. л. 14,464

Бумага типографская № 2. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000)

Изд. № 4/2881. Цена 56 коп. Зак. 892.

Ордена Трудового Красного Знамени

Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва, К-160

1-я типография Воениздата

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Цена 56 коп.




ПЕТРОВКА, 38